

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

124

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 124

TRIMESTRIEL

I — 1978

LE MESSENGER

Périodique édité par l'Action Chrétienne des Etudiants Russes

Редакционная коллегия:

Франция: В. Аллой (зам. ред.), прот. Алексей Князев, И. В. Морозов.

Америка: Архиеп. Сильвестр, прот. Александр Шмеман, прот. Иоанн Мейендорф, прот. Кирилл Фотиев, О. Раевская.

Ответственный редактор: Н. А. Струве.

ВЕСТНИК Р. Х. Д.

Условия подписки на 1978 год

100 Фр. или 25,— \$

с целью поддержки

200 Фр. или 50,— \$

цена отдельного номера

30 Фр. или 7,— \$

чеки выписывать на имя : **LE MESSENGER**

Подписчики, живущие во Франции, могут делать денежный перевод также и на текущий почтовый счет:
ССР - LE MESSENGER 23-601-57 U Paris

ИЗДАНИЕ

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Адрес редакции: Action Chrétienne des Etudiants Russes,
91, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris. France. Tél. 250-53-66.

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

124

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 124

TRIMESTRIEL

I — 1978

© Copyright Le Messenger. Paris 1978.

COMISSION PARITAIRE
Nº d'inscription 29.425

ОТ РЕДАКЦИИ

*«...древом крестным просвети,
и спаси мя»*

(Светилен утрени Великого Пятка)

БЛЮДИТЕ КАК ОПАСНО ХОДИТЕ

Острые вопросы, поставленные в письме от читательницы — редактора самиздатского журнала — нуждаются в ответе, хотя по существу они сводятся к одному краеугольному вопросу: в чем суть христианства, как быть христианином в сегодняшнем мире, и в опустошенной России в частности.

И, разумеется, ответ на этот вопрос не вместит ни одна передовица, ни даже множество статей или книг. Попытаемся все же выделить несколько тезисов в качестве вех:

1) Христианство прежде всего религия жизни («предоставь мертвым погребать мертвецов»).

2) Христианство есть религия целостного спасения не только человека, но и всего мира (новая земля, новое небо).

3) Как религия жизни и спасения мира христианство не исключает ничего из себя кроме зла, которое есть порча бытия.

4) Как религия воплощенного Бога христианство трансцендентно всем своим проявлениям: един свят Господь Бог наш, посланный в мир, распятый за него и ради него воскресший.

Отсюда следует, что всякое отрицание культуры по якобы христианским мотивам носит характер ереси монофизитского уклона. К тому же, это отрицание совершенно тщетно: христианство родилось в лоне иудаистической культуры, восприняло и переработало культурное наследие древности и явилось, в свою очередь, наиболее мощным культурным двигателем и творцом во всей истории человечества. Одинаково справедливы встречные изречения французского монаха-мученика Шарля де Фуко (убит в 1914 г. в Африке): «современный христианин должен быть куль-

турным», и русского поэта-мученика Осипа Мандельштама (погиб в 1938 г. в лагере): «теперь всякий культурный человек — христианин».

Однако тут рождается очередной, а в наши дни, быть может, главнейший соблазн: обожествление культуры или сведение христианства только к культурным проявлениям. Культура, как таковая, даже христианского происхождения, еще не спасает: страна Баха и Канта, Бетховена и Шеллинга, впала в один из отвратительнейших вариантов современного варварства. Справедливо отмечает Горичева, как отстали в культурном смысле, в уровне знаний православные от католиков. Но и тут разительный пример недостаточности культурных ценностей как таковых: со всем своим превосходством знаний, со всем своим научным оснащением, западное христианство переживает один из самых страшных своих кризисов, период распада и бессилия.

Как некогда говорил гуманист-возрожденец Рабле, столь далекий от морализаторства: «знание без совести лишь погибель души». Это краеугольное изречение можно развить или даже вывести в целую цепь предложений: нет культуры без знания, нет знания без совести, нет совести без веры, нет веры и совести без постоянной жертвы и распинаемости.

И тут мы подходим к последнему из отмеченных Т. Горичевой соблазнов. Слишком часто сегодня, особенно в России, убегая от мертвящей лжи марксистской идеологии, прибегают к христианству, как к готовой схеме спасения, как к истинной, но ни к чему не обязывающей «контридеологии», а не как к пути и восхождению, требующим постоянного, каждодневного обращения и перерождения. Христианство нельзя надеть как одежду, прикрывающую душевную пустоту и нравственную беспомощность. Креститься во Христа — это в *смерть* его креститься, т. е. всякий свой поступок духовный, нравственный, умственный «просвещать» ежедневно «древом крестным». И развивая до предела Рабле, можно смело сказать, что не только знание без совести, не только культура без веры, но и само христианство без крестного подвига — «лишь погибель души».

Никита Струве

Ленинград, 2. 5. 77

Дорогая, глубокоуважаемая редакция!

К сожалению, у меня не было возможности сколько-нибудь основательно ознакомиться с материалами «Вестника РХД». В Ленинграде сделать это еще труднее, чем в Москве. Мои суждения о журнале могут быть на сегодняшний день только абстрактными и субъективными (в плохом смысле слова). Скажу о том, что бросилось мне в глаза с первого взгляда и о том, каким я хотела видеть журнал.

В моих руках очень недолгое время были 116, 118, 119 номера. Читается журнал с большим интересом, даже волнением, могу сказать смело, это — единственный эмигрантский журнал, в котором я и мои друзья «находим себя». Я не богослов, и мне трудно писать об уровне богословских статей. Могу сказать о их необыкновенной важности для нас, пришедших в христианство совсем недавно, не имеющих доступа к самой необходимой литературе, жаждущих перестроить свое сознание сообразно новым, христианским понятиям. Однако, хотелось бы наряду со столь важным для нас «положительным» знанием получать и знание «проблем», хотелось бы, чтобы статьи отражали современное состояние проблемы, а не напоминали бы страницы учебника. Молодое поколение, приходящее сейчас к православию, не может довольствоваться провинциальной и партикулярной истиной, оно прошло через искус «тотального нигилизма» и воспитало в себе недоверие ко всякой предвзятости.

Замечательно Ваше обращение к проблемам христианской эстетики — это важно, учитывая, что среди неопитов много людей искусства.

Важно и Ваше обращение к малоразработанным в православии проблемам «религиозной гносеологии». Статья «О вере» Игнатьева поднимает важную для всякого православного человека тему, она написана живо и доходчиво. Однако, жаль, что тема здесь только намечена, статья наполнена банальными утверждениями (вроде того, что вера покоится на сомнении — тезис сквозной для современного богословия, особенно протестантского, и философии). Неужели мы отстали более, чем на 100 лет, от протестантов и католиков?

Спасибо Вам за Честертона, за эту блестящую, умную прозу. Православие не должно бояться подобных встреч. Современный верующий принадлежит всему миру, его будоражат вопросы, которые многие «робкие» православные предпочитают не замечать. Как невыгодно отличаемся мы здесь, скажем, от тех же католиков, открытых проблемам и мнениям.

Здесь мне хотелось бы высказаться об одной из самых страшных болезней современного религиозного сознания. Эта болезнь — в отождествлении православия с антиинтеллектуализмом и антикультурностью. По своему небольшому опыту мы знаем, к каким результатам приводит подобная установка. Стремительная деградация многих верующих, обеднение их духовно-душевной жизни, обострение у них невротического чувства оппозиции, непримиримость к чужому мнению, неуважение чужой свободы — вот лишь некоторые черты того религиозного хюбриса, который уже сейчас отталкивает от христианства многих и многих достойных. Один из моих знакомых («принципиально» неверующий) так определил кредо неофитов: «Бог есть — все дозволено». Великое множество молодых христиан, отказавшись от социальной карьеры, идеологически-сдерживающих формул, лживой этики, цепляются за абстрактную трансценденцию религиозного, за чистую вертикаль веры, пренебрегая горизонталью мирского опыта. Христианство, требующее от человека величайшего напряжения, служит ширмой для всякого рода «ленивцев» и «бездельников», становится подчас чем-то вроде «кайфа» для тех, кто пришел в него от идеалов наркотического гедонизма.

Вот почему так важен вопрос о «горизонтальном» бытии верующего. Религиозное самосознание должно пройти хоть какой-то путь развития, не быть мертвой точкой, которая порождает лишь ресантимент. Вот поэтому так опасаемся мы все усиливающейся нелюбви к культуре, растущего неприятия поэзии, живописи, философии. Ведь именно культура противостоит сейчас (при отсутствии динамики социального роста и при пошатнувшихся моральных ценностях) господствующей повсюду деструкции. Она являет собой для многих новый вид аскезы, преобразует хаос полубогемного существования в космос смыслов. Раскрепощая — собирает, освобождая — обязывает. Культура защищает нас также и от различного рода «соскальзываний» в ту или иную крайность. Она — надежное противоядие против фанатизма и распушенности. Она полагает границы излишнему критицизму, с одной стороны, и идеологической одержимости, с другой.

И что же мы видим при взгляде на современное христианство? Оно напоминает зеркало, отражающее нищету «официальной идеологии» — и там и здесь царит антиисторизм, и там и здесь убеждают аффектами, а не аргументами, и там и здесь — презрительное отношение к рефлексии, и там и здесь живут в отрыве от мировой культуры и даже считают это своим достоинством.

Я думаю, об этих опасностях и трудностях Вы осведомлены не хуже меня. Для меня все это — не просто размышление или точка зрения. Речь идет о самом важном — о реальной гибели близких людей, которых наблюдаешь изо дня в день и падению которых не в силах противостоять. Мы просим вас помочь нам победить и этих внутренних врагов, как помогаете вы побеждать внешних. Ваш журнал необычайно популярен здесь, вы как никто способны помочь становлению христианского самосознания в России, нести свет просвещения в спутанность и иррациональность нашей жизни.

В конце мне хотелось бы поблагодарить вас за то сочувствие и внимание, которое вы проявили в отношении нашего журнала «37». Мы надеемся на продолжение творческих контактов и в будущем.

С сердечным приветом

Татьяна Горичева

Богословие

О. Димитрий КЛЕПИНИН*

О ЛЮБВИ

(Из письма к другу)

16. 9. 1930 г.¹

Природа любви Бога и к Богу связывается у меня с Ветхим Заветом и ап. Павлом, который стал для меня близким и дорогим особенно в Америке, где я им главным образом занимался... У ап. Павла есть мысль, что основа закона — любовь. В Ветхом Завете эта любовь в законе почти не раскрывается. Она есть лишь средство к правильному взаимоотношению людей между собой и людей к Богу. Такова же любовь гуманистическая, современная. Это средство или сила, устраивающая и преобразующая жизнь. Но это всё из-за того, что люди не могли вместить любви; по существу же отношение Бога к людям было то же, т. к. Бог неизменен. В Новом Завете отпадает прикладное значение любви. Таковы заповеди о рубаше, которую просят, и верхней одежде, которой не просят, и о поприще, которое просят пройти, тогда как второе не просят идти. Здесь дающий забывает о поводе и сосредотачивается на самой личности просящего. Здесь стирается грань своего я и другого лица. И конечно полнота этого — омовение ног ученикам и крестные страдания. Такова и притча о блудном сыне. Ветхий Завет исчерпывается желанием блудного сына вернуться в качестве наемника, а полное отношение Бога к человеку — возложение риз, перстня и заклание тельца.

Ветхозаветный человек не подозревает истинного отношения к нему Бога. Но и в Ветхом Завете есть окна в существо этих отношений. Особенно вспоминается Песнь Песней. Любовь души человека и Бога есть «роман» — ничего прикладного нет в этой любви. Она — содержание жизни. Сомнения, ревность, чувство

* Член РСХД, стал священником в 1937 г., погиб в немецком концлагере в 1944 (был арестован вместе с мат. Марией, Ф. Пьяновым и др.).

¹ Съезд РСХД, около Монфора.

оставленности, горечь одиночества; затем встречи и пленение без остатка, радость значимости для другого. Всё это охватывает всё существо души без остатка. Это опьянение, когда всё другое не существует, даже воля пленяется. Воля есть в искании любимого, а потом даже воля отдается.

Характерно, что в будущем веке не будет веры и надежды, останется только, освобожденная от всего прикладного, — Любовь. Она, несомненно, есть содержание жизни, т. к. жизнь сотворена любовью и заключается в возвращении к первооснове — Любви. Всё остальное есть испытание воли к этому возвращению. Всё положительное вырастает из любви, всё отрицательное — неправильное выражение любви — паразит на теле любви. Такова сущность всякого греха, а следствие его — страдание, отдаление от любви.

Может быть в силу моей «еретичности», в моем представлении о природе любви для меня страшнее греха — прикладная любовь, любовь к Богу и к людям без «романа». Это страшно, т. к. цель жизни — возвращение к источнику любви — Христу. Грех может привести к познанию пустоты, а прикладная любовь есть ересь жизни, делающая жизнь самоцелью, а любовь силой гармонизирующей. А в действительности жизнь есть прикладное обстоятельство ради испытания любви. В жизни будущего века жизнь и будет — любовью, а любовь — жизнью. Поэтому меня ужасает благочестивый протестантский нигилизм, не верующий в божественность Иисуса Христа. Христос — не учитель и реформатор, а содержание жизни, т. к. иного содержания жизни нет.

Монашество есть не отказ от личного, интимного ради высшего, отвлеченного идеала служения, а есть тот же «роман» или пленение, уязвление сердца любимым. И монашествующий отказывается от личной жизни и от мирской любви только потому, что его интимная, личная любовь к Богу и Бога к нему реальнее и сильнее пленяет его сердце и ум. Он влечется туда, где слаще и теплее. Его воля бодрствует и ведет его в моменты оставленности, потому что память о встрече делает его рассудительным, подобно купцу, купившему поле ради одной жемчужины, скрытой в нём. Если нет «романа» в такой любви монашествующего, то его монашество — самая неблагоприятная обстановка для возвращения к любви Божией. В мире гораздо больше возможностей найти в себе заложенную любовь. В монастыре происходят удивительные случаи полного высыхания и даже омрачения людей, бывших

в миру очень благонамеренными. Если же есть этот «роман» в любви, то монастырь есть лучшее место, т. к. тишина его не тревожит тайных встреч, а тогда ничто мирское не соблазнит надолго.

Особенно ярко идея любви, как самоцели, выражается в мученичестве. Св. Игнатий Богоносец в своей молитве перед мучениями просит зверей, чтобы они смолотили его тело, чтобы оно превратилось в зерно, дабы стать Хлебом Христовым. Показателен тропарь мученицам: «...Тебе, женише мой, люблю и ТЕБЕ ИЩУЩИ, страдальчеству и сраспинаюся, и спогребаяюся Крещению Твоему и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовью пожержуюся Тебе...» ...Еще, помните, мы говорили о страдании. Я в первый раз понял значение страданий, когда осознал, что всё, на что я надеялся в жизни, ушло от меня. Об этом моменте я всегда вспоминаю, как о самом тяжелом в моей жизни и о самом радостном... Почти всякий человек переживал в жизни такой острый момент опустошения или кризиса. Но радость посетила меня, когда на память пришли слова Спасителя: «Приидите ко Мне все нуждающиеся и обремененные и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть». Я пришел на могилу моей матери с тяжелым игом житейским, и всё казалось таким запутанным и безысходным, и нашел легкое бремя Христово. Не знаю более счастливого момента моей жизни и благодарю за всё, что Бог дал мне перенести. После этого я иначе устроил свою жизнь и легче было отстранить всю запутанность разных обстоятельств, и хотя и дальше не было легко жить, но всё же я не променял бы на прежнее и не хотел бы возвращения ко многому тому, что я в жизни имел до того, как она запуталась. Сознаю свою неблагодарность к Богу... Но и в унынии и малодушии не могу не признать, что жизнь — прекрасна. Чудны слова: «Милость Твоя паче живот». Как может жизнь не быть оправдана и прекрасна, если Христос есть Жизнодавец.

ТАИНСТВО ВОЗНОШЕНИЯ*

1. Станем добре...

Господи! Хорошо нам здесь быть...

Мф. 17,4

1

«Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносить...» Когда после исповедания веры слышим мы этот призыв, совершается в литургии нечто трудно выразимое словами, происходит лишь изнутри, лишь духовно ощутимый «переход в другой ряд». Что-то завершено и что-то теперь так очевидно начинается.

Что? Общепринятый ответ на этот вопрос звучит так: начинается е в х а р и с т и ч е с к и й к а н о н — та главная часть литургии, во время которой и совершается таинство, т. е. предложение или пресуществление евхаристических даров хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Но ответ этот, хотя формально и правильный, сам, в свою очередь, вызывает на вопрошание, требует уточнения, ибо, как я постараюсь показать, понимать его можно по-разному, а, между тем, от того или иного понимания его зависит и все понимание литургии, места ее не только в нашей жизни, и даже не только в жизни Церкви, но и в тайне спасения мира как возврата и восхождения твари к Творцу.

Так, прежде всего, что означает, точнее — что может и что должно означать, определение этой части литургии как главной? Слово это предполагает некое соотношение, некую связь между «главным» и «неглавным» и вне этой связи не имеет никакого смысла. Но ведь то «схоластическое», школьное богословие, с легкой руки которого определение это возникло и стало общепринятым и как бы самоочевидным, само никакими другими частями литургии никогда не занималось и не занимается. Напротив, именно оно, сначала на Западе, а потом, подражательно, и на Востоке, свело все таинство Евхаристии к одной этой части («евхаристический канон»), и даже не к ней, а к одному внутри

* Глава из книги о Литургии. Предшествующие главы см. в «Вестнике» №№ 107, 108-110, 111, 112-113, 114, 116, 119, 122. Главы эти печатаются здесь без ссылок и примечаний, которые войдут в издание этого труда отдельной книгой.

нее моменту (пресуществление). И именно благодаря этой «редукции» все остальные части литургии, те, о которых мы говорили в предшествующих главах, оказались по отношению к этой, уже, следовательно, не главной, а единственной части — иноприродными и для богословского определения и уразумения таинства Евхаристии — н е н у ж н ы м и. И, наконец, именно эта их «ненужность» для богословия и сделала их уделом, с одной стороны, «литургистов» и «уставщиков», с другой же — «религиозного чувства» и свойственного ему безудержного стремления повсюду в богослужении находить «изобразительный символизм», к таинству обычно не имеющий никакого отношения.

Всякому, кто мало-мальски внимательно прочел предшествующие главы, должно быть ясно, что если таков смысл слова «главная» в определении той, тем не менее действительно главной, части литургии, к изъяснению которой мы теперь приступаем, то смысл этот я решительно отвергаю. Отвергаю потому, что в нем вижу самый яркий пример и доказательство не только односторонности или недостаточности, но — скажу прямо — порочности нашего школьного, мертворожденного, западного богословия, порочности столь очевидно нигде не являемой, как в подходе к святой святыни Церкви — к Евхаристии и таинствам. Поэтому не для пущей торжественности, а совершенно сознательно и ответственно каждую главу, посвященную первым частям литургии: входу и собранию, чтению и проповеди Слова Божия, приношению, целованию мира и исповеданию веры, — я озаглавил словом т а и н с т в о. Ибо свою задачу я в том и вижу, чтобы, по возможности, показать Божественную Литургию как единое, хотя и «многочастное» священнодействие, как единое Таинство, в котором все «части» его, весь порядок и строй каждой из них, и их соподчиненность друг другу, необходимость каждой для всех и всех для каждой, и являют нам неисчерпаемый, предвечный, всеобъемлющий, поистине Божественный смысл совершаемого и совершающегося.

Таково, во всяком случае, предание Церкви, таков живой опыт ее, в котором Таинство Евхаристии неотделимо от Божественной Литургии, ибо назначение ее — всего ее последования, чина, строя — в том и состоит, чтобы явить нам смысл и содержание Таинства, ввести нас в него, претворить нас в его участников и причастников. Между тем, именно это единство, эту целостность Евхаристии, эту нерасторжимую связь таинства с литургией и разрушает школьное богословие своим произвольным выделением в литургии одного «момента» (акта, формулы) и

отожествлением его одного с таинством. Речь здесь идет не о разногласии в отвлеченных определениях, не о богословских «тонкостях», а о самом глубоком и существенном: о том, как и где искать ответа на вопрос — что совершается в Евхаристии? Если для Церкви не только ответ на этот вопрос, но и сам вопрос, т. е. правильная его «постановка», укоренены в Литургии, то это потому, что Евхаристия есть для нее увенчание и исполнение Литургии, как Литургия есть увенчание и исполнение всей веры, всей жизни и всего опыта Церкви. Школьное богословие, однако, не литургию «вопрошает» о смысле таинства. Порочность, трагедия его в том, что оно на деле по д м е н я е т сам вопрос, заменяет его другим вопросом, укорененным не в опыте Церкви, а в «совопросничестве века сего», — в вопросах, категориях мысли, можно почти сказать — в любопытстве — падшего, верою не возрожденного и не просвещенного разума. Так, создав свое собственное, априорное и «самодовлеющее» определение таинства, оно к нему обращает, ему навязывает вопросы и «проблематику», которые по-настоящему сами нуждаются в о т н е с е н и и себя к опыту Церкви, к своей — в свете опыта этого — оценке.

2

На протяжении теперь уже веков «проблематика» эта оказалась сведенной к двум вопросам: к о г д а и к а к? Когда, т. е. в какой момент, хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовыми? Как, т. е. в силу какой причинности, это совершается? В ответ на эти вопросы написаны буквально сотни книг, они составляли, да и до сих пор составляют, предмет напряженных споров — между католиками и протестантами, между Востоком и Западом. Но вот стоит только попытаться о т н е с т и все эти домыслы и теории к непосредственному опыту Литургии, к той о б е д н е, что служит в храме, как очевидным становится, до какой степени объяснения эти остаются по отношению к такому опыту внешними, извне ему навязанными и потому не только ничего по-настоящему не объясняющими, но в конце концов просто н е н у ж н ы м и.

Действительно, что — не словесно, не отвлеченно, а реально — для нашей веры, богообщения, духовной жизни, спасения — означает то, к Аристотелю восходящее, различие с у б с т а н ц и й и а к ц и д е н ц и й, при помощи которого схоластика отвечает на вопрос, как совершается пресуществление хлеба и

вина в Тело и Кровь Христовы? Пресуществление, состоящее, согласно этому ответу, в замене «субстанции» (сущности) хлеба — сущностью Тела Христова, а «акциденций» Тела — акциденциями хлеба? Вере, каждое воскресенье, со страхом Божиим и любовью, исповедающей «сие есть самое пречистое Тело Твое... сия есть самая честная Кровь Твоя...», объяснение это не нужно, для разума же оно все равно остается непонятым насилием над теми самыми «законами», на основании которых оно якобы построено.

Так же и с вопросом к о г д а, т. е. в какой момент, в силу какой «причинности» совершается пресуществление. Западная схоластика отвечает: в момент произнесения священником установительных слов: «сие есть Тело Мое... сия есть Кровь Моя...», слов, составляющих таким образом «тайносовершительную формулу», т. е. формальную — «необходимую и достаточную» — причину пресуществления. Православное богословие, отвергая — и, как мы увидим дальше, справедливо — это латинское учение, со своей стороны утверждает, что преложение совершается не установленными словами, а э п и к л е з о й, т. е. молитвою призывания Св. Духа, которая в нашем чине литургии непосредственно за этими словами следует. Но скованное в сущности тем же методом, той же «проблематикой», оно не раскрывает, в чем же, в конце концов, смысл и в а ж н о с т ь этого спора. Выходит так, что одна «тайносовершительная формула» заменяется другой, один «момент» — другим «моментом», но без раскрытия самой сущности э п и к л е з ы, подлинного значения ее в литургии.

Смысл всего сказанного, подчеркиваю это снова и снова, не в том, чтобы просто снять эти вопросы, убедить в ненужности или невозможности богословского уразумения и объяснения Евхаристии согласно избитой, но на глубине богохульной формулы: «понять этого нельзя, в это нужно только верить». Верую и исповедую, что нет для Церкви, для мира, для человека вопроса более важного, более насущного, чем вопрос: ч т о с о в е р ш а е т с я в Е в х а р и с т и и? Вопрос этот подлинно сопряжен вере, которая живет жаждой вхождения в разум Истины, жаждой словесного (λογική), т. е. разумного, Божью Премудрость являющего и в ней укорененного, служения Богу. Он есть поистине вопрос о последнем смысле и назначении всего сущего, о таинственном восхождении туда, где «Бог будет всяческая во всем», и потому вопрос, самой верой постоянно излучаемый как таинственное

горение сердца у учеников на пути в Эммаус. Но потому-то и так важно насущный вопрос этот освободить, очистить от всего того, что затемняет, умаляет и искажает его, и это значит, в первую очередь, от тех «вопросов» и «ответов», порочность которых в том, что они не земное объясняют небесным, а небесное и надмирное сводят к земному, к своим «человеческим, только человеческим», нищим и немощным «категориям».

Да, с призыва «станем добре» действительно вступаем мы в главную часть Божественной Литургии. Но главная она по отношению к другим частям ее, а не в отрыве и отделении от них, главная потому, что в ней находит свое исполнение все то, о чем свидетельствует, что являет, к чему ведет и возводит вся Литургия, начинается то таинство возношения, которое было бы невозможным без таинства собрания, таинства приношения и таинства единства, но в котором, и именно потому что оно есть исполнение всей Литургии, дается нам понимание, всякое разумение превосходящего и, однако, все являющего, все объясняющего Таинства. Именно об этом «отношении», о целостности и единстве евхаристического священнодействия напоминает, к нему обращает наше духовное внимание, призыв диакона стоять хорошо.

3

Хорошо... Слово это, как, впрочем, и все слова, как сам падший язык человеческий, выветрилось, выдохлось, ослабело, стало означать более или менее «что угодно»: угодно нам, угодно «миру сему», угодно диаволу. Только иногда, да и то отчасти — в поэзии, в художествах слова — вспыхивает оно в своей первозданной чистоте и силе, в своем изначальном, Божественном смысле. Ибо, как всякое подлинное слово, оно от Бога, и для того, чтобы услышать его в литургическом его звучании и смысле, понять, что означает, что являет оно в начале евхаристического возношения, нужно возвести его к Богу, услышать его там, где прозвучало оно в первый раз как некое первосущное откровение.

«И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1,8). Вот оно, это слово, в своем начальном звучании, вот само оно как начало. Но как услышать, как понять и как принять его? Как объяснить его при помощи других слов, если все они по отношению к нему — первичному — вторичны, сами только от него получают и смысл свой и силу? Да, конечно, «культура», «наука», «фило-

софия» достаточно грамотны, достаточно з н а ю т, чтобы определить его формально: хорошо то, что с о о т в е т с т в у е т своей природе, назначению, замыслу, в чем «форма» или исполнение соответствует «содержанию» или заданности. В применении к библейскому тексту выходит, следовательно, так: и увидел Бог, что сотворенное Им соответствует Его замыслу и потому — хорошо... Все верно, все правильно правильностью прописи, но какие же это нищие слова, как бессильны они передать главное: само откровение х о р о ш е с т и х о р о ш е г о, то откровение о мире, о жизни, о нас самих, что несет и являет в себе это Божественное х о р о ш о, ту полноту радости, то в о с х и щ е н и е, которыми оно светит и животворит. Но тогда где же находим мы — не объяснение, не определение — а прежде всего сам опыт, непосредственное знание этого первозданного, нетленного хорошо?

Мы находим его, мы слышим и принимаем это слово там, где прозвучало оно снова во всей своей силе и полноте, прозвучало как человеческий ответ на Божественное х о р о ш о. «Господи, хорошо нам здесь быть» (Мф. 17,4). Этим ответом, там, на горе Преображения, засвидетельствовано было навсегда, навеки принятие человеком Божественного х о р о ш о как своей жизни, своего призвания. Там, в этом «облаке светлом», осенившем его, увидел человек, «что это хорошо» и принял и исповедал... И вот этим видением, этим знанием, этим опытом, на последней своей глубине и живет Церковь, в этом о п ы т е и начало ее и исполнение, как и начало и исполнение всего в ней. Действительно, можно до бесконечности «разговаривать» о Церкви, пытаться «объяснять» ее, можно «изучать» экклезиологию, можно спорить об «апостольском преемстве», канонах и принципах церковного устройства, и, однако, без этого опыта, без его тайной радости, без отнесенности всего к этому «хорошо нам здесь быть», все это остается словами о словах.

Средоточием же этого опыта, одновременно и источником его и присутствием, даром и исполнением является Божественная Литургия — постоянное восхождение, возношение Церкви на н е б о, к престолу славы, в невечерний свет и радость Царства Божия. «В храме стояще, на небеси стояти мним...». Слова эти не благочестивая риторика, в них выражена сама сущность, само назначение и Церкви и богослужения ее как, прежде всего, именно л и т у р г и и, т. е. действия (ἔργον), в котором одновременно и раскрывается и исполняется сущность действующего. Но в чем

же эта сущность, в чем последний смысл Божественной Литургии, как не в явлении и даровании нам этого Божественного хорошо? Откуда, как не из «Господи, хорошо нам здесь быть», одновременно и надмирная, небесная и космическая красота ее, та ц е л о с т н о с т ь, в которой в с е — и слова и звук, и краски, и время, и пространство, и движение, и все н а р а с т а н и е их раскрываются, осуществляются как воссоздание твари, как наше, как всего мира восхождение горе, туда, куда вознес и вечно возносит нас Христос? И потому, если вообще уместно здесь говорить о п р и ч и н н о с т и, о «когда» и «как», то причинность эта, связывающая Литургию воедино, делающая каждую часть ее именно частью, ступенью и, тем самым, условием и «причиной» дальнейшего восхождения, заключена в этом х о р о ш о, знанием и опытом которого, причастием к которому и ж и в е т Церковь. Оно, это Божественное хорошо, с о б и р а е т Церковь как воссозданное Богом, новое творение. Оно собрание это претворяет во в х о д и в о с х о ж д е н и е, оно отверзает ум для слышания и принятия С л о в а Б о ж и я, оно в в о д и т нашу жертву, наше п р и н о ш е н и е в единую, неповторимую и всеобъемлющую жертву Христову, оно исполняет Церковь как е д и н с т в о в е р ы и л ю б в и, оно, наконец, подводит нас к тому порогу, к которому мы теперь подошли, к той поистине г л а в н о й части, в которой все это движение и нарастание найдет свое завершение и исполнение за трапезой Христовой, в Его Царстве... И потому, не будь вся Литургия даром и исполнением этого Божественного х о р о ш о, мы не знали бы, что исполняется в этой г л а в н о й части, не знали бы, что с о в е р ш а е т с я в Е в х а р и с т и и и в вершине ее — претворении Хлеба и Вина, с нами, с Церковью, с миром, со в с е м и и в с е м.

Об этом хорошо и свидетельствуют, к стоянию в нем и призывают слова диакона, которыми начинается главная, ибо все в себе имеющая исполнить, часть Литургии.

2. Благодать Сына, Любовь Отца, Причастие Духа

Три возгласа предстоятеля, три кратких ответа собрания составляют вступительный «диалог», которым открывается таинство возношения.

Сначала — торжественное благословение. Оно имеется во всех без исключения дошедших до нас евхаристических молитвах, хотя и в разных формулировках: от краткого «Господь с вами»

римской и александрийской литургий до нашей троичной формулы, почти тождественной с той, что находим мы у ап. Павла (2 Кор. 13,13): «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Св. Духа, буди (да будет) со всеми вами». Смысл этого благословения всегда и всюду тот же: это торжественное утверждение и исповедание того, что Церковь собрана во Христе и в Нем приносит Евхаристию. Это значит: в таком единстве с Ним, что все, сделанное нами, совершает Он и все, Им совершенное — даровано нам...

Именно это подчеркивается необычностью троической формулы этого благословения, необычностью ее по отношению к той, которая употребляется всегда: Отец, Сын и Св. Дух. Евхаристическое благословение начинается с Христа, с преподания Его благодати. А это так потому, что в этот момент Литургии сущность благословения не в исповедании Пресвятой Троицы в Её предвечной сущности, а в раскрытии, свидетельствовании, можно почти сказать — переживании того, как знание Бога, составляющее сущность жизни вечной (Ин. 17,3), как примирение, единство и общение с Ним дарованы и вечно даруются нам как наше спасение. Даровано же нам это спасение во Христе, Сыне Божиим, ставшем Сыном Человеческим, в котором «мы имеем мир с Богом... и получили доступ к благодати...» (Рим. 5, 1-2), «доступ к Отцу в одном Духе» (Еф. 2,18). Ибо мы «имеем единого посредника между Богом и человеками, человека Христа Иисуса» (1 Тим. 2,5), сказавшего: «Я есмь путь и истина и жизнь: никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14,6). Христианская вера начинается с встречи со Христом, с принятия Его как Сына Божьего, являющего нам Отца и Его Любовь. Это приятие Сына, это соединение в Нем с Отцом исполняется как спасение, как новая жизнь, как Царство Божие, в причастии Св. Духа, который есть сама Божественная Жизнь, сама Божественная Любовь, само причастие Богу... И вот, Евхаристия и есть таинство нашего доступа к Богу и знания Его и соединения с Ним. Приносимая в Сыне, она приносится Отцу. Приносимая Отцу, она исполняется в причастии Св. Духа. И потому Евхаристия есть вечно живой и животворящий источник знания Церковью Пресвятой Троицы, знания не отвлеченного (догмат, учение), каковым оно, увы, остается для столь многих верующих, а знания как постоянного узнания, как встречи, как опыта и потому — причастия жизни вечной.

3. Горé имеем сердца...

Следующий возглас предстоятеля: «Горé имеем сердца» — (да будут сердца наши высоко) принадлежит всецело и исключительно Божественной Литургии, мы не находим его ни в каких других службах. Ибо возглас этот не просто призыв к некоей возвышенной настроенности. В свете всего сказанного выше, он раскрывается как утверждение, что Евхаристия совершается не на земле, а на небе. «Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом — благодатью вы спасены — и воскресил с Ним и посадил на небесах, во Христе Иисусе» (Еф. 2,5-6). Мы знаем уже, что с самого начала Литургии, с самого нашего входа и «собрания в церковь», началось это восхождение на небо, где «скрыта со Христом в Боге» наша подлинная жизнь. И надо ли еще доказывать и объяснять, что небо это ничего общего не имеет с тем «небом», которое ради, якобы спасительной для христианства, «демифологизации», объяснения его «современному» человеку с снисходительной научностью развенчивает Бульманн и его последователи и про которое полторы тысячи лет тому назад уже все сказал св. Иоанн Златоуст: «что мне до неба, когда я созерцаю Владыку неба, к о г д а с а м с т а н о в л ю с ь н е б о м?»

Мы потому и можем сердца наши «иметь горé», что это горé, это небо в нас самих и посреди нас, что оно возвращено, восстановлено нам, как наше подлинное и вожаденное отечество, как родина, на которую мы вернулись после мучительного изгнания и по которой извечно тоскует и стонет, памятью о которой живет все творение. Если о земном, о нас самих, о Церкви мы говорим в категориях в о с х о ж д е н и я, то о небесном — о Боге, о Христе, о Духе Св. говорим мы в категориях н и с х о ж д е н и я. Но говорим мы о том же самом, говорим о небе на земле, о небе, преображающем землю, о земле, воспринимающей небо как последнюю правду о себе. «Небо и земля прейдут» (Мк. 13,31), прейдут в противоположности своей, в разрыве своем друг от друга, прейдут потому, что будут претворены в «новое небо и новую землю» (Откр. 21,1), в Царство Божие, в котором «будет Бог все во всем». В это — для «мира сего» еще только грядущее, но во Христе уже открытое и в Церкви уже «предвосхищаемое» — небесное и горнее Царство Божие и возводит и возносит нас Евхаристия, в нем и совершается...

Но потому и призыв этот, «горé имеем сердца», звучит также и как некое последнее и торжественное предостережение. «Будем

бояться, чтобы нам не остаться на земле» (Св. Иоанн Златоуст). Мы можем, мы свободны остаться д ó л у, внизу, не услышать, не увидеть, не приять этого поистине т р у д н о г о восхождения. Но оставшемуся на земле нет места в этой небесной Евхаристии и тогда само присутствие на ней становится нашим осуждением. И когда хор, а его устами каждый из нас, отвечает: «имамы ко Господу» — мы обратили наши сердца горé — ко Господу, — совершается над нами суд. Ибо не может обратить свое сердце горé только в эту минуту тот, кто, пускай и падая и греша, не обращен к небу во всей своей жизни, кто небом не мерит землю всегда. Поэтому, слыша этот п о с л е д н и й призыв, спросим себя: обращено ли ко Господу наше сердце, в Боге ли, в небе ли его последнее сокровище? Если да, то, несмотря на всю нашу слабость, на все наши падения, мы приняты на небо, мы узрим теперь свет и славу Царства. Если нет — таинство пришествия Господа к любящим Его будет для нас таинством грядущего суда...

4. Благодарим Господа: Достойно и праведно

Этими словами начиналась традиционная еврейская молитва благодарения, их произнес Господь, когда начинал — этой старой молитвой — то свое н о в о е благодарение, которое должно было вознести человека к Богу и спасти мир. И, как тоже было предписано, Апостолы ответили: «достойно и праведно». И Церковь, каждый раз, что совершает она воспоминание этого благодарения, повторяет за ними и с ними: достойно и праведно.

Спасение завершено. После тьмы греха, отпадения и смерти вот снова приносит человек Богу чистое, безгрешное, свободное и совершенное благодарение. Человек возвращен на то место, которое уготовил ему Бог, создавая мир. Он стоит на высоте, перед престолом Бога, он стоит на небе, пред Лицом самого Бога и свободно — в полноте любви и ведения — соединяя в себе весь мир, все творение, приносит благодарение, и в нем весь мир утверждает и признает благодарение это «достойным и праведным». Это — Христос. Он один без греха, Он один — Человек во всей полноте его назначения, призвания, славы. Он один в Себе восстанавливает и возвращает к Богу «падший образ», и потому благодарение Христово теперь приносим мы, его слышим, в нем участвуем, когда начинает предстоятель молитву Евхаристии, заповеданную нам Христом и навеки веков соединившую нас с Богом.

ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА В ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕРКОВНОМ ПРЕДАНИИ*

Заглавие этой статьи может вызвать недоумение, ибо термины «общество» и «культура» имеют разное значение в разных контекстах. Мы не будем пытаться дать обобщающие определения этих терминов, скажем только, что, с христианской точки зрения, общество и культура неразделимы. Пошлое низведение всех запросов человеческой жизни к одной упрощенной схеме — например, социально-экономическим потребностям — противоречит самой природе человека.

Поэтому одна из величайших обязанностей тех, кто принимает христианское откровение, состоит в том, чтобы уметь оценивать и судить историю на основе здорового (или «кафолического») взгляда на человеческую жизнь, охватывающего запросы и духа и тела в неразделенном единстве.

Понятие «предание» тоже нуждается в прояснении. Оно предполагает различие между Преданием как внутренней преемственностью — на всем протяжении истории — единой апостольской веры и «преданиями человеческими» (Марк 7,8), которые отражают естественное многообразие, содержанием Евангелия. Ясно, что православное богословие, придающее особо важное значение Преданию, всегда должно уметь различать — особенно в контексте экуменического диалога — «Священное Предание» и «предания человеческие». Одна из задач этой статьи, в моем понимании, состоит в том, чтобы сделать это различие как можно более ясным в области фактов и идеологического развития православной церковной истории.

Само это различие, так же как и оценка, которую мы в состоянии дать разным человеческим традициям, как они существовали в прошлом, может быть установлено только на основании богословских предпосылок, проистекающих из самой христианской веры, которая придает смысл истории, дает ей **цель** (греч.: «эсхатон»). Христианская инициатива в жизни общества — не слепая инициатива, она основывается на знании того, чего, в конечном счете, возможно и чего невозможно **ожидать** в финале че-

* Доклад на Совещании православных, лютеранских и реформатских богословов в Нью-Йорке (ноябрь 1975). Перевод с английского.

ловеческой истории. Это христианское упование есть основа всех христианских суждений о жизни человеческого общества и культуры.

Наше обсуждение исторического развития православия в прошлом должно, следовательно, начинаться с определения «эсхатологических» категорий. Различное историческое развитие на Востоке и на Западе приобретет более ясный смысл, если применить одни и те же эсхатологические критерии и к Востоку и к Западу.

I. Три эсхатологии

Отвергая онтологический дуализм манихеев, а также идею (широко распространенную в гностицизме второго века), что видимое творение — дело рук низшего демиурга, отличного от трансцендентного Бога, христианство утверждает изначальную благость творения. Единый и благой Бог есть Творец всего «видимого и невидимого». С равным постоянством, однако, христианство отстаивает экзистенциальный дуализм между «сим миром», пребывающим в состоянии бунта против Бога, и «будущим веком», когда Бог будет «всё во всём» (1 Кор. 15,28). Христиане чают «грядущего града» и считают себя лишь «странниками» (1 Петр. 2,11) и не в полном смысле гражданами в настоящем мире. Тем не менее, эта новозаветная эсхатология и практические выводы из нее понимались христианами и прилагались ими к жизни по-разному в разные периоды истории. Вот три примера:

1) Идея, что Царство Божие, в силу Божественного **всемогушества**, будет явлено внезапно и в не столь отдаленном будущем, господствовала в ранних христианских общинах. Эта эсхатологическая концепция выражалась в ежедневной и постоянной молитве: «Да прейдет образ века сего». В свете такой эсхатологии христиане вовсе не должны заботиться о том, чтобы усовершенствовать существующее, видимое, человеческое общество, потому что, все равно, земной мир предназначен к близкому и катастрофическому исчезновению. Многие считали неизбежным конечное осуждение огромного большинства человечества и спасение лишь «остатка». В этой перспективе даже и самая малая ячейка земного общества, семья, становилась бременем, и брак (хотя и позволенный) не считался желательным. Эсхатологическая молитва «Гряди, Господи Иисусе!» (Апок. 22,20) понималась, прежде всего, как вопль «остатка», беспомощного во враждебном мире и ищущего спасения **от** мира, а не ответственности **за** мир.

Такая эсхатология не дает основания ни для какой христианской миссии по отношению к обществу или культуре. Она приписывает одному лишь Богу, действующему без всякого человеческого «соработничества» (см. 1 Кор. 3,9), задачу водворения Нового Иерусалима, сходящего «приготовленным» (Ап. 21,3) с небес. Она также пренебрегает теми новозаветными образами Царства, которые прямо предполагают такое «соработничество», или «синергию» горчичного зерна, вырастающего в большое дерево, закваски, благодаря которой вскисает все тесто, полей, готовых для жатвы. Эсхатология ухода от мира, конечно, психологически понятна и даже духовно оправдана в те времена, когда христианская община, из-за внешнего давления и преследования, принуждена войти в себя и изолироваться от мира, как это случалось в первые века и случается в наше время, но, превращенная в систему, она явно не согласна с новозаветным представлением о мире как целом: «Новый Иерусалим» — не только свободный дар Божий, сходящий с небес, но и запечатление и исполнение всех разумных усилий и добрых стремлений человечества, преображенных Богом в новое творение.

2) Но если настаивать на достоинстве **человеческих** достижений в истории, можно прийти к другой и противоположной крайности пелагианизированной и оптимистической идеологии, основанной на вере в нескончаемый прогресс. Поскольку такая вера в прогресс решительно утверждает, что история имеет смысл и цель, она также может почитаться «эсхатологичной». По существу, она — явление послехристианское, немыслимое вне христианских категорий (напр., в Буддизме). В течение трех последних веков ею вдохновляется европейская и американская культура. За прошедшие десятилетия многие — особенно западные — христиане в той или иной степени приняли этот оптимистический тип эсхатологии, отождествив социальный прогресс с «новым творением», приняв историю за проводника к «новому Иерусалиму» и определяя основную задачу христиан в мирских категориях. Именно в этих категориях они иногда оправдывают сотрудничество христиан с марксистами и с прочими политическими утопиями нашего времени.

Трагедия этой второй эсхатологии — называется ли она христианской или нет — в том, что она не принимает во внимание греха и смерти, от которых человечество не может быть избавлено своими собственными усилиями, и, таким образом, игнорирует самый реальный и самый трагический аспект человеческого суще-

ствования. Она, по-видимому, стремится к бесконечной цивилизации, навсегда плененной смертью, которая была бы «так же ужасна, как бессмертие человека, пленника болезни и старости»¹. Принимая своего рода **исторический** детерминизм, она отвергает самую суть христианской веры: **освобождение** от «начал и властей» истории через Христово Воскресение и через пророческое обетование космического преображения, которое будет осуществлено Богом, а не человеком.

3) Библейское понятие «пророчества» ведет нас к третьей форме эсхатологии, воздающей должное и всемогуществу Божию, и человеческой свободе в созидании исторического бытия. Пророчество — и в Ветхом, и в Новом Завете — это не просто предсказание будущего и возвешение о неминуемом: это «или обетование или угроза»². Иначе говоря, как правильно указывает русский религиозный философ Федоров, оно всегда условно. Будущие блага — обетование **верующим**, тогда как конечная катастрофа — угроза **грешникам**. И то и другое, однако, в конечном счете обусловлено человеческой свободой. Бог не разрушил бы Содома ради десяти праведников (Быт. 18,32) и пощадил ниневитян от гибели, провозвешенной Ионой, потому что ниневитяне покались (Иона 3,10)...

Бог не связан никакой естественной или исторической необходимостью: человек сам, в своей свободе, должен решить, будет ли для него и для его общества грядущее Царство Божие страшным судом или брачным пиром. Никакая эсхатология не верна христианскому благовестию, если она не **условна**, т. е. если она не утверждает одновременно власти Бога над историей и задачи человека, вырастающей из подлинно реальной свободы, восстановленной во Христе для созидания Царства Божия.

Таковы предварительные соображения, необходимые при взгляде на историческое прошлое православия и при оценке его.

II. Наследие Византии

Рим и его имперская традиция, и на Западе, и на Востоке, оказали неизгладимое влияние на то, как подходят христиане ко всем проблемам, касающимся общества и культуры. Христианская Церковь осудила апокалиптический монтанизм с его проповедью бегства из истории и отрицанием культуры, а затем приветствовала

¹ Г. П. Федотов, Новый град, Нью-Йорк, 1952, с. 323.

² Там же, с. 327.

возможности, открывшиеся перед нею с обращением Константина, и даже, по крайней мере на Востоке, причла первого христианского императора к лику святых, и даже «равноапостольных», отвергая монтанизм и манихейство и благословляя земную империю, Церковь приняла на себя ответственность за «Вселенную» «икумени»), сочла возможным влияние на мир — не только прямо, через проповедь Евангелия и таинства, но и косвенно, теми средствами, которыми пользовалось и государство: законодательство, управление и даже (что более спорно) — военная сила, поскольку все войны, ведущиеся против «неверных», стали рассматриваться как священные, а римская армия стала «Христолюбивым воинством».

Существует множество законодательных текстов, показывающих, что христианская империя, без каких-либо официальных возражений со стороны Церкви, смотрела на императора как на образ Христа, поставленного для управления обществом и для его защиты. «Во имя Господа Иисуса Христа, — пишет император Юстиниан (527-565), — начинаем мы всегда каждое наше предприятие и действие. Ибо от Него приняли мы попечение о всей Империи, Его именем заключили мы постоянный мир с персами, благодаря Ему преодолели бесчисленные трудности; Им дано было нам защитить Африку и покорить ее нашей власти. Он дает нам силу мудро управлять государством и твердо сохранять над ним нашу власть... А поэтому вручаем нашу жизнь Его Провидению и готовим наши полки и военачальников»³.

Как известно, христианизированное римское самодержавие приняло разные исторические формы на Западе и на Востоке. В 476 году, на Западе, Рим пал под власть «варваров». Германские династии Каролингов и Оттонов присвоили себе древнюю римскую императорскую власть, но встретили сопротивление со стороны римских пап, боровшихся за обеспечение независимости Церкви от императоров. В конце концов, Запад признал в римском первосвященнике законного наследника цезарей и религиозного и политического вождя христианства, наделив его не только духовной, но и светской властью. В противоположность этому, на Востоке, Римская (или «Византийская») империя просуществовала до 1453 г. Церковь не пыталась ограничить власть императора в чисто

³ Кодекс Юстиниана, 1, 27, 2. Текст упоминает конкретные события царствования Юстиниана; «вечный мир» с персами, завоевание Северной Африки у вандалов и упразднение власти готов в Италии..

политических делах. Правы ли историки, полагая, что система управления, принятая византийским государством и Церковью, была системой «цезарепапизма»? Если это так, то следует также признать, что в средневековый период православная Церковь в действительности капитулировала перед «миром», т. е. приняла второй тип эсхатологии — рассматривающий Царство Божие как явление и идеал, вполне однородные со «светским» историческим прогрессом, — и, конечно, православное богословие, критикуя современный западный «секуляризм», было бы в противоречии со своим собственным прошлым.

Было бы, разумеется, невозможно представить здесь полное историческое обсуждение проблемы Церкви и общества в Византии, и я ограничусь несколькими краткими положениями, которые легко могут быть подкреплены и текстами, и фактами.

а) **Византийское христианство никогда не присваивало императору абсолютной власти в вопросах веры и этики**⁴. Для православных византийцев признание абсолютной власти за императором в области религии и вероучения было невозможно по той простой причине, что Православие никогда не было религией, зависящей от внешнего авторитета. Не только решения императора, но и **указы патриархов** и даже решения соборов подлежали «рецепции» всего церковного «тела», т. е. всей иерархии и всего народа. Постоянно возобновлявшиеся богословские споры продолжались и после соборов, созываемых императорами (ср. триадологические споры после Никейского Собора, христологические споры после Ефесского и Халкидонского Соборов и т. д.), несмотря на императорские указы. Во времена династии Палеологов (1261-1453), каждый из сменявших друг друга императоров активно толкал Церковь на «унию» с Римом. Уния, однако, так и не удалась: значит, император не обладал в Церкви абсолютной властью.

б) **Византийское общество избежало цезарепапизма не противопоставлением императорам иной соперничающей власти (т. е. власти священства), но отнесением всей власти непосредственно к Богу.** Этот теоцентричный взгляд на вселенную и Церковь хорошо выражен в классическом тексте на эту тему — **Шестой новелле** императора Юстиниана: «Величайшим благословением человечества являются дары Божии, ниспосылаемые нам с небес по

⁴ Мы подробно обсуждаем это положение в нашей работе «Justinian, the Empire and the Church», **Dumbarton Oaks Papers**, 22, 1968, pp. 45-60.

Его милосердию — священство и царство. Священство служит предметам Божественным; царская власть главенствует над человеческими и о них заботится; но обе исходят из одного, и того же самого, Источника и обе украшают жизнь человека».

В Византии этот знаменитый текст не вызвал — как на Западе — институциональной борьбы между двумя законом установленными властями: **sacerdotium** и **imperium**, но был понят в христологическом контексте. Во Христе соединены две природы, неслиянно и нераздельно, в единую ипостась, или Лицо; это Лицо и является единственным источником их нераздельного (хотя и неслиянного) существования. Принятие этого христологического образца для организации общества хорошо иллюстрирует контраст между легалистическим Западом и эсхатологически настроенным Востоком⁵. В мысли новеллы Юстиниана, общей целью империи и священства является счастливое согласие («гармония»), порождающая все блага для человечества, — явно эсхатологическая цель, которую фактически невозможно определить в юридических, политических или социальных категориях.

Конечно, византийские христиане осознавали тот факт, что все люди — императоры, патриархи, священники — неизбежно в той или иной степени изменяют христианскому идеалу, стоящему перед ними. Поэтому Церковь никогда не приписывала непогрешимости никакому отдельному человеку, или даже законом определенному установлению. История византийской Церкви дает бесчисленные примеры высоко авторитетных голосов, оспаривающих произвол императоров или церковных властей: примеры св. Иоанна Златоустого, преп. Максима Исповедника, св. Иоанна Дамаскина, преп. Феодора Студита общеизвестны и не могут рассматриваться как исключения из правила, ибо их писания, широко читаемые поколениями византийских христиан, всегда были на христианском Востоке авторитетнейшими образцами общественного поведения. Никто из них, однако, не бросал вызова ни византийской политической системе как таковой, ни **эсхатологическому идеалу**, определенному Юстинианом. Никто из них не отвергал того принципа, что «Божественное» неотделимо от «человеческого» в силу Боговоплощения, и что все «человеческое» должно стать христоподобным, т. е. приобрести «гармонию»

⁵ О следствиях см. F. Dvornik, **Early Cristian and Byzantine Political Philosophy. Origins and Background**, II, Washington, Dumbarton Oaks Studies, IX, 1966.

с Богом. Никто из них не проповедовал ни апокалиптического ухода от культуры, ни разделения между духовным и светским началом культуры, ни «автономию» светской культуры.

Как же византийский идеал культуры находил выражение на практике? Нет сомнения, что византийское общество — так же как и средневековое христианское общество на Западе — стремилось ввести христианские начала в законодательные тексты и государственную практику. «Мы полагаем, что ничем не можем воздать Богу должное скорее и лучше, — пишет император Лев III в сборнике законов, известном под заглавием «Эклога», — чем управлением доверенными Им нам людьми, согласно закону с правосудием, так, чтобы, начиная с этого времени, прекратились всякие незаконные объединения и чтобы были расторгнуты сети насильственных сделок по договорам и пресечены были стремления тех, кто грешит».⁶ Подобным же образом церковное право требовало от Церкви использования своего богатства ради общественного блага⁷. Государство и Церковь несомненно заботились о благосостоянии общества в очень широкой мере.⁸ Правда, эта забота часто ограничивалась нравственным влиянием — во имя христианского идеала — на воспринятый от язычества общественный строй, например, институт рабства, но и рабство было все же относительно гуманизировано: убийство раба (в отличие от древнеримского права) стало почитаться преступлением.

Всеобщая забота о **humanum** не предполагала четкого юридического различия между государством и Церковью: единство цели составляло самую суть идеальной «гармонии», определенной Юстинианом. Это единство цели оправдывало и власть императора в управлении практическими церковными делами (выбор патриархов, созыв соборов, определение границ церковной юрисдикции, и т. д.), а также и участие церковных сановников в политической деятельности. Конечно, церковное право строго запрещало назначение духовных лиц светской властью (Седьмой Вселенский Собор, правило 3), а также и принятие на себя какого-либо светского звания духовными лицами (Четвертый Вселенский Собор, правило 7). Но эти каноны никогда не почитались формально ненарушаемыми в случаях, когда польза Церкви требовала более широкого

⁶ Эклога. Византийский законодательный свод VIII века, пер. Е. Э. Липшиц, Москва, изд. «Наука», 1965, стр. 41.

⁷ См., например, правила 8 и 10 Халкидонского Собора.

⁸ См.: D. F. Constantelos, **Byzantine Philanthropy and Social Welfare**, Rutgers University Press, New Brunswick, N.J., 1968.

их толкования. Например, Церковь никогда не считала, что поддержка государства во времена нужды, с целью обеспечения непрерывности Юстиниановой гармонии, является нарушением канонов. Так, «вселенский патриарх» Константинопольский стал фактически рассматриваться как политический сановник империи, хранитель церковной законности в государственной системе и автоматически принимал на себя регентство в государстве, когда возникала в этом нужда. Роль, сыгранная патриархами Сергием I (610-638), Николаем Мистиком (901-907, 912-925), Арсением Авторианом (1255-1259, 1261-1265) и Иоанном Калекой (1335-1347), в качестве регентов или политических вождей, казалась всем вполне нормальной. Это типично византийское представление о неразрывном союзе между вселенской Церковью и — в идеале — вселенской империей нашло свое выражение также и в самые последние дни Византии. Патриарх Антоний (1389-1390, 1391-1397) на запрос московского Великого Князя Василия I, можно ли опускать имя византийского императора на богослужениях в России, ответил: «Сын мой, ты ошибаешься, говоря: «У нас есть Церковь, но нет императора». Невозможно христианам иметь Церковь и не иметь императора. Между Церковью и империей есть великое единство и общность, и их невозможно отделить друг от друга»⁹.

И славяне — духовные дети Византии — конечно, усвоили этот урок. Византийский образец отношений между Церковью и обществом был верно перенят ими — с тем же самым идеалом «гармонического» единства при общей преданности Христу. Создав свои малые «Византии» в Преславе, Охриде, Тырнове, Киеве и Москве, болгарские, сербские, русские цари и князья признали Церковь их культурной вдохновительницей и путеводительницей, и Церковь охотно приняла эту роль, переведя византийские тексты на общедоступный славянский язык, беря на себя общественную и политическую ответственность всякий раз, как возникала в этом нужда. Так, московский митрополит Алексей стал на долгое время регентом московской Руси (1353-1378), и его примеру последовал позднее патриарх Филарет (1619-1634). Даже препод. Сергей Радонежский использовал свой духовный авторитет не только в борьбе с татарами, но и против междоусобной вражды русских князей.

⁹ Русская Историческая Библиотека, VI, СПб. 1880, Приложение, стр. 274-276.

В чем же состоит положительное наследие православной Византии современной Церкви? Это положительное наследие заключается в идее **неразделимости** божественного и человеческого, как в личной, так и в общественной жизни человека. Православный византийский Восток завещал нам основную истину о человеке: человек есть «образ Божий». Когда он отказывается от этого Образа, он теряет саму человечность. Без Бога не может быть ни личного, ни общественного совершенства.

В наше время Византийская идея «гармонии» между Церковью и обществом стала неприменимой как **практический** образец политического строя. Более того, в самом Византийском — по существу утопическом — идеале крылся духовный изъян: Византийцы, как и весь средневековый мир, фактически считали «гармонию» **уже осуществленной**. По отношению к своим врагам или внутренним диссидентам, они вели себя, как если бы Византийское Царство уже было Царством Божиим, обладающим правом конечно судить и истреблять тех, кого оно почитало и своими, и Божьими врагами. Говоря богословски, Византийская идеология погрешала в области своих же собственных эсхатологических категорий, отождествляя земное царство с Царством Божиим, и часто забывая, что всякая государственная структура принадлежит, как таковая, к миру «падшему», не подлежащему абсолютизации и обожествлению.

Могла ли юстиниановская «гармония», т. е. по существу эсхатологический идеал, получить конкретное осуществление в истории? Была ли Византия столь полно преобразована и преображена как общество, что находилась в полном соответствии с замыслом Божиим о тварном мире, или она все же оставалась «падшим обществом» — во власти зла, греха и смерти?

Византийская империя как политическая и культурная реальность никогда не разрешила двусмысленность своих притязаний. Церковь, однако, в своем богословском сознании всегда придерживалась **различия** между священством и империей, между литургическим, сакраментальным и евхаристическим предвосхищением Царства Божия, с одной стороны, и эмпирической жизнью все еще падшего человечества, с другой. Эта полярность между «церковью» и «миром» была также основным импульсом византийского монашества. Монахи уходили от общества, даже «христианского» — и никогда не подчинялись стандартам, навязываемым империей. Их общественная роль постоянно служила пророческим напоминанием о том, что полная гармония **невозможна** до

Парусии, что империя — еще не Царство Божие, что христианин, для того, чтобы соучаствовать в Христовой победе над миром, должен порвать с законами и логикой павшего человечества, чего никакой государственный строй, даже вдохновляющийся христианством, не может сделать.

III. Новое время

Несмотря на свою, казалось, неразрывную связь со средневековым христианским обществом, Восточное православие сумело пережить падение Византии и других христианских империй. Нужно ли лучшее доказательство того факта, что — в самой глубине религиозного опыта Православия империя не переживалась как «осуществленная эсхатология» и что опыт монашества, всегда утверждавший, что Царство Божие является в Евхаристии и личном опыте Бога, доступном святым как членам Тела Христова, оставался всегда истинной сутью Православия?

Сама история натолкнула Православие на признание того, что христианство «не от мира сего», поскольку «мир» стал враждебным христианству, каковым он был и в первые три века истории Церкви.

Отоманская империя, в течение четырех столетий державшая под своей властью Балканы, Малую Азию и Средний Восток — большую часть прежней византийской территории, — была мусульманским государством, которое терпело существование большого христианского населения, но запрещало христианскую миссионерскую деятельность и делало всякое культурное или интеллектуальное развитие практически невозможным. В течение всех этих столетий православное богослужение, с огромным богатством песнопений и символики, явно выраженным эсхатологическим характером, способностью объединять молящихся в реальном опыте Тела Христова, стало главным и в значительной степени самодовлеющим выражением христианства у греков и южных славян. К тому же, следуя вышеупомянутой византийской традиции, предполагавшей, что, за отсутствием императора, патриарх Константинопольский принял бы на себя ответственность за общество в целом, вселенский патриарх стал, по назначению султана, **этнархом**, т. е. гражданским главою всего православного христианского населения турецкого государства. Так, Церковь не отказалась от своей миссии перед обществом, но эта миссия практически стала ограниченной пределами христианского гетто. среди мусульманской стихии. Это положение, навязанное трагедией истории, к

несчастьем, осталось привычным даже и тогда, когда времена для осуществления более активной миссии Церкви стали более благоприятными.

Между тем, на Руси образовалась новая и могущественная православная империя, и вначале казалось, что ей суждено было принять на себя роль второй Византии, или — «третьего Рима». Однако политические и социальные идеалы, которые в конце концов возобладают на Руси, были идеалами западного светского государства, с византийскими формами и формулами, использовавшимися, главным образом, для того, чтобы оправдать самодержавную власть как таковую, — без того церковного и канонического корректива, который в Византии почитался неотъемлемым условием «гармонии» Церкви и государства.

Тем не менее, именно на Руси, в то время, когда империя еще не сделала окончательного поворота к мирским идеалам, произошел важный богословский спор — как раз о социальной роли Церкви. В споре противостояли друг другу «стяжатели» и «нестяжатели», две монашеских и церковных группы, однако преданные идее важности христианской миссии по отношению к обществу, но стоявшие за различные формы христианской деятельности и свидетельства. «Стяжатели», возглавлявшиеся преп. Иосифом Волоцким (1440-1515), явились убежденными защитниками идеалов византийского теократического общества: они защищали право Церкви, и особенно монастырей, владеть большим богатством, которое предназначалось для социальной деятельности: больниц, школ и других форм общественного благосостояния. Общественное служение Церкви понималось ими как сущность самой природы христианства. Они не боялись духовной уязвимости богатой Церкви. Они верили в будущее «святой Руси», в благонамеренность московских царей, в возможность обеспечить свободное развитие Церкви, независимой от государственной опеки и насилия и способной использовать свои богатства лишь на благие дела.

Преп. Иосифу и его ученикам противостояли «нестяжатели», считавшие, что богатство развращает неизбежно, и в особенности та форма богатства, которая была в распоряжении средневековых монастырей — с тысячами крепостных, работавших в их огромных владениях. Они понимали миссию Церкви прежде всего как пророческое свидетельство о грядущем Царстве Божием. Преп. Нил Сорский (1433-1508), глава нестяжателей, унаследовал идеалы исихазма, — мистического и созерцательного монашества ранней Церкви. Он не полагался, как его противники, на будущее

«святой Руси» и, предвидя ее обмирщение, отстаивал независимость Церкви от государства.

Спор закончился фактической победой стяжателей. Но нестяжатели в значительной степени были оправданы дальнейшим ходом истории. В эпоху Просвещения Петр I и Екатерина II лишили Русскую Церковь ее земельных владений, а лишившись земель, Церковь также лишилась и средств для выполнения того общественного служения, о котором мечтал преп. Иосиф Волоцкий. Между тем, духовные наследники Нила Сорского — св. Тихон Задонский (1724-1783), преп. Серафим Саровский (1759-1833), оптинские старцы — стали самыми подлинными свидетелями христианского опыта в среде мирского общества, и именно их последователям удастся перекинуть мосты между традиционным православием и религиозным возрождением интеллигенции в конце XIX — начале XX веков.

Два прошедших столетия свидетельствуют об огромных исторических изменениях в жизни православной Церкви: Османская империя распалась, и в результате этого распада родились новые нации, чье религиозное прошлое коренится в православии. Православная Россия, после некоторых очень обнадеживающих признаков духовного возрождения, стала Советским Союзом. Миллионы православных христиан были рассеяны по всему западному миру, где общие рамки отношений при решении «социальных проблем» определяются западной религиозной историей.

И неизбежно традиционные православные ценности подверглись суровому испытанию. Новые нации на Балканах, всецело обязанные Православию в сохранении их духовной культуры в течение турецкого ига, добились своей политической независимости в атмосфере секуляризованного романтизма, плода не Православной Византии, а Французской революции. Не христианские эсхатологические и христологические идеи, а сама по себе **нация** стала рассматриваться как высшая цель социальной деятельности. Церковь оказалась неспособной ни овладеть ситуацией, ни увидеть духовный смысл и опасность секуляризованного национализма. Иерархи, в традиционной роли этнархов, выдвинулись поначалу на передовую линию борьбы за народную свободу, но вскоре заняли удобную позицию послушных чиновников в государствах, возглавляемых секуляризованными политиками. Ошибочно приняв новую ситуацию за возвращение к византийской теократии, они отождествили интересы Церкви с интересами мирского национализма. Церковь осудила это отождествление в офи-

циальном соборном постановлении (1872), заклеив его как «ересь филетизма», но соблазн религиозного национализма остается одной из самых основных слабостей современного православия. Фактически, он представляет собою капитуляцию перед тонкой формой секуляризма, которого Византия, с ее вселенской идеей империи, всегда избегала.

Вопрос о роли Церкви в служении обществу часто ставился в Православии за последние десятилетия.

Между двумя мировыми войнами, а также после Второй мировой войны, замечательное оживление христианского социального активизма имело место в Греции. Это движение, включающее и знаменитое братство «Зои», достигло значительных результатов в области евангелизации масс, хотя пиетистические и несколько протестантствующие наклонности «Зои» вызвали сопротивление более традиционных православных кругов.

В России основные сдвиги произошли в кругах интеллигенции. В последние предреволюционные десятилетия Церковь привлекла в свои ряды видных политэкономов, бывших марксистов. Целая плеяда религиозных философов, включая С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, П. Б. Струве и других, начала оказывать влияние на самую Церковь, и некоторые из них незадолго до революции играли важную роль в церковных делах. Хотя некоторые из них под влиянием оптимистического гегельянства и приняли монистическую и статическую философию мироздания, обычно именуемую «софиологией» (не так уже далекую от западных систем Тиллиха и Тэйяра), русское движение «от марксизма к идеализму» — значительное событие в истории православной мысли начала века.

Что же вновь привлекло этих людей к православию? Прежде всего, — присущие ему эсхатологическое ожидание преображенного мира, вера в «обожение» как в конечное предназначение человека; способность в литургической жизни и духовном опыте святых предвосхищать видение Второго Пришествия; утверждение «осуществляющейся», а не только «футуристической» эсхатологии; представление о Царствии Божием не только как об общем представлении или практическом достижении, но как о реальном видении Божественного Присутствия в мире. Таковы аспекты православного Предания, особенно важные не только для интеллигентов, разочарованных в марксистском тоталитарном социализме, но и для тех из нас, чей удел — свидетельствовать о православии на Западе.

Заключение

Христианскую веру нельзя оценивать лишь в пределах общественных «успехов» и «неудач». В Новом Завете не дается обещаний земного успеха последователям Иисуса. И, конечно, так это и должно быть, потому что истинная власть Христа будет явлена миру только в **последний день**, тогда как существующая и ныне сила Царства вполне открывается лишь очам веры. История православной Церкви не может поэтому быть историей ее успехов как земного общества, потому что все вообще христианские «удачи» делаются очевидными только очам веры.

Однако предварительное заключение на общедоступном и активном уровне все же возможно. Оно состоит в том, что христианское решение социальных проблем никогда не может быть ни абсолютным, ни совершенным, пока не пришел Последний День, и что христианин считает это несовершенство нормальным (хотя и не примиряется с ним), так как он знает, что Парусия в конце концов наступит. В отличие от революционных утопистов всех времен, христиане умеют жить в мире несовершенном, хотя всегда стремятся это несовершенство, хотя бы отчасти, преодолеть. Православная Церковь осудила эсхатологию ухода от мира, которая оправдывала бы безразличие и бездеятельность. Но — и это особенно важно — она никогда не согласится признать, что Царство Божие, являемое в Церкви как тайна, как ожидаемая эсхатологическая реальность, находится в зависимости от того влияния, которое члены Церкви могут оказывать или не оказывать на мирское общество. Она также всегда будет утверждать, что исходная точка, источник и критерий решения социальных проблем — в непрерывном, таинственном и в каком-то смысле трансцендентном общении евхаристического собрания.

В ходе истории христиане часто соблазнялись подменой этого исходного и основного критерия мирскими ценностями: империя представляла собою такой соблазн, национализм является в настоящее время другим и весьма очевидным соблазном. Но все это — исторические и духовные ошибки, и Церковь в конце концов их признает именно за ошибки и возвращается к «единому на потребу», без которого никакие достижения общества и культуры не имеют цены.

ИДЕАЛ СОБОРНОСТИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

I

Как заметил еще Хомяков, две цели — неразрывно связанные и взаимно противоборствующие — определяют духовные искания современного человечества: это, с одной стороны, воля к единству и, с другой, — стремление к максимальному развитию или раскрытию личности.

Представление человека о себе самом лежит в основе всякого человеческого идеала: открывая себя, человек тем самым и формирует себя, самосознанием в значительной степени определяется и его поведение. В этом представлении человека о себе самом и своих ближних концентрируется весь жизненный опыт, кристаллизуются все таинственные движения воли, все падения и взлеты, откровения и отречения, заблуждения и прозрения, наследственность и воспитание, капризы судьбы и Божий Промысел, влияние среды и личное дерзновение. Человек сам для себя таинственный иероглиф, реальность бесконечно многогранная и бездонно глубокая. Господствующее представление о человеке определяет лицо эпох.

«Микрокосм» средневековья, творец и художник Ренессанса, искатель бесконечного в «фаустовской культуре», «общественное животное» марксизма, ницшевская «ступенька к сверхчеловеку», фрейдовский клубок психических импульсов, «Божественный атом» оккультистов, шарденовский «вихрь в ноосфере», индийский «луч Атмана» — любая концепция человека ставит его в центр системы ценностей, делает узлом силовых линий, главной вехой жизненной ориентации.

На переломе эпохи неизбежно выдвигается на первый план то, что Шпенглер назвал бы творением нового «мифа», Сартр — «изобретением», а мы назовем — новым открытием человека. Ибо простая добросовестность требует признать, что после многих исканий человек сам для себя — по-прежнему загадка сфинкса, неоткрытый мир, неизведанная земля.

Сейчас в центре всеобщего внимания — проблема гуманизации общества. Но не сводятся ли предлагаемые решения — к тому или иному представлению о природе человека и, в связи с этим, о природе человеческого единства?

Что такое человек, что связывает людей между собой, что, в конечном счете, человеку нужно — только решение этих вопросов позволяет нам избрать направление нашей воли в созидании исторических реальностей, позволяет сделать сознательный выбор жизненной цели, придает конкретное содержание общегуманистическим идеям. Но всякая грубая ошибка в концепции человека приводит к неизбежному крушению всей системы ценностей, ибо рано или поздно выясняется, что реальный человек выдвинутому идеалу совсем не соответствует. Это уже произошло с идеалом коммунизма везде, где он начал осуществляться, еще раньше это произошло с христианизированными идеалами средневековья, признаки агонии являет гуманистический идеал Возрождения.

Что же идет на смену?

Какие обломки пригодны для будущего строительства?

Устоял ли евангельский фундамент?

Один из авторов сборника «Из-под глыб» (А. Б.) оптимистически утверждает:

«Несмотря на все заблуждения и отречения, мы живем в христианской культуре, в христианской эпохе и именно христианство — то бродильное начало, те «дрожжи мира», на которых взошла и будет всходить, как тесто в квашне, история».

Все так. Но в то же время было бы непростительной ошибкой думать, что после пережитого крушения христианского мира достаточно просто вернуться к прежним идеалам. История не повторяется; претерпев тяжелое поражение, мы лишь в том случае обретем новую надежду, если в самом христианстве откроем новую глубину, новое измерение, скрытые потенции, которые не были реализованы в прошедшую эпоху.

«И того, кто покоренный, под пятой победителя, — говорит Экзюпери в своих дневниках, — найдет в себе силы для преобразования, я считаю достигшим большей победы, чем того, кто смакует свою вчерашнюю победу, как осевший собственник, питающийся накоплениями и поэтому уже приближающийся к смерти».

2

Средневековое представление о человеке кажется сейчас весьма наивным: впрочем, оно и по сию пору широко распространено в бытовом сознании.

«В человеке мы можем установить, — утверждал Фома Аквинат, — наличие четырех вещей: его разума, делающего его подобным ангелам; сил чувствующей души, делающих его подобным животным; его природных сил, делающих его подобным растениям; и его тела, в котором он подобен неодушевленным предметам. Разум в человеке занимает место хозяина или господина...» (Сумма теологии, I, Вопр. 96).

Граница между «ангелом» и «зверем», разделившая «разум» и «чувства» (перекликаясь еще с античным противопоставлением логоса и хаоса) прежде всего унижает эмоциональный мир человека, усматривая в нем по преимуществу животное начало. Такое принижение вызвано, конечно, требованиями средневекового аскетического идеала, стремящегося всячески умалить достоинство душевно-телесной, в особенности половой жизни — этого корня эмоционального мира. Восточно-православные аскеты были, по крайней мере, более последовательны, отстраняя **всю** сферу пораженной грехом естественно-природной жизни, включая в нее и человеческий рассудок. То, что они в известном смысле были правы, показывают современные наблюдения над миром животных, колеблющие претензию человека быть единственным обладателем разума в природе. Сейчас мы спрашиваем — чем отличается разум человека от разума животных — но это уже совсем другой вопрос!

Не удивительно, что «ангел», столь «скромно» представленный в человеке, был, в конечном счете, отставлен в сторону, а хрупкая перегородка, отделявшая в средневековом сознании человека от животного, сломалась при первом же серьезном натиске.

Самый сокрушительный удар нанес Дарвин.

Невольно выступив в роли нового «змея-искусителя», этот кропотливый, но бескрылый собиратель «фактов» сказал человеку: ты — не сын Божий, ты — животное, прямой потомок обезьяны; что же касается разума, то почему бы одному из видов животных не стать разумнее других, если разум дает преимущества в «борьбе за существование» и «половом отборе»?

Будем откровенны — от этого удара мы, христиане, не можем прийти в себя до сих пор! Теория эволюции застала нас врасплох, и мы лишь обороняемся, лишь заделываем — с большим или меньшим успехом — дыры в нашем мирозерцании, и с вопросом о происхождении человека дело обстоит хуже всего.

И не сами ли наши схоласты подготовили почву для Дарвина, лишив человека его царственного достоинства, «урезав» его на уровне интеллекта? Неужели в человеке нет ничего выше и глубже естественного разума, ничего, что утвердило бы его онтологически за пределами природы? Не потому ли рухнул средневековый антропоцентризм, что это был антропоцентризм слишком робкий, слишком непоследовательный?

После Дарвина в науке уже не обсуждался вопрос — животное ли человек, но лишь — какое именно он животное? Маркс настаивал, что человек — животное социальное, которому «прежде всего» надо есть и пить и для этого заниматься производством (прочее — «надстройка»); Фрейд доказывал, что человек, напротив, есть «прежде всего» животное пансексуальное (прочее — «надстройка»).

Ницше, эстет Ницше призывал «превзойти» человека. И что же это значило? Да всего лишь вывести новую породу, новую «расу»: «что человек в отношении обезьяны, то сверхчеловек в отношении человека!» Неистовый проповедник свободы духа оказался всего лишь проводником материалистических настроений своей эпохи, подголоском дарвиновского эмпиризма. «Ты — тело, только тело и ничего, кроме тела», — так отчеканил Ницше «революцию» в человеческом самосознании, — и мы до сих пор пожинаем горькие плоды этой революции.

Уже в нашем веке Веркор, поставивший в своей нашумевшей книге вопрос «Люди или животные?» — так и не смог найти критерий, позволяющий провести эту границу для существ «промежуточного типа», какими представлялись тогда австралийские аборигены. В силу предполагаемой непрерывности перехода от животного к человеку, граница эта становилась условной, размытой, не имеющей никакого онтологического основания. Конечно, душа человека всеми силами протестует против такого смешения, но удалось ли найти убедительную альтернативу дар-

* Отождествление духа и личного начала с интеллектом дошло до нашего времени. Так, Людвиг Клагес в своей книге «Дух как противник души», 1930 — призывает в духе языческой немецкой мистики вернуться от власти духа-рассудка к доличному, к первоисточкам, «в ночь смерти».

Однако новая католическая мысль, возрождая традицию св. Бонавентуры, преодолевает это отождествление. Дух и сердце человека, утверждает Романо Гвардини, находятся по ту сторону противоречия рационального и иррационального.

виновской концепции человека как высшего звена в эволюции животного мира?

Представление о человеке всегда порождало соответствующий идеал человеческих отношений, человеческого единства.

Века христианства неизгладимо врезали в сердца людей убеждение, что любовь — это высшее, к чему призван человек.

Поколение за поколением вслушивались в слова апостола Павла, звучавшие с церковного амвона:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело на сожжение, а любви не имею: нет мне в том никакой пользы» (I Кор. 13, 1-3).

Вслушивались — и не исполняли, ибо всем было ясно, что условием осуществления любви служит полное отречение от мира, не только духовное, но и видимое, внешнее.

Только в монастырях иногда возрождалась древнехристианская традиция «агапэ» — братской любви, когда «у множества... уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения не называл своим, но все у них было общее» (Деян., 4, 32).

Но и в монастырях это было редким исключением. «Всех любви, от всех беги», — учил основатель монашества Антоний Великий. В монашеском же общежитии господствовал дух трезвой и суровой дисциплины.

К сдержанности вынуждал горький опыт. Все попытки чрезмерного сближения вызывали к жизни низменные страсти, а при сохранении аскетической установки — гордыню, жестокость, нетерпимость.

Нравственный провал монтанистов и донатистов, бесплодно пытавшихся возродить древнехристианское братство; бесчеловечность гностиков с их кастой «пневматиков» или «духовных», которым «все позволено»; повторение того же у катаров, альбигойцев, анабаптистов, «левых» таборитов — все это не создавало особых иллюзий насчет способности человека к осуществлению заповеди взаимной любви.

И все же заповедь жила, жила как мечта, как идеал, как устремление, и что-то самое глубокое в душе человека неизмен-

но откликалось на этот призыв: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога...» (I Иоан., 4, 7).

Разительное несоответствие идеала и реальности порождало трагизм мироощущения средневекового человека. Этот трагизм коренился в чувстве глубины, многоплановости человеческой души, в созерцании ее иерархического строя, постоянно нарушаемого грехом. Теперь, по прошествии веков, можно упрекнуть средневековые в том, что это чувство глубины было все еще недостаточным, в том, что готический собор духа слишком стремительно рвался прочь от земли, казавшейся неисправимо греховной. Но без этой жажды Богоподобия, без этой достигнутой высоты, без этой накопленной энергии невозможен был и человек Возрождения. Нельзя было овладеть землей, не освободившись прежде от ее чар... Освободились ли?

Не так уж много времени понадобилось человеку, чтобы снова забыть о своем Богоподобии, потерять набранную высоту, растратить духовную силу. Трагизм был «преодолен» — низведя человека на уровень «сына Земли», сплюснув его в плоскость «разумного животного», пантеисты разом решили все мучительные проблемы!

Фейербах в роли учителя любви!

Что может быть проще — все люди имеют одинаковую природу, и, любя ближнего, мы любим в нем Человека как такового, любим его как члена единого человеческого рода, коллективного целого, к которому мы принадлежим. И только!

«Здоровому индивидуализму» также было уделено должное место. Русский двойник Фейербаха — Чернышевский учит «разумному эгоизму». Любить ближнего — «выгодно, целесообразно, разумно».

Займствованный у христианства пафос любви через Фейербаха и Чернышевского заразил немецких и русских социалистов, придав их конспиративным сходкам черты, напоминающие древнехристианские катакомбы. «Человек произошел от обезьяны, и потому положим души свои за други своя», — иронизировал В. Соловьев над революционерами конца XIX века.

Но недолго сохранялся украденный пафос. Совместно пролитая кровь быстро превратила рыцарский орден — в уголовную мафию, а трезвые дельцы от революции потребили самоотверженный порыв, сублимировав его в «мерную поступь железных батальонов пролетариата»...

Именно там, где началась мировая катастрофа, были приложены и наиболее творческие, созидательные силы духа, не успевшие принести зримых плодов, но подготовившие почву для грядущего возрождения.

В числе важнейших неисполненных заветов русской религиозной мысли находим выдвинутый еще славянофилами идеал «соборности», так и не успевший сформироваться до той насыщенной энергиями отчетливости, которая необходима для воплощения в жизнь любого идеала.

Замысел славянофилов прост и смел до безумия: здесь, на земле, осуществить всеобщее Христово братство; здесь, на земле, построить жизнь, подобную жизни небесной; здесь, на земле, преобразить мир в красоте и свободе Святого Духа. Не выдерживающий никакой разумной критики, чреватый страшными срывами, этот замысел преисполнен библейского величия, вдохновлен истинной любовью и доверием к Творцу. Среди серых будней грешного человека, сквозь тепловатую бытовую религиозность, мимо профессорской учености и пастырской елейности — проносится дуновение подлинной веры и святости. Уже не риторическим поучением, но огненным пророчеством воспринимаются столь знакомые слова преп. Сергия: «взирая на единство Святой Троицы, побеждать ненавистное разделение мира сего». Разве это не отклик на евангельский призыв, перед которым изнемогает дух человеческий: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный»?

«Прежняя ошибка, — утверждал Хомяков, — уже невозможна, человек не может уже понимать вечную истину первобытного христианства иначе, как во всей ее полноте, т. е. в тождестве единства и свободы, проявляемых в законе духовной любви. Такowo Православие. Всякое другое понятие о христианстве отныне сделалось невозможным...»

Рассмотрим одну из наиболее поздних формулировок славянофильской идеи соборности.

На Поместном Соборе Русской Церкви 1917-18 гг. в оставшейся нерассмотренной, но глубоко содержательной статье-речи А. В. Васильева («Патриаршество и соборность») идея соборности и возводится, в духе преп. Сергия, к тринитарному догмату:

«Православно понимаемая соборность... объединяет в себе совет и священноначалие. Прообраз соборности Троиный Бог

(выделено А. В. Васильевым); при равночестности Божественных Лиц в Нем есть и священноначалие. От Единого источного Начала — Отца рождается Слово — Сын и исходит Дух Святой... И весь мир, и все населяющие его Богозданные твари носят в себе, в меру большего или меньшего их совершенства, образ и подобие своего творца... Человек в его отдельности еще не венец Божественного творчества...» (Деяния Собора, Приложение 3 к деян. 31, М., 1918).

Здесь в осторожной форме высказывается антропологический тезис исключительной новизны и важности. Неоднократно предпринимались попытки увидеть в человеке непосредственный образ Святой Троицы — в соответствии с абсолютным своеобразием каждого из Божественных Лиц, коих постигает церковный опыт и догматическое предание. Однако до сих пор предполагалось найти полноту этого образа в одном отдельно взятом человеке. Так, бл. Августин видел отображение трех Божественных Лиц — Отца, Сына и Св. Духа в трех началах человеческой души: в ее бытии, в ее разумности и в ее воле. Иногда вместо «бытия» называют чувство, непосредственное переживание. Очевидный недостаток подобных концепций — в том, что **личные** начала Св. Троицы ставятся в соответствие **безличным** началам человеческой души, сама же человеческая личность, носительница бытия, разума и воли, оказывается как бы лишенной образа. Формулировка славянофильских идей Васильевым наводит на мысль, что совершенным образом Св. Троицы является не отдельный человек, но всечеловеческий собор, связанный, как и Лица Св. Троицы, онтологическим единством и взаимной любовью.

«Православное понимание соборности — продолжает Васильев, — содержит в себе понятие **вселенскости**, но оно — глубже, указывает на внутреннюю собранность, цельность, как в отдельном человеке его душевных сил: воли, разума и чувства, так и в отдельном обществе и народе — на согласованность составляющих его организмов — членов... Как отдельный человек, так и целый народ — целен, здоров, когда между его частями и членами, между управляющими и управляемыми господствуют мир и взаимное благоволение и доверие, достигаемые готовностью к самоограничению и самопожертвованию» (там же).

Соборность понимается здесь по образу единства органического, наилучшим выражением которого является человеческое тело. Сравнение человеческой общности с телом или организмом не ново: его использует известная древняя притча в связи с идеей

государства. Апостол Павел подробно развивает учение о Церкви как о едином теле, главой которого является Христос. Но вот в чем решающая трудность: каждый член или клетка этого тела есть самосушая человеческая личность — и здесь органические сравнения себя исчерпывают.

Коренной недостаток славянофильского идеала соборности — в ошибочном понимании человеческой **личности** лишь как **лица**, как своеобразной индивидуальности, как части по отношению к целому, как одного из аспектов целого.

Понятие соборности возводится к Собору Лиц Святой Троицы, которые, действительно, хотя и равночестны, но не равны, не одинаковы — их свойства, ипостасные качества абсолютно различны. Но нельзя упускать из виду то, что является общим для всех Лиц Св. Троицы — именно то, что Каждое из Них есть прежде всего Личность, Божественное Я («Аз»): «Аз есмь Бог твой», — может сказать Отец, может сказать Сын и может сказать Дух Святой.

Также и каждый член Церкви есть прежде всего личность, тварное «Я», и в этом — общее всем членам Церкви, независимо от их индивидуальных свойств и выполняемых в церковном соборе служений. Ни атом, ни клетка, ни орган тела — хотя они и могут нести в себе индивидуальные начала или «модусы», не являются личностями, не имеют собственного «я» как своей онтологической первоосновы.

Нелепо звучало бы утверждение, что какое-либо из Божественных Лиц есть «часть» Тройческого Собора. Столь же недопустимо утверждение, что отдельный член Церкви, отдельная личность — есть «часть» Собора Церковного.

И любовь церковная, невозможная без признания онтологии личности, есть нечто большее, чем «пожертвование своим частным правом, если это необходимо, для пользы других, для общего мира, для пользы целого» (там же).

Такое понимание соборности сводится, в конечном счете, к добровольному и смиренному подчинению каждого индивидуума — **закону**, понимаемому как норма существования целого, как благо целого, необходимое для блага отдельных частей. Подлинная же любовь церковная добивается того, чтобы **свободное хотение** каждой личности, исходящее из ее собственной глубины, оказывалось в гармоническом согласии с волей других личностей, образующих Собор.

Соответственно и свобода лица, входящего в Собор, в пер-

вом случае воспринимается как осуществление частного права, во втором — как проявление онтологического достоинства личности.

В первом случае единодушие Собора, следование общей истине, осуществляется через самопринуждение каждого члена к отсечению тех индивидуальных стремлений, которые не соответствуют здоровью и благу всего Собора в целом; во втором случае общая жизнь в любви-истине осуществляется через свободное, никаким законом не понуждаемое следование каждого лица, входящего в целостный лик Собора, — действующему в каждом члене Духу Святому, с Которым собственная воля личности оказывается в тончайшем согласии.

Очевидно, что оба рассматриваемых аспекта соборности выражают общее соотношение «закона и благодати»: добровольное подчинение закону есть предварительное условие освобождения и очищения личности, «детоводительство» к подлинной соборности, воспитание способности каждой личности быть свободной, не впадая в грех, ибо грех есть «преодоление» закона не к свободе, а к рабству.

Если же этот предварительный этап — подчинение закону — рассматривается как конечная цель, то тем самым закрывается путь к высшей церковной жизни в Св. Духе, которая только и есть истинная соборность; более того, возникает соблазн осуществления «соборности» уже не путем **добровольного** взаимного «покорствования», а путем прямого духовного насилия целого над индивидуальным, общего над частным, власти — над подвластными.

И тогда возникает опасность духовной смерти соборного организма при сохранении его внешних (впрочем, неизбежно искаженных) форм, т. е. превращения организма — в механизм, собора — в коллектив, гармонии иерархического и общественно-го начал — в «демократический централизм» по-большевистски.

Пережитый Россией трагический опыт коммунистической лжесоборности, при которой личность неизменно приносилась в жертву интересам коллектива, интересам целого, — заставляет сделать жизненный вывод глубочайшей важности: отдельный человек есть такая же ценность, как и все общество в целом, личность не есть **часть** чего-либо, она **равна** целому.

И если до этого опыта можно было утверждать, что «в соборности находит себе признание и утверждение личность с присущими ей особенностями, ставящими ее в определенное со-

отношение к другим личностям и к целому, которого они являются частями» (Васильев, там же), то в наши дни такое понимание личности уже вызывает непосредственный нравственный протест.

В. Борисов в статье «Национальное возрождение и нация-личность» (сборник «Из-под глыб») с предельной определенностью формулирует новый взгляд на соотношение личности и общности: «В противоположность индивиду личность — не часть какого-либо целого, она заключает целое в себе. Личность не дробит единой природы, но содержит в себе всю ее полноту... Человечество не есть простая совокупность его частей, но определенная иерархия, каждая ступень которой, обладая личностным характером, обладает той же полнотой, что и целое».

Как ни парадоксально, эта истина косвенным образом подтверждается даже опытом коммунистической идеократии, ибо зло способно лишь исказить строй бытия, но не может создавать или отменять онтологические реальности. Так, идеократическое общество, в котором угашено сознание личного достоинства каждого, с роковой неизбежностью становится жертвой и орудием **одной личности**, стремящейся навязать по возможности большему числу людей **свою волю**, стать объектом по возможности более широкого почитания и преклонения. Здесь, таким образом, личность — не каждая, а лишь одна — также оказывается в известном смысле равной обществу в целом: она и не больше этого целого, ибо сама по себе, без насыщения энергиями идолопоклонства, она пуста и бессодержательна, в мыслимом пределе она есть пустое место, духовное ничтожество — **ничто**. Тоталитарный опыт нашей эпохи не есть лишь демонстрация победы коллективизма над индивидуализмом, он в такой же степени есть демонстрация торжества индивидуализма над коллективизмом, ибо в идеократическом обществе коллективное целое есть также **ничто** по отношению к личности вождя. Не случайно две формы идеократии, выросшие из диаметрально противоположных предпосылок: ницшеанского индивидуализма и марксистского коммунизма — оказались столь разительно сходными между собой в реальном воплощении.

4

Что же такое личность?

Как выясняется при ближайшем рассмотрении, в это фундаментальное для антропологии понятие разными авторами вкладывается существенно разное содержание.

В. Борисов, следуя Достоевскому, настаивает на применимости понятия «личность» не только к человеку, но и к нации и, в конечном счете, ко всему человечеству, утверждая, что это не подрывает «абсолютного значения индивидуальных личностей», соборно включенных в один из этих внутренне целостных «уровней в иерархии христианского космоса».

В своем анализе Борисов опирается на святоотеческое понятие «ипостась», которое он считает равнозначным с терминами «лицо» и «личность». Это отождествление устраняет ряд недоумений по поводу таких выражений, как «нация есть личность». Действительно, нет оснований возражать против утверждения, что «нация имеет лицо», или даже против такого словоупотребления, как «ипостась нации». Но если догматический термин «ипостась» действительно сближается с понятием «лицо», то этого нельзя сказать о термине «личность».

Вот важнейший аргумент, опирающийся на церковное переживание Св. Троицы: мы можем сказать, что Св. Троица есть Личность (мы обращаемся к Св. Троице со словом «Ты», и Св. Троица обращается к нам со словом «Я»), но недопустимо говорить об «ипостаси» или «лице» Св. Троицы.

Ипостась (по наиболее разработанному определению, принадлежащему Аквинату) есть конкретное существование Божественной природы или сущности, причем в Боге это конкретное существование в Трех Лицах действительно не дробит единую природу, что подчеркивается догматическим определением о «единосущии» Лиц Св. Троицы. В применении к человеку Аквинат определяет ипостась как «индивидуальную субстанцию разумной природы», причем различие субстанции и природы выражает характерное для томизма различие между существованием и сущностью.

Согласимся мы или нет с этими определениями, можно утверждать, что этот круг идей не отвечает на основные вопросы, связанные с понятием личности.

Вл. Лосский, уделивший идее личности центральное место в своем богословии, в конце своего пути приходит к пессимистическому выводу:

«...Уровень, на котором ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень онтологии, как ее обычно понимают. И если речь идет о некоей метаонтологии, один только Бог может знать ее, Тот Бог, Которого повествование Книги Бытия являет нам приостанавливающимся в Своем творчестве, чтобы

сказать в Совете Трех Ипостасей: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» («Богословское понятие человеческой личности, 1967, Богосл. труды, сб. 14).

Здесь становится неизбежным небольшое отступление о природе догматического творчества.

Тот факт, что в святоотеческом богословии по существу отсутствует понятие «личность», может вызвать смущение: если св. Отцы, опиравшиеся на глубокий опыт Богообщения, не считали нужным такое понятие вводить, то не будет ли означать такая попытка с нашей стороны — претензию знать о Боге больше, чем св. Отцы? Отвергая возможное обвинение в такой претензии, мы, в то же время, не можем разделить выводы Люсского, намекающего на необходимость для догматического творчества новых исключительных откровений.

Знание о Боге, которое имели св. Отцы, которое хранится в церковном предании во всем его объеме, которое сообщается единичной душе при всяком подлинном соприкосновении с Богом, отнюдь не исчерпывается догматическими определениями и учением св. Отцов. Знание это носит целостный, сверхразумный характер и, вообще говоря, догматическое творчество этого знания углубить не может. Апостолы, не знавшие термина «единосущный», безусловно знали Св. Троицу не менее глубоко, чем св. Отцы, построившие на понятии единосущия все тринитарное богословие.

Положительное значение догматического творчества состоит не в том, чтобы оправдать веру перед разумом или возвысить веру до уровня разума; напротив, значение догмата в том, чтобы оправдать разум перед верой, возвысить разум до уровня религиозного опыта. К этой встрече с религиозным опытом разум приходит не пустым, но с определенным, исторически сформировавшимся содержанием, именно это содержание подлежит духовному очищению и преображению.

В святоотеческую эпоху таким содержанием разума была по преимуществу античная философия в ее высших достижениях. В результате многовекового усилия разум, возведенный на высоту православного догмата, доказал свою состоятельность перед лицом живого религиозного опыта; высшее содержание разума, почерпнутое из погружения в мировые реальности, оказалось «сообразным» Богу — возможность существования догматов стала одним из самых убедительных доказательств того, что мир,

включая человеческий разум, сотворен по образу и подобию Бога.

Современный христианин, переживая опыт Богообщения, встречается с Тем же Богом, Которого знали апостолы и святые, и в глубине своего сердца познает Его в той целостности, которая почти недоступна восприятию нашего раздробленного грехом естества. То содержание души, которое встречается теперь с Богом, уже существенно иное, ибо поток истории унес человека далеко от тех рубежей, на которых он находился полтора тысячелетия тому назад. Но по-прежнему, как и во времена Отцов, содержание это подлежит испытанию и преобразению благодатной силой Богообщения.

Нет, таким образом, ничего удивительного в том, что не только новые жизненные реальности, но и выражающие их новые понятия должны пройти проверку и очищение религиозным опытом, и если эта встреча двух опытов удастся, то в результате наша связь с бытием углубится или даже обретет новое измерение.

5

Идея личности есть, по существу, открытие новейшего времени — своего рода итог и квинт-эссенция нового гуманистического сознания. Овладевая материальным миром, раскрывая свою творческую мощь художника и ученого, человек одновременно проделал немалый путь в глубину самого себя. Внутренний мир человека оказался не одномерным, но объемным — углубление шло сразу в нескольких различных направлениях; но нас сейчас интересует в первую очередь углубление метафизическое, духовное, открытие человеком самого себя как личности.

Это открытие оказалось прежде всего очень опасным — прикосновение к тайне личности иногда придавало первооткрывателям черты почти демонические: таковы Байрон и Лермонтов, среди философов — Штирнер.

Как мыслитель, Штирнер представляется на голову выше своего окружения; метафизическая глубина, в которую он заглянул, оказалась просто недоступна пониманию его учителей и друзей — Фейербаха, Бауэра или Маркса.

Что же увидел Штирнер?

Человеческую ЛИЧНОСТЬ — и открытие потрясло его.

Нет, не «индивидуум» социологии, не «персона» юриспруденции, не «субъект» гносеологии — это было что-то иное, мисти-

ческое, бездонно-глубокое, единственно значительное, единственно реальное в мире.

Я — который **обладаю** разумом; Я — который **обладаю** нравственностью; Я — который **обладаю** религией; Я — который **обладаю** всей своей человеческой природой; Я — который **обладаю** другими людьми.

Это было поистине великим открытием. Личность была пережита Штирнером как нечто находящееся за пределами всякого проявленного бытия, как нечто трансцендентное всякому проявленному бытию, как своего рода «абсолют». Будучи «собственником» всего, что может быть выраженным, высказанным, созерцаемым, личность есть абсолютная монада, цельная и законченная в себе сущность, невыразимая, несообщимая, непостижимая, существующая лишь в себе и для себя, осознающая себя как единственную в мироздании. Будучи мыслителем последовательным и бесстрашным, Штирнер понял, что личность, так им переживаемая, хотя и обладает — стремится обладать — всем, сама по себе абсолютно бессодержательна, пуста. «Я построил свое дело на ничто», — заявил он с парадоксальной дерзостью.

Фейербах пытался было написать ответ Штирнеру, начав саркастически: «О, единственный и непостижимый...», но как-то осекся, почуял, видно, свою **несоизмеримость** с ним, свою **несостоятельность** перед ним, хватило ума и мужества промолчать.

Из современников только Хомяков почувствовал и выразил всю значимость штирнеровских идей, как абсолютных требований человеческой «духовной свободы».

«...Все будущие попытки, — писал Хомяков — вроде устаревшего Оуэнизма или нового социализма, будут неудачны и ничтожны по тем же причинам, по которым были неудачны или ничтожны их предшественницы. Приговор над ними совершается современной нам историей; произнесен же он несколько лет назад в книге нелепой по своей форме, отвратительной по своему нравственному характеру, но неумолимо-логичной: в книге Макса Штирнера «Единственный и его собственность». Эта книга, от которой с ужасом отступилась школа, породившая ее, о которой без глубокого негодования не может говорить ни один нравственный немец, имеет значение историческое, незамеченное критикой и, разумеется, еще менее известное самому автору, значение полнейшего и окончательного протеста духовной свободы против всяких уз, произвольных и налагаемых на нее извне. Это голос души, правда безнравственной, но безнравственной пото-

му, что ее лишили всякой нравственной основы... Современная история есть живой комментарий на Штирнера, фактический протест жизненной простоты против книжного умничанья, которое вздумало ее надувать призраками самодельных духовных начал, когда духовные начала, которыми она некогда действительно жила, уже не существуют».

Тема личности, как надысторического и надкосмического начала в человеке, с особой силой прозвучала в творчестве Бердяева, попытавшегося привить штирнеровскую интуицию к стволу христианской мысли.

«Бесконечный дух человека, — утверждает Бердяев, — претендует на абсолютный, сверхприродный антропоцентризм, он знает себя абсолютным центром не данной замкнутой планетной системы, а всего бытия, всех миров...» («Смысл творчества»).

Дерзким вызовом, который не может быть обойден, прозвучал протест Бердяева — во имя личности — против истории, материи, вообще против всякого объективированного бытия.

«Я принадлежу к тем людям, — говорит он, — которые взбунтовались против исторического процесса, потому что он убивает личность, не замечает личности и не для личности происходит. История должна кончиться, потому что в ее пределах неразрешима проблема личности...» («Самопознание»).

Идея Штирнера о личности как «собственнике» бытия приобретает у Бердяева более содержательный характер:

«Я переживаю не только трагический конфликт личности и истории, я переживаю также историю как мою личную судьбу. Я беру внутрь себя весь мир, все человечество, всю культуру. Вся мировая история произошла со мной, я микрокосм. Поэтому у меня есть двойное чувство истории, история мне чужда и враждебна и история есть **моя** история, история со мной...» (там же).

Удалось ли Бердяеву «христианизировать» идею личности?

Мы можем ответить на этот вопрос лишь отрицательно.

Штирнер оказался в нем сильнее Православия — вера в «трансцендентность» личности привела Бердяева к почти манихейской онтологии. «Активное ничто», «унgrund» оказалось у него самосушей реальностью рядом с Богом; отсюда — «трагедия в Абсолюте», нерешенность вопроса об окончательной победе добра, «антропологическое откровение» человека — Богу и т. д. («Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого»). Тем не менее, проповедь Бердяева оставила глубокий след в душах современников: для многих он остается самым ярким

представителем христианского персонализма. К сожалению, и ошибки его не менее популярны — сейчас, как и во все времена, человеческий рассудок, оторванный от корней бытия, проявляет неудержимую склонность к объяснению великой тайны творения, личности, свободы, существования зла — через признание «иного» начала, через онтологию «ничто»...

Подобно В. Лосскому, Бердяев приходит к утверждению абсолютного «апофатизма» личности, к отказу от каких-либо попыток философского постижения личности:

«Тайна личности невыразима... на языке отвлеченной метафизики. О личности не может быть построено никаких метафизических учений». («Философия свободного духа», ч. I).

Характерная картина — В. Лосский, богослов, который ни на шаг не хотел выйти за рамки святоотеческого богословия, и Бердяев — свободный мыслитель, исходящий из внутреннего опыта и данных мировой культуры — оба отказались от попытки выразить переживание личности на языке разума. Может быть, ни в том, ни в другом так и не произошло подлинной встречи знания о Боге и знания о Человеке? И только ли в этом корень неудачи?

Как у Лосского, так и у Бердяева (не говоря уже о Штирнере) личность остается, по существу, одинокой, изолированной от других личностей. Лосский, рассматривая «природу» человека как нечто «обладаемое» личностью, усматривает осуществление соборности в своего рода «обобществлении собственности»: в том, что многие личности, отказываясь от индивидуального обладания, начинают совместно «владеть» этой «обобществленной» природой, ставшей, таким образом, для каждой личности ее собственной природой — и в то же время, природой любой другой личности. Эта концепция своеобразного «онтологического коммунизма» совершенно неудовлетворительна, т. к. общность «имущества», как и во всяком «коммунизме», не устраняет глубокую внутреннюю изолированность личностей друг от друга. Отношение обладания может существовать лишь между личностью и некоторой **низшей** природой, своей же собственной природой или сущностью «обладать» нельзя, ибо личность тождественна своей сущности. «Быть личностью» — это значит просто «быть» — на высшем уровне бытия, доступного для творения. Преодоление же изолированности личности на том самом уровне бытия, на котором существуют сами эти личности, представляется Лосскому неким их «взаимопожиранием». Это гово-

рит о том, что реальный опыт личной любви к Богу или человеку не нашел выражения в антропологии Лосского. Непроизвольно произведенная им метафизическая подмена христианства коммунизмом имеет ту ценность, что вскрывает коренное различие этих двух религий: именно, если христианство есть религия любви, то коммунизм, напротив, есть «религия нелюбви», религия «обобществленного эгоизма».

Несмотря на глубину подхода к проблеме личности, В. Лосскому не удалось избежать общей неудачи, которая постигла почти всех мыслителей нашего времени, пытавшихся поставить в центр своего мировоззрения идею личности (*Persönlichkeit*) — эту «самую глубокую, богатую, всеобъемлющую мысль, на которую мы способны» (У. Э. Гоккинг, цит. по А. Хюбшеру, «Мыслители нашего времени», М., 1962). Оценивая положение вещей в этой области, В. Зеньковский утверждает: «Персонализм, надо сказать прямо, до сих пор удавался лишь на почве плюрализма, при котором отдельные человеческие личности отделяются одна от другой непродолимой метафизической стеной...» («Основы христианской философии», т. 2).

Первичный, фундаментальный опыт любви не нашел выражения также и у Бердяева, который утверждает: «окончательное преодоление одиночества происходит лишь в мистическом опыте, где все во мне и я во всем» («Я и мир объектов») — в своего рода слиянии личностей в единую мировую личность. — Но личность, которая онтологически одна, «одинокa» — с таким же успехом может мыслиться как начало безличное. Это и происходит в индийском учении об Атмане — Мировой Душе, которая может мыслиться как начало личное, сверхличное или безличное — само различие этих понятий теряет смысл. «Мы все начинаем с того, что бываем дуалистами в религии любви, — говорит Вивекананда, излагая «Бхакти-Йогу», или «Путь Любви». — Бог для нас отдельное существо, и себя мы чувствуем также отдельными существами... Мы начинаем с любви к себе, и ложная претензия нашего маленького «я» делает любовь эгоистичной. Но, наконец, наступает полное озарение светом, при котором это маленькое «я» становится видимым, как одно с Единым Бесконечным. Человек... осуществляет прекрасную и вдохновенную истину, — что любовь, любящий и любимый на самом деле — одно». (Перевод Я. К. Попова). Обещанный «восторг слияния» несколько охлаждается скептическим соображением онтологического характера: «Единый Бесконечный», не имея никого равного

себе, не может и любить всем своим существом, но наша душа предчувствует, что существование без любви, каким бы оно ни было универсальным — есть существование иллюзорное, призрачное. Томясь от такого призрачного бытия и не имея возможности достичь бытия подлинного — ибо он один и любить некого — такой «Единый Бесконечный» должен был бы иметь лишь одно определенное желание — сменить муку «полубытия» на покой полного уничтожения, если только оно возможно (идеи подобного рода действительно высказываются в «Упанишадах»). К такому «онтологическому мареву» приводит представление о «слиянии» личностей в единое целое...

6

Очевидно, что личность может осуществить себя, сделать реальным свое бытие, преодолеть свою самозамкнутость, лишь опираясь на то, что находится на одном уровне с ней — т. е. в отношении к другой личности. Но если личность «условно-трансцендентна» всему безличному, то каким-то иным образом, но более безусловно — она также «трансцендентна» другой личности. Вхождение в онтологическое отношение с другой личностью есть предельный акт тварного бытия.

Христос в Евангелии призывает нас именно к этому.

Обычно не замечают, что в Евангелии содержится не одна, но две существенно различных заповеди любви. Сравнение их позволяет понять самое важное в человеке.

«Люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19, 19) — напоминает Иисус заповедь Моисеева закона (Левит 19, 18) — и благочестивый юноша отвечает, что он уже исполнил эту заповедь наряду с другими. Хотя этого достаточно, чтобы иметь жизнь вечную, Иисус призывает юношу к тому, чего нет в заповедях: «Оставь все и следуй за Мной».

Какой смысл имеют слова: «любить ближнего, как самого себя»? Ведь если говорить о «себе» как о личности, то «любить себя» просто невозможно, как невозможно вытянуть самого себя за волосы — единичная монада сама на себя обратиться никаким образом не может. Когда говорится: «любить себя», то, по существу, имеется в виду: «любить свое» — т. е. все то, что может быть названо «моей собственностью» или «моим проявлением»: мое тело, моя душа, мои чувства, мысли, действия, желания. Про любую из этих реальностей мы можем сказать: «это — мое», но

говорим также: «это — я сам», выражая этим «неотчуждаемость» нашей «собственности». Если, говоря «любить себя», мы имеем в виду «любить свое», то в этом смысле мы можем «любить ближнего как самого себя» — т. е. любить все его качества или проявления — его тело и душу, как свои собственные. Эта заповедь не есть специфически евангельская, она имеет характер общечеловеческой и в той или иной форме содержится во всех мировых и национальных религиях: в исламе и буддизме, в конфуцианстве и даосизме, в индуизме, джайнизме, зороастризме, шинтоизме и др. И призывы Фейербаха, Вивекананды или Шардена к всечеловеческой любви не содержат в себе, по существу, ничего, кроме этой вечной заповеди. Конечно, исполнение ее — неотъемлемое дело, достойное тысячелетних усилий человечества, но неизбежно на каком-то уровне достижений наступает момент, когда воля к ее исполнению начинает таять как воск перед саркастической улыбкой какого-нибудь европейского, индийского или японского «Штирнера». Не потому что он — эгоист; потому что он — глубже...

Если бы Христос пришел только для того, чтобы напомнить людям об этой древней заповеди, Он и тогда стал бы одним из великих Учителей человечества. Но Он принес — другое, и потому Он — Единственный.

Лишь одну **новую заповедь** дал нам Иисус, и она снова — о любви: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так вы да любите друг друга» (Ин., 13, 34). Уже не «как самого себя», но «как Я» — и в этом вся ослепительная новизна. Христос призывает нас к любви личной, к той онтологической встрече, которая происходит на предельной глубине человеческого существа, там, где нет уже никаких проявлений, где уже ничто не может быть названо «мое», но лишь — «я сам». Нельзя сказать уже: «я отдаю свое», и даже: «я отдаю себя», ибо нет уже отдающего и отдаваемого. Это есть единственный акт, в котором личность осуществляет свое бытие как личности; вне любви личность не имеет никакой уверенности в том, что она существует, еще чаще — даже **никакого знания** о том, что она существует. Вне любви, определяя себя лишь по отношению к безличному, личность может постигать себя только апофатически, т. е. как нечто отличающееся от всего, что дано ей в опыте и может быть с чем-то сопоставлено, как-то названо. Вследствие этого мыслители, шедшие путем персонализма, с какой-то роковой неизбежностью приходили либо к манихейскому дуализму,

утверждая, что сущность личности есть «ничто»; либо к спиритуалистическому пантеизму, утверждая, что личность имеет нетварное происхождение, есть «искра» Божественной природы (Эуригена, Экхарт), отрицая тем самым реальность человеческого бытия, как онтологически отличающегося от бытия Божественного.

Если, таким образом, любовь есть единственный способ бытия личности, если природа и сущность личности есть любовь, то мы можем решиться дать новый ответ на древний вопрос: «Что есть Человек?»

Ответ этот будет гласить:

«Человек есть Любовь».

До сих пор это говорилось о Боге, но лишь теперь начинает проясняться, до какой степени человек Ему подобен...

7

Два мыслителя последнего времени в наибольшей степени приблизили нас к этому пониманию: о. Павел Флоренский, поставивший гуманистический опыт самопознания перед лицом восточно-православной духовной традиции, и Мартин Бубер, в сердце которого новоевропейская культура встретила с религией Моисея и пророков в ее хасидской интерпретации.

Флоренский пытается осмыслить идею и термин «личность», применяя это понятие к Св. Троице. Терминологически он еще только нащупывает почву, осторожно утверждая: «Выражаясь несколько неточно, скажу: Ипостась — абсолютная личность. Но, спрашивается: В чем же личность, как не в сущности? И еще: Разве дается сущность иначе как в личности? — Да, и все-таки... не одна ипостась, а **три**, хотя сущность — **конкретно** едина. И потому **нумерически**, числом — **один** Субъект Истины, а **не три**» (Подч. Флоренским. «Столп и утверждение истины», М., 1914, п. 2). Со всей силой Флоренский заново переживает сверхразумность (высшую разумность) христианского догмата, в котором имена «три» и «один» относятся к одному и тому же, что особенно ярко выражено в известном исповедании св. Афанасия: «Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой; не три Бога, но один Бог!». Фактически переживая и раскрывая Св. Троицу как абсолютную Личность, Флоренский все же не решается прямо назвать Троицу — Личностью, тогда как только это понятие может придать необходимую отчетливость произведенному им углублению в три-

нитарный догмат. Именно в том, что Св. Троица есть абсолютная Личность, и в то же время каждая из Ипостасей есть абсолютная Личность — раскрывается для разума первичная истина нашей веры: «Бог есть Любовь» (Ин. 4,8; 4,16), ибо Любовью и в Любви три Лица единосущны друг другу. Три есть одно: Личность Отец, Личность Сын, Личность Дух Святой; Личность Святая Троица!

Взаимная любовь Божественных Лиц служит для Флоренского первообразом любви человеческой, в которой две или «множество» личностей обретают «единосущие» — именно в этом он видит глубочайшее содержание церковной соборности. «Любовь, — утверждает Флоренский. — разумеется не в смысле субъективно-психологическом, а в смысле объективно-метафизическом... Метафизическая природа любви — в сверх-логическом преоборании голого самотождества Я=Я и в выхождении и з с е б я ... В силу этого выхождения Я делается в другом, в не-Я, этим не-Я, делается е д и н о - с у щ н ы м брату, — е д и н о - с у щ н ы м, а не только п о д о б н о - с у щ и м, каковое подобно-сущее и составляет м о р а л и з м... Безличное не-Я делается лицом д р у г и м Я, т. е. Ты. Но в этом-то «о б н и щ а н и и» или «и с т о щ а н и и» Я, этом «о п у с т о ш е н и и» или «к е н о з и с е» себя происходит обратное восстановление Я в свойственной ему норме бытия... Напротив, б е з уничтожения Я владело бы своею нормой лишь в потенции, но не в акте. Любовь и есть «да», говоримое Я самому себе; ненависть же — это «нет» себе. Непереводаемо, но выразительно эту идею Р. Гамерлинг отчеканивает в формуле: *das lebhafteste Sich-selbst-besahen des Seins* — живое себе-самому-да бытия... Подымаясь н а д границами своей природы, Я выходит из временно-пространственной ограниченности и входит в Вечность. Там весь процесс взаимоотношения любящих есть е д и н ы й акт, в котором синтезируется бесконечный ряд, бесконечная серия отдельных моментов любви. Этот единый, вечный и бесконечный акт есть е д и н о - с у щ и е любящих в Боге, при чем Я является о д н и м и т е м ж е с другим Я и, вместе, отличным от него» (подч. Флоренским, «Столп», Письмо 4).

К недостаткам учения Флоренского следует отнести прежде всего ослабленное восприятие о б р а з а: ипостасное различие Божественных Лиц, абсолютное своеобразие Каждого из Них, столь энергично подчеркиваемое в святоотеческом богословии, у Флоренского несколько стирается, становится чем-то вторичным перед тем фактом, что каждая из Ипостасей есть абсолютная

Личность. Пытаясь построить типологию видов человеческой любви, он сопоставляет с Божественными Ипостасями триаду отношения: Я - Ты - Он (эту идею развивал впоследствии о. Сергей Булгаков) — но каждая конкретная человеческая личность, входя в различные триады, может выступать под любым из этих трех аспектов. Сама по себе человеческая личность оказывается лишенной качественной определенности; в любви, как ее понимает Флоренский, онтологически утверждается лишь тот факт, что личность реально е с т ь, но не осуществляется откровения о том, к а к а я и м е н н о она личность.

К постановке этого вопроса вплотную подходит В. Н. Ильин («Преподобный Серафим Саровский», 1971): «Как все лица Троиственного Бога единосущны друг другу и в то же время каждое обладает Своим свойством и Своим ликом, так есть и люди, в которых запечатлена та или иная сторона «триады светящего Света»... В частности, о Преподобном Серафиме В. Н. Ильин высказывал предположение, что он «среди святых явно носит печать Бога-Саваофа, Бога-Адонаи по преимуществу» (т. е. Бога-Отца), тут же, однако, предостерегая, что знание подлинного Образа или Имени человеческой личности дается только в прямом Божественном Откровении.

Если Флоренский, утверждая онтологию личности, отчасти теряет ее логистическое, образное, «иконное» начало, то Ильин, выдвигая это начало на первый план, оказывается перед другой опасностью: смешать личность с ликом, лицом, образом.

Между тем, в личности, как Божественной, так и человеческой, ее сущность, ее образ и акт ее бытия — суть одно и то же.

Рассматривая Св. Троицу как Первообраз соборности, обратим внимание на тот факт, открываемый в мистическом опыте Церкви, что абсолютное качественное своеобразие каждого Божественного Лица, только этому Лицу присущий о б р а з заключается в том, к а к и м е н н о это Лицо относится к двум другим Лицам, т. е. в том, к а к и к о г о это Лицо любит. В силу этих взаимных отношений каждая Божественная Личность и есть Лицо, или Ипостась; потому и нельзя говорить о «лице» Св. Троицы, что все отношения заключены внутри Нее (здесь мы развиваем идею Фомы Аквината о том, что «лицо есть отношение» — поскольку речь идет о Лицах Божественных). Отец любит Сына и Духа Святого и н а ч е, чем Сын любит Отца и Духа Святого, или чем Дух Святой любит Отца и Сына. Каждая Божественная Личность не только подлинно е с т ь, т. е. любит и любима, но она также есть, т. е. любит и любима а б с о л ю т-

но определенным образом — и это есть тот Первичный Образ, который ни к чему далее не сводим, но к которому, напротив, должно быть сводимо все существующее. В первую очередь, это должно быть справедливо для человеческой личности, которая осуществляет свое бытие. т. е. любит — только ей одной свойственным образом, и при этом каждую другую личность — по-разному.

Собор, таким образом, есть не только единство онтологическое, простирающееся до единосущия, но он есть также единство прекрасное, единство гармонии и строя — живой кристалл, многообразно отображающий абсолютную Гармонию и Красоту Св. Троицы. Не случайно заповедь преп. Сергия: «Взирая на единство Св. Троицы, побеждать ненавистное разделение мира сего», столь убедительно дополнена великим творением Андрея Рублева. Созерцание его иконы Троицы лучше всяких доказательств убеждает в том, что для русского религиозного сознания идеал соборности носил духовно-конкретный характер, воспринимался как высшая Красота, имеющая вполне определенный и абсолютный Первообраз.

Идеи Флоренского не случайно сказались влияние именно на тех мыслителей, которые стремились развивать богословие имени, богословие образа — таковы В. Эрн, В. Н. Ильин, о. Сергей Булгаков, «богослов в поэзии» — Вяч. Иванов. К сожалению, весь этот круг идей не получил достаточно широкого распространения, отчасти из-за наличия многих ошибок и недоговоренностей у самих авторов, отчасти потому, что догматический язык свято-отеческого богословия почти потерял свой живой религиозный смысл для большинства современников.

Мартин Бубер, проникнутый нудейским реализмом, далеким от эллинской логистической традиции, сумел засеять своими интуициями более обширное поле, хотя в России он еще почти не известен. Между тем, его переживание любви глубоко родственно идеям Флоренского.

Бубер утверждает, что Я не существует само по себе, но лишь в одном из двух сочетаний: Я-Ты или Я-Оно. Мир «Оно» объемлет почти все реальности человеческого бытия:

«Я что-то воспринимаю, Я что-то ощущаю, Я что-то представляю, Я что-то чувствую, Я что-то мыслю. Человеческая жизнь не сводится ко всему этому и подобному. Все это и подобное этому утверждает царство Оно... Что изменится, если к «внешнему» опыту присоединить опыт «внутренний»?.. Внутренние ли,

внешние ли вещи — вещи среди вещей!.. Что изменится, если к «явному» опыту присоединить опыт «тайный»? О таинственность без тайны, о накопление сведений! Оно, всегда оно!» (М. Бубер, «Я и Ты»).

Миру Оно Бубер противопоставляет мир Ты, в котором только и осуществляется подлинная реальность человека. Отношение Я-Ты он понимает не как психологическое переживание, но как онтологический акт.

«Ты встречает меня через благодать, — говорит Бубер, — оно не приобретается в поиске. Но когда я говорю ему первичное слово, это есть акт моего существа, акт, которым осуществляется мое бытие... Первичное слово Я-Ты может быть сказано лишь всем существом. Сосредоточение и слияние всего моего существа не может осуществиться ни через меня, ни помимо меня. Я становлюсь собой лишь через обращенность к Ты, — становясь Я, я говорю Ты. Всякая подлинная жизнь есть встреча» (там же).

Нет в человеческом языке слова, имеющего столько разных оттенков, столько значений, как слово «любовь». И это — не случайно, т. к. первичная реальность пронизывает своими излучениями весь мир на всех уровнях; многозначность слова, выражающего принцип мирового единства, свидетельствует о «многозатяжности», «многослойности» бытия, от неодушевленной материи до человеческой личности — если ограничиться бытием сотворенным.

Неумение видеть глубину бытия приводит к смешению уровней, к «сплющиванию» бытия в плоскость, к обесцениванию и обесмысливанию высших реальностей. Бубер, описывая любовь как онтологический акт, предостерегает от смешения этого акта с любовью-эмоцией, любовью как переживанием, хотя бы и самым глубоким.

«Чувства, — утверждает великий ученик хасидов, — сопровождают метафизический факт любви, но не составляют его... Чувства испытываются, любовь случается. Чувства пребывают в человеке, человек же пребывает в своей любви. Это не метафора, а действительность... Не знающий этого, не знающий всем существом своим, не знает любви, хотя он и может принимать за нее те чувства, которые он испытывает, которыми наслаждается и которые выражает. Любовь охватывает своим воздействием весь мир. Для пребывающего в любви и оттуда смотрящего, люди освобождаются от пут суетливой деятельности; хорошие и дурные, мудрые и глупые, прекрасные и безобразные, один за другим приобретают подлинность и предстают ему как Ты,

то есть освобожденными и единственными... Здесь рождается то, что невозможно ни в каком чувстве — равенство всех любящих от наименьшего до величайшего, и от того благохранимого человека, чья жизнь замыкается в жизни единственного любимого существа, до того, у кого достало сил и отваги дойти до страшной точки — л ю б и т ь в с е х л ю д е й. («Я и Ты», подч. Бубером).

8

Всецело соглашаясь с Бубером в его выделении мира Я-Ты высшего онтологического уровня и его понимании любви как единственного «способа бытия» личности, мы должны сказать несколько слов в защиту мира Оно. Бубер, по существу, не решает (хотя бы в переживании) вопрос о том, как же связаны между собой два уровня или два измерения бытия: Я-Ты и Я-Оно, вследствие чего мир Оно оказался у него отчасти подвергнутым несправедливому ostracism, отчасти же искусственно «втянутым» в мир личного отношения.

Для решения проблемы мы снова оказываемся вынужденными прибегнуть к сокровищнице православного богословия — в данном случае к общепринятому на Православном Востоке учению св. Григория Паламы о Божественных энергиях.

Палама различает Божественную природу как сущую «в себе», и ту же природу, как проявленную «вовне». Как сущая в себе, Божественная природа абсолютно непознаваема и неприкасаема для человека «ни в сем веке, ни в будущем» (тварный образ этой трансцендентности мы как раз и видим в природе человеческой личности), тогда как Божественная природа, проявленная или излившаяся «вовне», образует собой то, что мистики-богovidцы называют областью «окрест Божества», областью Божественной Славы и Полноты. Несотворенная Божественная энергия, способная, однако, проникать в недра сотворенных существ, была показана Христом в виде Фаворского света. О проникновении Божественной энергии в человеческую душу и тело свидетельствуют многие христианские подвижники. Одно из последних по времени (1831 г.) и наиболее впечатляющих описаний такого благодатного посещения оставил Н. А. Мотовилов, рассказавший о своей встрече с преподобным Серафимом. Описание это стало излюбленным народным чтением в России и оказало заметное влияние на формирование русского религиозного сознания, всегда бывшего склонным к мистическому реализму подобного рода.

Исходя из первичной идеи о сообразности человека Богу, мы должны принять, что человеческая личность, подобно Личности Божественной, также способна изливать свою собственную сущность вовне в виде духовных энергий: переживаний, идей или актов воли. Эта область человеческого духа наиболее непосредственно примыкает к личности и является по преимуществу сферой мистической, духовной жизни. Христианские подвижники, на протяжении многих столетий практиковавшие такую жизнь, настойчиво подчеркивают отличие этой сферы от мира обычного или душевного чувства, мышления и волнения. Предварительное «умерщвление» природной, естественной, душевной жизни служит у этих подвижников необходимым условием для пробуждения или выявления жизни духовной.

Необходимость таких чрезвычайных усилий для пробуждения духовной жизни служит убедительным доказательством принципиального отличия духовной сферы — от душевной, или природно-космической жизни. Духовная жизнь неразрывно связана с онтологической личностью, которая у подавляющего большинства людей — за исключением редких, но критических и решающих моментов жизни — влачит латентное, подспудное существование. Активизация духовной жизни способствует пробуждению личности и, наоборот, вхождение личности актом любви в реальность своего бытия производит огромное воздействие на духовную жизнь, вызывая мощное истечение духовных энергий. По отношению к другим слоям человеческой души это истечение воспринимается как своего рода преобразующая сила или творческий импульс.

Вопреки Буберу, «Оно» в его первичном смысле не есть нечто противостоящее личности, но есть энергия самой этой личности. Можно даже сказать в духе Шеллинга, что Оно есть «инобытие» Я, если только понимать под Я не субъект познания, но онтологическую личность. Можно сказать, что личность — это и есть дух в его непроявленном, «апофатическом» аспекте, но тот же дух обладает проявленным бытием, изливаясь вовне как энергия личности. Однако слишком часто, говоря о духе, подразумевают лишь его внеличный, энергетический аспект (иногда еще уже — лишь логистический аспект энергии), упуская из виду собственно личность. Это — одна из причин, по которой антропология не может строиться лишь на понятии духа, без фундаментальной идеи личности.

Духовная жизнь в «окололичностной сфере» не прекращается и при отказе личности от своего онтологического укоренения

в акте любви — но тогда она принимает по преимуществу негативный, страдательный характер, а сама личность воспринимается как нечто, лишенное бытия, как «ничто». Об этом свидетельствует современный экзистенциализм, открывающий нам мир «метафизических эмоций», связанных с переживанием онтологического одиночества, абсолютной и беспредметной свободы, «выброшенности в бытие» и неутвержденности в нем.

«В ужасе бытие испытывает свою собственную необоснованность, — пишет Хайдеггер, — свою полную зависимость от за ним стоящего «Оно», — от «бросателя», которому оно обязано своей «брошенностью». Ужас ставит существование на край пропасти, из которой оно произошло, — лицом к лицу с Ничто» («Бытие и время»).

К области духовной жизни относится и догматический разум, «нормой» которого являются не природные объекты, но Троичный Бог. Флоренский, стремящийся найти в разуме способность «вместить» абсолютную Истину, т. е. знание о Боге, заставляет нас пережить «умирание» естественного разума, подчиненного аристотелевским логическим законам, прежде всего, закону тождества. Добавим от себя, возражая против некоторых крайностей Флоренского, что такой естественный разум способен в известных пределах познавать истину о Боге, т. е. способен принимать на себя — через Откровение и рационалистическую проекцию Догмата — печать высшей Божественной реальности. Пределы возможностей естественного разума вряд ли обозначены где-нибудь лучше, чем в грандиозном интеллектуальном синтезе Аквината и его продолжателей. Но, как со всей силой свидетельствует Флоренский, — и здесь он, вероятно, оказывается первым среди философов, — естественный разум, скованный законом тождества, в конечном счете неадекватен Богу, в Котором Три равно Одному. Духовный разум, выступающий вначале негативно, как некий «пирронический» огонь скептицизма, «выжигающий» собой природный интеллект, — успокаивается, находит свой принцип лишь в созерцании Св. Троицы, как Она представлена в Православном Догмате.

Также и духовные переживания, связанные с Богообщением, качественно отличаются от естественных человеческих «эмоций», хотя и глубоко им созвучны. Духовные переживания как бы имеют другую «субстанцию», сотканы из другого «материала», чем природные чувства — об этом настойчиво свидетельствуют христианские мистики, прошедшие крестный путь «умерщвления страстей».

Все, о чем мы до сих пор говорили, относилось к раскрытию понятия «духа», т. е. личности и ее энергий.

Но человек не есть «дух», он есть онтологическое единство духа, души и тела. Несомненно, что в душевном измерении человек также в каком-то смысле является личностью, более того, понятие личности чаще всего и применяется в смысле психологическом, или, более широко, в смысле природно-космическом.

Также и проповедники идеала соборности не ограничиваются применением этого идеала к жизни церковной, но неизменно стремятся распространить его на жизнь национальную, народную.

Каким образом могут быть совмещены эти два аспекта одного идеала?

Но этот вопрос сводится к другому: каким образом человек является одновременно духовной личностью и личностью душевно-космической?

Мы вряд ли в состоянии уже сейчас удовлетворительно ответить на этот вопрос. Перед нами стоит лишь предварительная задача: попытаться различить эти понятия друг от друга. Основная проблема антропологии, конечно, не будет этим решена. Но, по крайней мере, она будет еще раз поставлена. И вместе с тем в новом ракурсе будет поставлена проблема соборности.

Бесполезно пытаться всерьез постичь содержание душевной сферы человеческого существа, оставаясь в рамках христианско-европейской (глубже: иудейско-эллинстической) традиции, не обратившись к той мировой традиции, которая издревле сосредоточена преимущественно именно на этой сфере — к восточной традиции вообще и к индийской в особенности. Только здесь мы можем попытаться найти и достаточно разработанные принципы природно-космического единства.

Ту душевную жизнь, которую христианский аскет у м е р щ в л я е т, индийский йог к у л ь т и в и р у е т, делая акцент на том или ином аспекте этой душевной жизни, в зависимости от избранного пути. Так, «Жнана-йога» есть путь разума или «мудрости», «Раджа-йога» учит прежде всего концентрации воли, «Бхакти-йога» ведет человека путем чувства, «Хатха-йога» сосредоточена на взаимодействии души и тела, «Карма-йога» — на взаимосвязи индивидуальной души с окружающей социальной и природной жизнью. Ее цель всегда одна.

Возьмем ли мы любой из видов «йоги», или «восьмиричный» путь Гаутамы Будды, или искание пробуждения — «сатори» по-

следователями течения «дзен» — это всегда есть стремление к раскрытию высшей космической личности человека, к переходу человека на высший уровень природного бытия, на котором он обретает освобождение от власти низших начал и единение со всей полнотой космической жизни, включая и все другие индивидуальные человеческие души.

Вот что пишет, например, йог Рамачарак, европеец, вполне проникшийся индийским мировосприятием:

«Чувство реальности Я, очевидное для вас в моменты вашего наиболее ясного умственного прозрения, на самом деле есть лишь отражение чувства реальности, лежащей в основе целого, есть сознание целого, проявляющегося через посредство высшего центра сознания. Достигший известной степени ученик или посвященный может обнаружить, что его сознание расширяется постепенно, и, наконец, оно отождествляет себя с целым. Для него становится очевидным, что под всеми формами и именами видимого мира находится одна жизнь, одна сила, одна субстанция, одна реальность и Единый. И вместо того, чтобы ощущать утрату своей индивидуальности, он сознает расширение ее, вместо чувства, что его поглощает целое, он ощущает, что сам распространяется и охватывает целое». («Раджа-йога»).

Великий Рамакришна, этот «преподобный Серафим» современной Индии, осуществивший в своем опыте синтез всех видов йоги, подобно тому, как преподобный Серафим осуществил синтез всех видов христианского подвижничества, говорит о том же, что Рамачарак, но языком более мистическим:

«Общение с Богом можно сравнить с процессом инволюции. Когда человек входит в общение с Высшим Существом, его личность совершенно сливается с Божественной Личностью. Это состояние Самадхи. Затем опять, когда сознание возвращается на плоскость человеческого бытия и приходит к пункту своего отправления, оно видит, что и мир, и сущность человека, т. е. его «я» — вышли из одного и того же Высшего Существа...» («Провозвестие Рамакришны», Спб. 1914, стр. 203).

Нетрудно заметить, что именно такая же интуиция «всеединства» лежит в основе антропологических построений В. Соловьева, оказавшего решающее влияние на последующее развитие русской религиозной мысли. «Индивидуальное существо, — пишет Соловьев в «Смысле любви», — есть только луч, живой и действительный, но нераздельный луч одного идеального светила — всеединой сущности. Отдельное лицо есть только индивидуали-

зация всеединства, которое неделимо присутствует в каждой из своих индивидуализаций». «Человечество, — развивает он свою мысль в другом месте, — истинное, чистое и полное — есть высшая и всеобъемлющая форма и живая душа природы и вселенной, вечно соединенное и во временном процессе соединяющееся с Богом и соединяющее с Ним все, что есть» («Идея человечества у Ог. Конта»).

10

Тема «мировой души» интересует нас здесь лишь в аспекте антропологии.

Вообще говоря, нетрудно представить себе душу мира как безличную сущность, психическую субстанцию, более или менее оформленную и организованную в единое целое. Это целое есть эволюционирующая совокупность огромного количества первичных побуждений, образов, переживаний, объединенных во всевозможные устойчивые и неустойчивые комплексы. На более высоких уровнях эти структуры становятся более отчетливыми и утонченными, принимая характер «идеальных первообразов», «эйдосов» или, по теософской терминологии, «мыслеформ». Душевная деятельность человека оказывает на этот мир разрушительное или формирующее воздействие, в зависимости от характера этой деятельности. Индивидуальная душа человека сама по себе есть такой устойчивый психический комплекс, проходящий неоднократно соединение с тем или иным материальным телом, — мистики Востока называют это «перевоплощением» индивидуальной души.

Если мы примем, что человеческая духовная личность вместе с ее энергиями — а тем самым, и человек, как духовно-душевно-телесное единство — каждый раз заново творится Богом и находится за пределами потока космической жизни, — как на этом настаивал Бердяев, то признание в душевном составе человеческого существа текучих космических элементов ни в какой мере не будет противоречить христианскому религиозному сознанию. Так, нас уже несколько не удивляет наличие передаваемых по наследству «генов» в биологическом наследственном механизме; возможно, что и психические структуры могут быть как бы в последовательном «обладании» у нескольких различных живых существ. В таком случае, эти душевные структуры становятся как бы общим для ряда личностей, создавая между ними еще один своеобразный тип природно-космической общности (воз-

можно, интуиция В. Лосского, касающаяся «обобществления природы», справедлива именно для природы космической). Разумеется, эти структуры, как и утверждают сторонники идеи «перевоплощения», претерпевают в течение каждого «воплощения» глубокие изменения.

Представления подобного рода, принимаемые на Востоке как самоочевидные факты, кажутся несколько диковинными для западного человека, со свойственной ему (на вершинах духовности) концентрацией внимания на абсолютной личности или, гораздо чаще, на эмпирическом индивидуальном существовании. Однако мы не можем ни игнорировать огромный мистический опыт Востока, ни стилизовать его под некую модификацию христианского опыта, ни, тем более, объявить мистику Востока плодом демонического внушения. Восточная мистика есть мистика реального Космоса, а демонические прельщения действуют в западном мире не меньше, чем в мире восточном.

Очевидно, в самом человеке существуют начала, позволяющие ему пойти двумя столь различными путями внутреннего опыта самопознания, как опыт монотеистический, личностный, и опыт пантеистический, космический.

Естественно в связи с этим снова обратиться к различению между духом и душой, введенному апостолом Павлом. Душа могла бы пониматься как безличное космическое начало, — и здесь можно говорить о природном «всеединстве» человечества, — в отличие от начала личностного, в котором соборное единение достигается онтологическими актами личной любви в Духе Святом.

Трудность заключается в том, что душевно-космическая мистика претендует не только на «абсолютный», но и на «личностный» характер своего объекта. Христианские мыслители неоднократно впадали в заблуждение, отождествляя «личность» в индийской мистике с личностью в мистике христианской.

Как индивидуальная душа, так и космический «абсолют», из которого она происходит, в действительности не есть личность в том смысле, который мы выше стремились вложить в это понятие; эти реальности, однако, не являются и вполне безличными, — они, можно сказать, «личностноподобны». Хотя о душе мира иногда говорят как о едином мировом. Я, однако тут же — и не случайно — стремлюсь оговорить, что это единое начало можно с равным правом назвать «безличным», или, еще лучше, «сверхличным». Отсюда, как вообще из всех выводов концепций «всеединства», видно, что личность понимается здесь в некотором

условном смысле, как луч единого целого. Мы же, говоря об абсолютной личности, не можем признать существование чего-либо «сверхличного», т. к. Бог есть Личность, а выше Бога ничего нет. Также и в Боге Его Личность не есть нечто вторичное, а есть Он Сам. В мире, сотворенном Богом, нет ничего выше человеческой личности, напротив, **единичная личность стоит вне космоса, она онтологически выше всего космоса в целом**, — она не есть часть или луч космического целого и сотворена независимо от него.

Однако, если концепция «всеединства» неприменима к духовной личности человека, то она вполне справедлива в отношении индивидуальной «личностноподобной» души. Во избежание путаницы, мы можем применить к индивидуальной душе термин «космическая личность», в отличие от «онтологической» или «духовной» личности.

Представление о человеке вследствие такого разграничения сильно усложняется, но и становится значительно более емким, из плоскостного становится объемным. Когда мы различаем в человеке сферу духа и сферу души, мы отнюдь не представляем эти сферы расположенными одна над другой — как некие вертикальные «слои»: дух и душа — это, скорее, два «взаимно-перпендикулярных» измерения человеческого существа. Хотя «геометрические» образы вряд ли применимы к описанию внутреннего мира человека, мы хотим этим подчеркнуть, что углубление в мир души вовсе не обязательно приводит к выходу в сферу духа. Индийский йог, поднимаясь все выше по лестнице души, приходит не к своей духовной личности, но к единой мировой душе, которая сама по себе онтологической личностью не является. Христианский подвижник, — говоря более точно, подвижник восточно-православного, «паламитского» типа, — не только не использует душевно-космические силы для поднятия в сферу духовной жизни, но всячески старается устранить душевные образы, мысли и переживания, уводящие его в сторону от избранного пути. Такое негативное отношение к душе вполне сочетается с использованием тела как вспомогательного орудия для продвижения в духовные глубины: многие приемы восточных «сисхастов» близко напоминают приемы Хатха-йоги, но конечная цель — совсем иная. Душевные движения именно потому столь опасны для православного мистика, что они легко могут ввести в заблуждение своим сходством с движениями духа, — по отношению же к телу эта опасность смещения не угрожает.

Каким же является образ подлинного взаимоотношения личности духовной с личностью космической; или «духа» с «душой»?

К сожалению, мы этого не знаем.

Решение задач подобного рода достигается лишь путем развития определенной мистической традиции, внутри которой осуществляется всестороннее познание той или иной мировой реальности. В данном случае такой реальностью явился бы гармонический синтез отдельных сфер человеческого существа, постоянно сосуществующих в нем, но, как правило, в состоянии раздробленности и взаимного противоборства. Возникновение такой традиции — дело будущего (возможно, ближайшего будущего).

Мы, христиане, до последнего времени или не знали или чрезвычайно недооценивали религиозный опыт Востока; теперь же, когда Восток сам пошел нам навстречу, раскрывая приобретенные им духовные сокровища, мы оказываемся настолько покоренными величием открывающейся картины, что слишком легко отказываемся от нашего собственного духовного богатства, стилизуя наш религиозный опыт под нечто вполне тождественное опыту Востока. Вместо взаимно-плодотворной встречи двух разнородных традиций получается размывание границ и неизбежное обесценивание, духовная инфляция обеих традиций, а для нас — хуже того, отрыв от глубочайших корней нашей религиозной жизни.

Только отчетливое представление о духовной личности, коренящееся в реальном переживании Св. Троицы и в опыте онтологической любви, позволяет нам безбоязненно идти на встречу с восточным знанием о человеке, в надежде на то, что в конечном счете эта встреча окажется взаимно плодотворной. Но сейчас мы стоим лишь в начале долгого пути...

11

Мы до сих пор говорили лишь об онтологических различиях внутри человеческого существа, но — в заключение — может быть поставлен также вопрос о **качественных** различиях внутри каждой онтологической сферы.

В. Борисов в уже цитированной статье ставит эту проблему в аспекте оценочности **национальной**, решительно отвергая представление о человеке как о социальном атоме, похожем на все другие и отличающемся лишь наследственными биологическими особенностями, случайностями личной биографии и местом, занимаемым в социальном организме. Борисов утвер-

ждает, что человек «окачествен» не только через свое материально-телесное существование, но и в своем внутреннем мире, приобретая эту глубинную окачественность уже в акте своего рождения или, возможно, в акте сотворения своей личности.

«Никакой человек, — утверждает Борисов, — не рождается в мир безличным существом, чистой возможностью. В самый момент появления он уже есть качественно определенная личность, и в том числе — национально определенная. Правда, эта определенность существует лишь как идеальная заданность, как метафизическая основа нашей духовной природы; ею не нарушается свобода самоопределения личности в земной жизни, которая вольна уклониться от исполнения своего предназначения, вольна отвергнуть Божий замысел о себе, забыть о корнях своего бытия; однако, разрушить эти корни она не может».

Очевидна исключительная роль этого утверждения для конкретизации идеала соборности. Какими бы ни были связывающие силы человеческого единства, человеческая общность представляется не аморфной массой, но как бы «кристаллической» структурой, или, лучше, живым, «органическим» единством.

Эта онтологическая структурность, предопределяющая возможность грядущей гармонии, безусловно, свойственна всем сферам человеческого существа; здесь открывается великое поле для лично-соборного творчества. Однако нарушение онтологической иерархии, смещение или смешение планов может сделать такое творчество бесплодным или духовно-разрушительным.

Вполне соглашаясь с Борисовым, что «нация есть один из уровней в иерархии христианского космоса, часть неотменимого Божьего замысла о мире», мы хотим уточнить, какое именно место занимает национальное начало в этой иерархии.

В соответствии с изложенным выше представлением о человеке, мы полагаем, что национальная окачественность целиком относится к душевно-космическому уровню бытия. Это не означает попытки признать значение нации как вида человеческой общности. Упоминание Апокалипсиса о «спасенных народах» лишний раз подчеркивает, что весь космос, как в его душевном, так и материальном аспекте, во всей многогранности своего бытия, подлежит не уничтожению, но преображению. В этой многоцветной радуге преображенного и очеловеченного космоса, безусловно, найдут свое место и «народы», или нации, каждая со своим уникальным и неповторимым лицом, каждая дополняя другие в гармоническом и богатом единстве космически-душевной жизни.

При этом нация должна сохранять свое отличие от другого вида человеческой общности — Церкви, объединяющей человечество в сфере духовной. Один и тот же человек принадлежит и своей нации, и своей Церкви — эти два вида общности хотя и тесно связаны, но все же отличны друг от друга. Не забудем лишь, что человек, как онтологическая личность, не может «принадлежать» никому и ничему — но он может свободно соединяться в акте личной любви с другими личностями: Богом или другими людьми. Подобно тому, как Св. Троица есть абсолютная Личность и Каждое из трех Божественных Лиц есть Личность — подобно Богу, является (становится) Личностью — Невестой Христовой — и Св. Церковь, каждый член которой есть также личность.

Какова должна быть взаимная связь этих двух видов человеческого единства — церковного и национального, или, более широко — церковного и космического?

Ответить на этот вопрос столь же трудно, как и на вопрос о должном взаимоотношении лично-духовной и душевно-космической сфер в отдельном человеке. Ведь Церковь встречается с нацией не в «безвоздушном пространстве», а в сердце живого, конкретного человека.

Решение этой задачи вряд ли найдено, хотя она стояла в центре христианского сознания в течение всей константиновской эпохи. Римская Церковь со всей силой утвердила не только независимость, но и «первородство» Церкви по отношению к началам национальным, государственным и культурным. Однако, поняв свои отношения с этими началами почти исключительно как «пастырские», порой выражающиеся в попытках духовного принуждения, насилия, — католицизм совершил ряд исторических ошибок, приведших ко все углубляющемуся разрыву между миром и Церковью. Печальный опыт вынудил Римскую Церковь признать значительную автономию естественной жизни в области культуры и социального строительства, однако она продолжает бесплодную борьбу за свое право принудительной регламентации семейной и половой жизни. Католицизм в своем служении делу христианского универсализма не только с трудом воспринимает идею автономии различных сфер человеческого бытия: духовного, душевного и материального, но и значительно ослабляет восприятие качественной самобытности отдельных индивидуумов, наций, церковных общин, хотя, конечно, в принципе такую самобытность не отрицает.

Восточное Православие, хотя и впадало нередко в другую крайность, — переоценку природно-космического бытия, в осо-

бенности в его национально-государственном выражении, в большей степени подготовлено к принятию универсализма органического, с полным признанием автономии и самобытности начал, входящих в любой вид человеческой общности.

Русское Православие, с его многократно отмеченным «светлым космизмом» осознает в лице своих лучших представителей — свое особое призвание в деле осуществления такого универсального органического синтеза мировых начал. Но — подчеркнем еще раз — смешение различных планов бытия может сделать выполнение этой задачи невозможным, или, хуже того, может привести к какому-нибудь ложному синтезу пантеистического характера, т. е. к отвержению — путем фальшивой стилизации — высших духовных начал. Это может произойти, в частности, в том случае, если национальное начало займет слишком высокое, неподобающее ему место в иерархии человеческих ценностей.

Еще более грозная опасность кроется в ложном универсализме: смешении мировой души с онтологически личностным или, тем более, Божественным началом. Силу этого соблазна для России доказывает вся история русской религиозной мысли последнего времени; это тем более тревожно, что агрессивное вторжение нового пантеизма в человеческое сознание принимает всемирный характер. Если для религий Востока такой универсализм вполне естествен и может быть для них необходимым промежуточным шагом на пути к принятию веры в истинного Бога, Которого они до сих пор не знали, то для западного христианского сознания идеи такого рода могут оказаться разрушительными. Стилизация космической мистики под христианство, подобная той, которую произвел Тейяр де Шарден, приобретает все больше сторонников в мире, опустошенном материалистической культурой и готовом принять любые подделки в качестве суррогата подлинной религии. Ошибки такого рода замыкают человеческое сердце в пределах космоса, затрудняя ему возможность личной встречи с Иисусом в Духе Святом.

12

Как может быть осуществлен идеал соборности?

Главный вывод, который можно сделать в связи с изложенным здесь представлением о человеке, заключается в том, что на этом пути нельзя ограничиться лишь пробуждением национального сознания или даже «космического чувства» по Шардену, — основой всего является личная любовь, вхождение в реаль-

ность отношения Я-Ты с Богом и братьями. Это есть соборное единение вокруг Иисуса Христа, близкого, чаемого и грядущего, — ибо только таким Он может восприниматься в реальности личного отношения, независимо от исторического момента Его Пришествия. Это есть путь неизбежно трагический, — как все, связанное с жизнью личности; путь, проходящий через прямое и предельно острое столкновение с силами зла, ибо сущность зла — в сознательном и активном отвержении личной любви. Это — путь, разрушающий привычную «прочность» существования; путь, на котором судьба мира будет постоянно зависеть от глубинного решения, принимаемого той или иной отдельной личностью; это — путь доверия и надежды; это — путь, по которому любящие «следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел» (Откр., 14,4).

Идеологи, мыслящие только «космическими масштабами» и не придающие значения человеческой личности, вряд ли заметят в недрах Церкви спонтанно возникающие — по личному дерзновению и наитию Св. Духа — маленькие островки личного братства, объединенного вокруг общего дела или евхаристической чаши; братства, ведущего изнурительную повседневную борьбу против греха и косности, за утверждение подлинного бытия в такой близкой и такой недоступной, обетованной и чаемой земле. Так уже было однажды — в первые годы проповеди апостолов; но теперь перед Церковью, обогащенной двухтысячелетним опытом, стоит новая задача, от которой были освобождены первые христиане: принятие и духовное освоение мировой души, космической жизни во всех ее проявлениях, во всей ее универсальной полноте.

Для выполнения этой задачи член Церкви должен чувствовать себя свободно и уверенно во всех сферах мировой жизни. Каждый в соответствии со своим свободно избранным служением, он должен быть «у себя дома» в этой жизни, избавленный как от страха и подозрительности по отношению к богатству и глубине душевного космоса, так и от мелочной регламентации со стороны церковной общины, от всего, что сковывает личную пытливость, искренность и творческое дерзновение. Церковь не имеет готовых рецептов устройства народно-космического бытия: единственная надежда на подлинно творческое решение этой задачи — в том мощном потоке духовных энергий, которым неизбежно будет сопровождаться вхождение членов Церкви в реальность личного отношения, — глубочайшую реальность человеческого бытия. Нет сомнения, что мировая душа, автономия и

свобода которой без всякого идолопоклонства будет признана Церковью, любовно и радостно, движимая сокровенными надеждами, вложенными в нее Творцом, сама устремится навстречу «откровению сыновей Божиих» (Рим. 8,19), исцеляя свои древние раны, восходя в новую полноту своего существования, в чаемое и назревшее «всеединство».

Трудность предстоящего нам служения многократно возрастет, если мы вспомним, что все это происходит — непосредственно перед пастью дракона...

Москва, сентябрь 1977 г.

П. Б. СТРУВЕ (1870-1944)

ИЗНУТРИ*

Замечательная книга об еврейском вопросе.

Еврейский вопрос представляет одну из роковых и соблазнительных (в обоих смыслах этого сильного русского слова) культурно-исторических или социологических проблем человеческой жизни. Это одинаково относится и к прошлому, и к настоящему. Еврейство своим религиозным содержанием (единобожие) и его исторической связью с христианством приобрело всемирно-историческое значение. Это значение стояло в теснейшем соотношении с фактом еврейского «рассеяния», которое неотделимо от изгнания и есть в известном смысле лишь углубление и расширение последнего. Распространение же христианства в своем начале неотделимо от факта или процесса еврейского рассеяния. С позитивно-исторической или социологической точки зрения христианство есть сознательно преодолевшее национальные рамки, победоносно выходящее из них, охватывающее мир и религиозно себя с ним объединяющее и тем упраздняющее еврейство. Исторически породив христианство как свою универсализацию и свое упразднение, еврейство национально и религиозно отвергло это свое порождение. В этом исхождении (в человеческом или историческом аспекте) христианства из еврейства и в этом отпадении первого от последнего или — что то же — отвержении последнего первым заключается вся трагическая значительность и глубина еврейского вопроса. Это, конечно, не есть вопрос расовый или, вернее, в нем религиозное и культурное сгущается и темнеет до расового и биологического, не переставая однако в своих истоках и в своем существе быть религиозным и культурным. Развитие еврейства в самой общей формуле может быть изображено так: из племени и нации рождается религия, а затем для всего остального, нееврейского, мира и даже для самих евреев религия превращается в расу, в «кровь». Превращение религии

* Статья была написана в апреле 1924 г. в Праге и напечатана в журнале «Русская Мысль» (Прага-Берлин), кн. IX-XII (1923-1924).

Сама книга «Россия и евреи» в скором времени выйдет в переиздании Умса-Press.

в «кровь» есть социально-психологический процесс вульгаризации и затемнения еврейской проблемы. Как всегда, и у этого социально-психологического процесса вульгаризации есть свои объективные основания. Но и социологическая мысль, и практическое действительное сознание не могут и не должны останавливаться ни на этой вульгаризации, ни даже на ее вульгарной критике. Ибо отрицание расового характера за еврейской проблемой не может быть отрицанием за ней вообще всякого содержания, сведением ее к правовому вопросу законодательства или сведением ее к моральному назиданию в духе гуманности и благожелательства. Никакое законодательство, никакая административная практика и никакая гуманность не могут снять или упразднить этой проблемы. Наоборот. В известном смысле еврейская проблема возникла или возникает только с правовым разрешением еврейского вопроса. До утверждения начала равноправия евреи были тем, чем их сделала история: народом-гостем или чужеродцем на положении париев.* Их «рассеяние» (диаспора) было внешним проникновением в чужие народы с сохранением чуждости и отверженности. С равноправием кончилась эпоха «диаспоры», которая была внешним проникновением чужого (еврейского) народа на территорию и в хозяйственное общение христианских (по преимуществу) народов. Началась эпоха э н с п о р ы — проникновения еврейства в самую ткань чужих народов. Я образу слово «энспора» от глагола ἐνσπείρομαι по аналогии с образованным от διασπείρομαι словом διασπορά (которое, как известно, неупотребительное в классическом греческом языке, появляется только в словаре κοινή). Слово «энспора» должно обозначать не сопровождаемое подлинной и окончательной ассимиляцией внедрение евреев в чужие национальные тела на основе равноправия. «Энспора» может сочетаться либо с духовной цельностью (традиционализмом), либо с духовным распадом (радикализмом) еврейства.

Современный еврейский вопрос, не просто как один из множества национальных или расовых вопросов, а в своей глубинной основе как вопрос религиозно-культурный, есть порождение некоего нового внутреннего для самого еврейства процесса, связан-

* Я тут следую Максу Веберу в его «Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie» III. Das Antike Judentum. Tübingen. 1921, S. 2—3: «Чем же с социологической точки зрения были евреи? Народом-парией. Это значит, как мы знаем из примера Индии, обрядово, формально или фактически отделенный от своего социального окружения народ-гость.» Но евреи в отличие от индусов были «народом-парией в социальном окружении, свободном от каст». (S. 5). Ср. того же автора «Wirtschaftsgeschichte», München 1923, S. 175, 305 ff.

ного с внешним процессом энспоры, — религиозного и культурно-бытового разложения, или распада самого еврейства. Это разложение есть частный случай общего процесса религиозного оскудения более или менее широких народных слоев, и оно же есть глубочайшая внутренняя основа и той «революционной» роли, которую играет в современном мире еврейство и которая не имеет ничего общего с религиозно-бытовой традицией еврейского народа. Еврейский «революционизм» есть на самом деле отпадение, отступничество от еврейской традиции, есть разложение самого же еврейства. Трагедия революционного или радикального еврейства и состоит в том, что оно в своем революционизме в самом корне разрушает еврейскую духовную самобытность, купленную дорогой ценой гетто и многовековых угнетений, ради водительства, более или менее призрачного, в мировом революционном движении и, в частности, в революционном разрушении России.

Осмысливание этой трагедии, по преимуществу, но не исключительно, в области политической, составляет содержание сборника статей шести еврейских авторов (И. М. Бикермана, Г. А. Ландау, И. О. Левина, Д. О. Линского, В. С. Манделя, Д. С. Пасманика) «Россия и Евреи»*. Книга замечательная! Читая ее, я испытывал величайшее волнение и глубочайшее удовлетворение, ибо тут подлинный пафос, соединенный с исключительной независимостью мысли и редкостною широтой кругозора, подымается подчас до прямо таки пророческой силы и какой-то неотразимо ясной убедительности. Я знаю, что и на других читателей эта книга произвела такое же впечатление. По содержанию же это прежде всего впечатление какого-то глубокого преодоления внутренней неправды и самой русской революции, и роли евреев в ней. Это ярко выражено во вступительной статье «К евреям всех стран» (стр. 5-8). И этим же духом проникнута замечательная, вся трепещущая праведным негодованием статья И. М. Бикермана «Россия и русское еврейство» (стр. 9-96), с которой я познакомлю читателей в характерных выдержках.

«В еженедельнике, выходящем на русском языке, сообщается, например, из Праги, что «там имеются такие еврейские элементы, которые не могут быть приняты в счет. Это отбросы еврейской общественности, сроднившиеся с Врангелем и проделавшие с его армией весь длинный путь до Праги».

* Отечественное Объединение русских евреев за границей. Издательство «Основа». Берлин. 1924.

Ген. Врангель немало, вероятно, удивился бы, узнав, что у него имеется еврейская родня; но еврейский корреспондент еврейского издания отказывается без малейшего раздумья от своей действительной родни, заподозрив ее в симпатии к Врангелю. Мое выступление на собрании, устроенном в пятую годовщину основания белой армии, было поэтому последовательно воспринято еврейским обществом как дерзкий вызов. И я спрашиваю себя: что же случилось? Я ли оторвался от еврейства, или еврейство, заблудившись в чаше словесности, само себя потеряло? Нет, оставим условности. Я такого вопроса не ставлю и не могу ставить. Ибо я знаю, с достоверностью непосредственно данного знаю, что недостойное отношение евреев к людям, поднявшим на свои рамена безмерно тяжкое бремя борьбы за Россию, за миллионы безответных и безвольных, свидетельствует о глубоком моральном распаде, об извращении сознания, для болеющего этим недугом еще более опасным, чем для окружающих. Пусть убийства, грабежи и насилия, наполнившие еврейские города и местечки юга России стоном и воплем, нужно представлять себе именно так, именно в той связи и последовательности событий, как рисуют наши погромные летописцы. Но было ведь не только это. Белая армия не только избивала евреев. Она, малочисленная, неустроенная и безоружная, вела еще, кроме того, сказочно-героическую борьбу против огромного, чудовищно наглого и лютого врага, борьбу Давида с Голиафом. Против врага, не только превосшедшего жестокостью своей все, что до сих пор известно было о звере в человеке, но по примитивности своей идеологии, примитивностью всего своего существа обезличившего 150 миллионов людей в такой мере, как этого никогда еще не сделал ни один рабовладелец со своими рабами-колонниками. Из бесчисленных преступлений, содеянных поработителями России, это преступление самое тяжкое. И разрушение государства, и разорение народного хозяйства и попрание всякого права — все это только части и частности одного Каинова дела: угашение духа человеческого; без этого все остальное было бы и невозможно и не столь страшно. Обезличие же человека не было случайным явлением, сопутствующим социалистической власти, а прямым ее заданием; именно для того, чтобы получить возможность распоряжаться и всем трудом человека и всеми его помыслами, советская власть убивала, в точном смысле слова без счета, морила голодом, разрушала последние основы человеческой культуры. И среди многих миллионов, изводимых, изнуряемых и ограбленных до последнего, до образа человеческого включительно, были и нахо-

дятся миллионы и наших братьев, миллионы евреев... Тогда как все мы, и евреи и не-евреи, покорно подставляли выю под палку, отдельные русские люди, мужественные и гордые, просочившись сквозь все заставы, собравшись с обрывков фронта, разорванного в колчъя, сплотились и подняли знамя борьбы. Они имели удачи и неудачи, были близки к торжеству и сорвались в пропасть. Но уж то, что они посмели в этих условиях бороться, поднимает этих людей и их дело на высоту, на которой история записывает только подвиги нетленные. И эти люди стали предметом поношения, их клеймит каждый празднично-болтающий язык, и степенью проявленного в этом деле усердия измеряется любовь еврея к родному народу!» (стр. 52-54).

«Нас изображают расой господ, народом, сияющим захватить господство над миром и уже наполовину успевшим в этом. На деле же мы только скользим блудной мыслью по поверхности мира, господствовать и над собой не умеем, и если опасны кому теперь, то только потому, что плывем по течению, разрушающему устой европейского общества, великими потрясениями прошлых лет уже глубоко расшатанного». (стр. 56). «Дело не так обстоит, что была смута, гибли евреи и не евреи, а евреев истребляли и левые, и правые. Этим еще не все сказано. Нужно еще прибавить, что евреи были не только объектом воздействия во время этой тяжелой смуты. Они также действовали, даже чрезмерно действовали. Еврей вооружал и беспримерной жестокостью удерживал вместе красные полки, огнем и мечом защищавшие «завоевания революции»; по приказу этого же еврея тысячи русских людей, старики, женщины, бросались в тюрьмы, чтобы залогом их жизни заставить русских офицеров стрелять в своих братьев и отдавать честь и жизнь свою за злейших своих врагов. Одним росчерком пера другой еврей истребил целый род, предав казни всех находившихся на месте, в Петрограде, представителей дома Романовых, отнюдь не различая правых и виноватых, даже не различая причастных к политике и к ней непричастных. Пробираясь тайком с опасностью для жизни по железной дороге на юг, к белой армии, русский офицер мог видеть, как на станциях северо-западных губерний по команде евреев-большевиков вытаскивались из вагонов чаще всего русские люди: евреи оставлялись, потому что сумели приспособиться к диким правилам большевиков о передвижении; русский офицер не мог этого не видеть, потому что это бросалось в глаза и евреям, которые мне об этом с горечью и с ужасом рассказывали». (стр. 71-72).

«Только человек с извращенными мозгами, воспитанный на прокламациях, ничего, кроме прокламаций и программ, в мире не видит. Нормальный человек думает и чувствует иначе. Он видит, что поднимающаяся смута слепо, без разбора уничтожает все, что ему дорого, от Державы Российской до его родного гнезда, от царской семьи до самых близких ему по крови людей: отца, сына, родного брата. Среди действительных добровольцев белой армии вряд ли было много таких, у которых революция не отняла самого ценного, самого дорогого. Он видит дальше, что в этой смуте евреи принимают деятельнейшее участие в качестве большевиков, в качестве автономистов, во всех качествах, а все еврейство в целом, поскольку оно революции не делает, на нее уповает и настолько себя с ней отождествляет, что еврея-противника революции всегда готово объявить врагом народа. И этот нормальный и жестоко от революции страдающий человек делает свои выводы. Он также отождествляет нас с революцией, но по-своему и для своих целей; признав евреев воплощением революции, он и сам по-революционному поступает, то есть бьет без разбору. Та же смута позволяет ведь каждому давать волю рукам. Мы же, присваивая себе право участвовать в революции во всех ее видах и в высочайшей степени, требуем, чтобы окружающие в обращении с нами соблюдали все писанные и неписанные законы спокойного, неревolutionного времени и с судейским беспристрастием отличали виновного еврея от невиновного, — иначе мы кричим: погром! Это применение двух мер, эта несоответствующая ни обстановке, ни нашему собственному поведению требовательность создает нам больше врагов, чем само участие в революции, ибо есть в этом что-то противоестественное, вызов природе вещей. Кто сеет ветер, пожинает бурю. Это сказал не французский остроумец, не буддийский мудрец, а еврейский пророк, самый душевный, самый скорбный, самый незлобивый из наших пророков. Но и это пророчество, как многие другие, нами забыто; вместе с многими великими ценностями мы и эту потеряли. Мы сеем бури и ураганы и хотим, чтобы нас ласкали нежные эфиры. Ничего, кроме бедствий, такая слепая, попросту глупая притязательность принести не может». (стр. 73-74). «Мы, мирясь с большевиками ради их специфической, для нас важной добродетели, тем самым противопоставляем, прямо и открыто, свой интерес жизненным интересам России. Пусть мы имеем право на это по принципу: своя рубашка ближе к телу. Но не забудем, что тем самым мы и русскому человеку должны предоставить право заботиться о своей рубашке, которая ему ближе. Клич «бей жидов,

спасай Россию» получает освящение. Одно право противостоит другому, и остается решить, что разумно, т. е. целесообразно, что нецелесообразно». (стр. 78). «Но можно ли ставить ставку на большевиков и в другом смысле, можно ли, по крайней мере, быть уверенным или хотя бы только считать правдоподобным, что при большевиках, пока они у власти, мы от погромов застрахованы? Каждый день, каждый час большевицкого владычества увеличивает и без того огромные запасы злобы к нам. Россия уже теперь представляет для нас сплошной пороховой погреб, а взрывчатого вещества все прибавляется. Хватит ли надолго у большевиков силы и умения, чтобы справиться с грозной стихией? Страшную действительность, скрывающуюся за этим вопросом, прикрывают наши домашние политики флером мутной теории об эволюции большевизма, причем дело рисуют так, что будут сидеть и сидеть большевики на совдепе, пока из него тихо и чинно не вылупится «демократический строй», как вылупливается, примерно, цыпленок из яйца. Но это поистине дикие представления об этой революции. Так безмятежно и наседка цыпляет не высиживает: курица сходит с яиц отошалою, пощипанной и взъерошенной. Как может в действительности протекать эволюция большевизма, если о таковой имеет смысл говорить, об этом можем составить себе представление по пройденному уже пути. Ведь большевики уже эволюционировали от разверстки к продналогу, от пайков к нэпу. И отнюдь не по наитию совершили они этот переход, а после длинного ряда кровавых крестьянских восстаний, завершившихся кронштадтским бунтом. Сколько мучительных судорог, сколько восстаний и усмирений, жестокости и крови ждут еще Россию на вожделенном пути эволюции, Россию и русское еврейство! На Волыни, в Черниговщине или в Москве разразится бунт, он одинаково мало хорошего обещает русским евреям, окутанным густой пеленой раздражения и ненависти. А что если революция завершится общим срывом, тоже возможным, и какой-нибудь Буденный, или другой прославленный «верный сын революции», поднимет знамя восстания против всего строя советского? Нужно ли сказать, какие бедствия обрушатся тогда на головы евреев, теперь уже рассеянных по всему широкому пространству России? И все эти светлые перспективы — при предположении, что большевики захотят защищать нас. Но захотят ли? Можем ли мы думать, что люди, предавшие в своей борьбе за власть все, начиная родиной и кончая коммунизмом, нам останутся верными и тогда, когда это перестанет быть им выгодно? Не должны ли мы, наоборот, думать, что в нужную

им минуту большевики, не обремененные никакими предрассудками и никакими тревогами совести, выдадут на растерзание евреев, чтобы ценою их крови выручить свои головы и купить новую «передышку»? Большевикам это так легко сделать. Небольшой словесной манипуляции достаточно для этого: не еврейский погром, а восстание трудового народа против зарвавшейся буржуазии. Сообщала же советская печать после ужасного глуховского погрома, что «доблестный Рославльский отряд занял Глухов... Улицы... покрыты трупами», хотя это были трупы отнюдь не павших в бою, а зарезанных мирных жителей, в том числе — стариков и женщин. «Вот ты полагался на опору, на эту трость надломленную, на Египет, а она, как обопрется на нее человек, вонзится ему в руку и прободает ее» (Исаия, 36, 6). Теперь не против Мицраима, не против Ассира, а против власти большевиков приходится предостерегать евреев, — власти самой недостойной и самой непрочной из всех существовавших на земле. Ни в чем не сказывается с такой подавляющей ясностью затмение умов нашего поколения, как в этой необходимости предостерегать от союза с дьяволом, настолько жалким и убогим, что он и мнимых благ, которыми тешит обыкновенно бес своих жертв, предложить не может, но может тем не менее повести к гибели, не может не вести к ней». (стр. 79-81).

И. М. Бикерман и другие авторы убедительно показывают, что идеи и практика революционизма губительны не только для России, но и для самого еврейства.

«Есть в участии евреев в русской смуте, — говорит Г. А. Ландау в статье «Революционные идеи в еврейской общественности» (стр. 97-119), — черта поразительной самоубийственности; я говорю не специально об участии в большевизме, а во всей революции на всем ее протяжении. Дело здесь не только в том огромном количестве активных партийных людей, социалистов и революционеров, влившихся в нее; дело в том широком сочувствии, которым она была встречена, а в некоторой степени сопровождалась и позже. Характерно, что ведь и пессимистические ожидания — и в частности ожидания погромов — далеко не были чужды весьма и весьма многим и тем не менее они продолжали у них совмещаться с приятием развязавшей бедствия и погромы смуты. Точно к огню тянуло бабочек роковое притяжение, к огню уничтожающему, или в лучшем случае опаляющему. Ясно, что были какие-то сильные мотивы, которые толкали евре-

ев в эту сторону, и столь же бесспорно и их самоубийственное значение». (стр. 105).

В еврействе — указывает тот же автор — господствовали «три идеи: социализма, сепаратического национализма и перманентного революционизма», и все они были губительны и для России, и для русского еврейства. «Можно ли представить себе что-либо более несуразное, нежели проповедь социализма в народе, состоящем в наибольшей своей части из мелкой буржуазии, из ремесленников и купцов, интеллигентов и посредников. Оставим в стороне вопрос о социализме, самом по себе; но не ясно ли с первого взгляда, что он во всяком случае решительно неприменим, неуместен у народа, специально предназначенного по своей социальной культуре — к буржуазности». (стр. 107). Разрушение городов — таково первое последствие революции; но еврейство народ всецело городской. Наибольшая часть русского народа частью осталась на земле, на своих корнях, частью туда вернулась. Евреи на земле не сидели, и на землю вернуться не могли. Они жили в городах, и в городах была уничтожена главная хозяйственная опора их существования». (стр. 110). «Русское общество — хотя и в малом составе, — все же нашло лозунги для некоторого, хотя бы неумелого и неуспешного сопротивления. Еврейское общество оказалось либо совершенно без руля и без ветрил, либо в растерянности или от растерянности духовно отошло, отвернулось от происходящего. Распространение сионизма и было последствием господства идей, потерпевших решительное банкротство. В социализме, сепаратистском национализме и в перманентной революционности пришлось разочароваться; но других идей на смену им не было. Осталось безыдейно топчась в действительности, проклиная, злоупотребляя, пренебрегая, прозябая в ней, духовно устремиться куда-либо вне ее, подальше — в Сион. Но Сион — не разрешение проблемы русского еврейства, и оно остается беспризорным и растерянным». (стр. 118).

В статье И. О. Левина «Евреи в революции» (стр. 121-138) замечательно понимание культурно-религиозной глубины еврейской проблемы. Автор отчетливо видит культурный распад еврейства в связи с тем процессом, который я называю «энспорой».

«Всего каких-нибудь 80-90 лет тому назад в еврейской среде начинается замена старой еврейской культуры другими, выработанными европейско-христианским миром, имевшими лишь немного общего с религиозно-нравственными представлениями, господствовавшими в стенах гетто. Как всякий исторический процесс,

и такая замена одного культурного содержания другим, органически с ним едва связанным, задача очень трудная и требует прежде всего много времени. Эта задача в данном случае осложняется еще тем, что в лице еврейского народа мы имеем очень резко выраженную психологическую индивидуальность, выработавшуюся под влиянием исторических условий, действовавших беспрерывно почти два тысячелетия» (стр. 128-129). «Евреи стоят перед задачей обрести культурную почву под ногами. Массы еврейских большевиков, с одной стороны, и еврейских нэпманов, с другой, являются достаточно грозным указанием на глубину культурного разложения еврейства. И если и в русском народе радикальное исцеление от большевизма ожидается от восстановления религиозно-нравственных начал национальной и государственной жизни, то еврейская мысль должна работать в том же направлении. При этом, несомненно, задача еврейства значительно труднее. Можно вообще сомневаться, в состоянии ли те исторические формы, в которые теперь облечена религиозная жизнь народов цивилизованного мира, настолько приноровиться к содержанию современной культуры, чтобы с успехом бороться с нигилистическо-материалистическим духом. Может быть, еще менее способна к этому еврейская религия в том виде, какой ей придала история. Едва ли можно сомневаться также и в несостоятельности попытки еврейского национального возрождения в виде сионизма, несмотря на огромный успех этого движения в настоящее время в различных кругах еврейского народа. Процесс религиозно-национального оздоровления еврейства, следовательно, сопряжен с еще неизмеримо большими трудностями, чем у народа русского. Но сложность проблемы еще не равносильна ее неразрешимости». (стр. 138).

Статьи Д. О. Линского «О национальном сознании русского еврея» (стр. 139-167) и Д. С. Пасманика «Чего же мы добиваемся» (стр. 207-228) замечательны и интересны не только содержанием, но и психологически, как произведения лиц, активно на местах поддерживавших белое движение и честно работавших в нем. Д. С. Пасманик так же отчетливо, как и И. О. Левин, видит внутренний кризис еврейства, связанный с большевизмом. Ссылаясь на свою книгу «Русская революция и еврейство», он подчеркивает:

«Уже в самом начале появления большевизма я заявил: духовный разгром иудаизма большевиками куда опаснее для русского еврейства, чем все погромы. Тогда меня один правове- рный

кафет — еврей обозвал антисемитом, желающим обелить белое движение. С тех пор прошло три года. Действительность превзошла все мои предсказания: все молодое поколение русского еврейства духовно вымирает, все основы национально-еврейской культуры расшатаны, все святыни наши втоптаны в грязь. Будем же правдивы: вся эта разрушительная работа произведена руками не Калинина, Ленина и Рыкова, а разных еврейских коммунистов из пресловутой евсекции. Сколько бы ни боролись большевики с православием, они русского национального духа и творчества, русской культуры и цивилизации не уничтожат, ибо в л а с т ь з е м л и русской преодолееет все махинации неистовствующих «госполитов» и «комсомолов». Но с уничтожением иудаизма как религии и национальной традиции еврейство исчезнет бесследно, как исчезало еврейство Александрии и оставшееся в Испании после декрета 1422 г. Большевистское марранство не менее трагично, чем католическое марранство». (стр. 214).

Государственной мудростью проникнута статья подлинного консерватора еврея В. С. Манделя «Консервативные и разрушительные элементы в еврействе». Автор сурово критикует поведение евреев «за время критического для России царствования Императора Николая».

«Если не считать незначительных групп интеллигенции и полу-интеллигенции, решивших, что если все народы имеют свои социалистические партии, то не подобает и еврейскому народу оставаться без таковых, а потому при почти полном отсутствии у евреев пролетариата создавших якобы национально-еврейский «Бунд» для России и, не ограничиваясь этим, уже и будущие социалистические партии для зримого еще только в мечтах Сиона, то русско-еврейский народ в громадном своем большинстве интересовался политикой лишь постольку, поскольку это касалось его равноправия. Сами русские евреи нередко в шутку говорили, что у них даже землетрясение вызывает только один вопрос: «а как это отразится на черте оседлости?» Это всепоглощающее значение вопроса о равноправии имело пагубное последствие. Так как равноправие могло прийти, судя по всему, лишь с падением самодержавия и установлением демократического строя, то русские евреи стали конституционалистами и демократами, и еврейские общественно-политические деятели (насколько таковые могли, при отсутствии правильной организации, представлять еврейский народ) признали руководящим началом, что евреям не подобает сидеть правее «кадет», и сами садились, кто с кадетами,

а кто и с так называемыми трудовиками. Русское правительство, вследствие этого, окончательно зачислило еврейский народ во враги отечества. Но это было еще с полгоря — хуже того было, что многие еврейские политики зачисляли и самих себя в такие враги, ожесточив свои сердца и перестав различать между «правительством» и отечеством — Россией. В этом отношении грешила и наиболее организованная и влиятельная еврейская народная партия сионистов. Сионисты, отлично знавшие, что даже при осуществлении Сиона русские евреи в своей массе не могут покинуть России, стали по меньшей мере равнодушными к судьбам последней. И они, и другие еврейские националисты под влиянием лжедемократического лозунга «самоопределение народностей» не уразумели, что для единого еврейства распад России на отдельные национальные самоопределяющиеся государства представляется национальным бедствием. И мы видим в наступившие для России критические дни с одной стороны — еврейских националистов разных оттенков, спорящих о том, какому языку отдать преимущество: древне-еврейскому или народному (идиш), и с другой стороны еврейских политиков, говорящих от имени «украинских» и всяких других евреев, но не видим русско-еврейских патриотов. Когда народ — любой национальности — живет в определенном государстве, он поневоле делит благоденствие и невзгоды последнего. Когда этот народ, как еврейский, не может стремиться к отделению территории, на которой он живет, от целого, то его счастье и благоденствие связаны с этой страной на веки вечные, и эта страна не только есть, но и должна быть ему отечеством. Евреи в других странах, невзирая на то, что они сионисты и т. д., не перестают чувствовать себя сынами Германии, Америки, Англии и пр., и русские евреи, невзирая на все притеснения, которые им чинились в России, не должны были утратить сознания, что они русские граждане и что им надлежит быть русскими патриотами в том смысле, как это понимает сам русский народ или громадное его большинство. Справедливость должна была подсказать евреям также, что они в России видели не одно зло. Хотя и медленно, однако, благосостояние их увеличивалось. Культура, и даже национальная культура, росла. Они заняли весьма выдающееся положение в экономической жизни страны: первые строители железных дорог были евреи, в учреждениях частных банков играли большую роль — евреи, в интеллигентских профессиях они заняли подобающее место. Сама пресловутая черта оседлости не мешала тому, чтобы значительные части еврейства все бо-

лее и более просачивались в коренную Россию. И эти отслойки еврейства в конце концов поневоле приводили правительство к необходимости узаконять фактическое положение дела. Наконец со времени учреждения Государственной Думы русское еврейство получило и некоторые политические права. Были надежды, что и самое равноправие с течением времени не замедлит прийти — для этого вовсе не нужно было разрушения русской государственности. Поэтому указанное выше равнодушие еврейских масс и еврейских лидеров к судьбам Великой России было роковой политической ошибкой. Это осознано теперь и русскими сионистами, которые при строительстве Сиона лишились поддержки самой ценной для них части мирового еврейства — евреев Великой России». (стр. 201-203).

Проблема еврейства таким образом расширяется в всеобщую (универсально-историческую) проблему консерватизма (традиционализма) и радикализма. Еврейство, став или становясь ферментом мирового радикализма, само себя разлагает как духовно-культурную силу. Весьма знаменательно, что это духовное самоубийство еврейства не только не устранило нигде т. н. «расового» антисемитизма, но, наоборот, везде дало ему новую пищу, новый пафос, некоторое эмоциональное и идейное оправдание. В пресловутых «Протоколах сионских мудрецов», которые суть в буквальном смысле слова с о ч и н е н и е на основании предвзятой идеи и при помощи набранных отовсюду фактов, фактическая сторона есть просто в ы м ы с е л, не заслуживающий никакого опровержения. Но как социально-психическое явление, интересно и важно не это измышление, чистейший вид литературного «вымысла» (fiction, как говорят англичане), а вера в него и сочувствие к его обличительному смыслу, который вовсе не связан с каким-нибудь внешним фактическим составом. Поэтому так бессильны и бесплодны — в смысле оздоровления и просвещения — все фактические опровержения «Протоколов». И поэтому же так значительно, просветительно и оздоровительно для всех то осмысливание еврейской проблемы изнутри, которое дают нам авторы сборника «Россия и Евреи». Самый вопрос рассматривается тут с такой глубиной и подымается на такую трагическую высоту, которые действуют п р о с в е т и т е л ь н о и п р и м и р и т е л ь н о в лучшем смысле слова.

Сборник «Россия и Евреи» не только замечательная книга, но и нравственное деяние и гражданское действие, которое должно быть записано на страницы истории не только еврейской, но

и русской общественности. Книга эта обращается прежде всего к «евреям всех стран», убеждая их, «что и для евреев, как и для всех населяющих Россию племен, большевики есть наибольшее из возможных зол», для борьбы с которым надлежит «мобилизовать оврейское общественное мнение всех стран». Но сборник «Россия и Евреи» есть книга, нужная и для русского общественного мнения. Необходимо, чтобы русские люди вдумались в еврейскую проблему, не пробавляясь глупыми шаблонами «расового» антисемитизма и традиционными тривиальностями ходячего гуманизма, который не видит ни проблемы, ни трагедии еврейства.

Наконец, книгу эту надо перевести на важнейшие иностранные языки. Западная Европа и Северная Америка должны услышать этот мужественный голос русских евреев-патриотов, возвысившихся над плачевным безмыслием множества своих единоверцев.

Философия

К 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Н. А. БЕРДЯЕВА

Н. ЛОССКИЙ

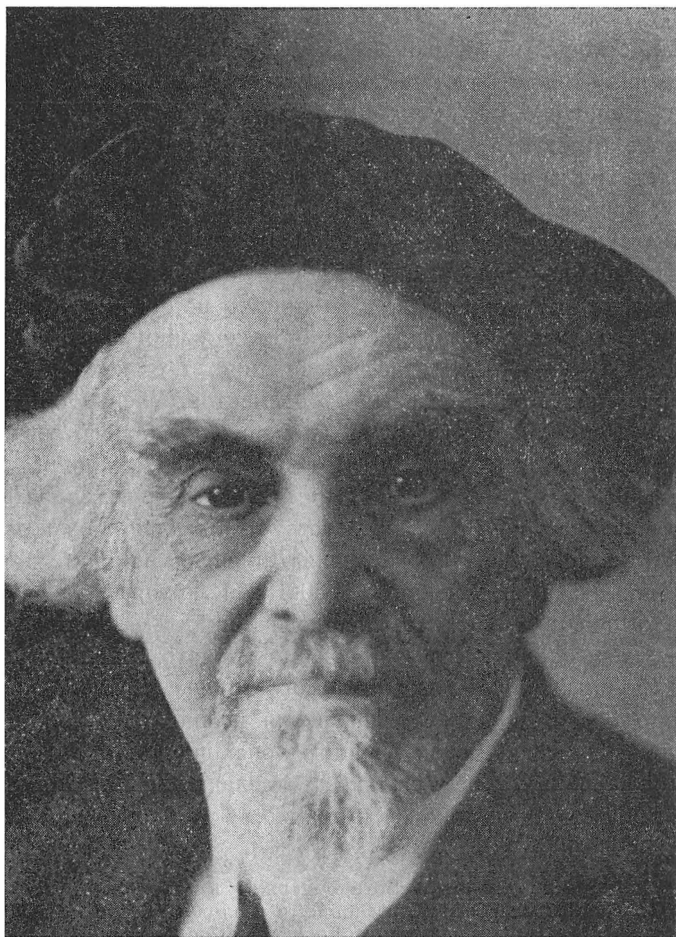
ФИЛОСОФИЯ Н. БЕРДЯЕВА*

Николай Александрович Бердяев, самый известный современный русский философ, родился в 1874 в Киевской губернии. Он был студентом юридического факультета Киевского университета, но курса его не окончил, так как в 1898 г. был арестован за участие в социалистическом движении. В молодости он хотел сочетать марксизм с неокантианством, но вскоре освободился и от того и от другого, заинтересовался философией Вл. Соловьева и затем начал самостоятельно разрабатывать христианское миропонимание. Подобный процесс происходил и в душе Сергея Николаевича Булгакова, который в 1901 г. был профессором политической экономии в Киевском Политехническом Институте, в 1918 г. стал священником и в 1925 г. профессором догматического богословия в Православном Институте в Париже. В 1903 г. Бердяев и Булгаков приехали в Петербург с целью основать журнал «Вопросы жизни». Они обратились ко мне, как лицу, наименее политически скомпрометированному, с просьбой, чтобы я выхлопотал у правительства на свое имя разрешение издавать журнал, что и было исполнено мною. К сожалению, журнал просуществовал только один год. В 1922 г. советское правительство арестовало более ста профессоров и писателей, обвиняя их в том, что они не согласны с его идеологией, и выслало их из России. Из числа философов в этой группе были Бердяев, Булгаков, И. Ильин, Лапшин, С. Франк, Карсавин и я. Сначала Бердяев поселился в Берлине, а потом в Париже, где работал главным образом при YMCA. С 1926 г. до конца 1939 под его редакцией печатался религиозно-философский журнал «Путь». Умер Н. А. внезапно, работая у письменного стола, 24 мая 1948 г.

* Глава из неизданной по-русски «Истории русской философии». Печатается с незначительными сокращениями.

Основная противоположность, из которой следует исходить, строя учение о мире, есть, согласно Бердяеву, не психическое и физическое, а дух и природа. Дух есть субъект, жизнь, свобода, творческая активность, огненность; природа есть объект, вещь, необходимость, детерминированность, пассивное претерпевание, оцепенелость. К области природы принадлежит все объективно-предметное, субстанциональное (под субстанцией Бердяев разумеет неизменное, замкнутое в себе бытие), разделенное в пространстве и времени, множественное; не только материю, также и душевное бытие Бердяев относит к области природы. Иной характер имеет область духа: в ней разделение преодолено любовью; поэтому дух не есть ни объективно-предметное, ни субъективное бытие (Филос. своб. духа, гл. I). Поэтому знание о духе осуществляется не в рациональных понятиях, не в логическом мышлении, а в живом опыте. Все философские системы, основанные не на духовном опыте, имеют натуралистический характер: они суть выражение мертвой природы.

Бог есть дух. Он реально присутствует, говорит Бердяев, в жизни святых людей, мистиков, людей высшей духовной жизни, в творческой деятельности человека. Поэтому, у кого есть духовный опыт, тому не нужно никаких рациональных доказательств бытия Бога. В глубине своей Божество иррационально и сверхрационально; попытки выразить его в понятиях необходимо антинормичны, т. е. истину о Боге приходится выражать в парах суждений, противоречащих друг другу. В природном бытии Божество не вмещается и может раскрываться лишь символически. Символ в религиозной философии необходимо связан с мифом. Таков миф о Прометее, о грехопадении Адама и Евы, миф об Искуплении и Искупителе. Это учение о символизме религиозных истин не следует смешивать с религиозным модернизмом, который видит в символе лишь субъективное выражение глубинного, подлинного бытия. Символы, о которых говорит Бердяев, суть **само реальное природное бытие, взятое в связи с его сверхприродным смыслом**. Поэтому рождение Богочеловека от Девы Марии, жизнь Его в Палестине и крестная смерть на Голгофе суть подлинные исторические факты и вместе с тем символы. Таким образом символизм Бердяева не есть докетизм; он не ведет к иконоборчеству и к разложению христианства. Это есть **реальный символизм**. Такие события, как рождение Богочеловека от Девы Марии и крестная смерть Его, Бердяев называет символами потому, что они служат выражением в земном бытии таких отношений между духом и не-



Николай Александрович Бердяев
(1874-1948)

духовным началом, которые существуют в еще более глубокой и первичной форме в области самого Божества.

Свое мировоззрение, тесно связывающее духовное бытие человека с Божественною духовностью, Бердяев противопоставляет и дуалистическому теизму и пантеизму, считая оба эти направления порождениями натуралистической религиозной философии. Как он мыслит отношение между миром и Богом, обнаруживается более или менее отчетливо в связи с его учением о свободе. Бердяев различает три вида свободы: первичную иррациональную свободу, т. е. произвол; разумную свободу, т. е. исполнение нравственного долга; наконец, в третьих, свободу, проникнутую любовью к Богу. Иррациональная свобода человека коренится в том «ничто», из которого Бог сотворил мир. Это «ничто» не есть пустота; это — первичный принцип, предшествующий Богу и миру, но не содержащий в себе еще никакой дифференциации, т. е. никакого различия на множество определенных элементов. Учение о нем Бердяев заимствует у Якова Беме (немецкий философ, живший в 1575-1624), который назвал этот первичный принцип словом *Ungrund* (безосновное, бездна). По мнению Бердяева, понятие *Ungrund* в философии Беме соответствует понятию «Божественного Ничто» в отрицательном богословии Дионисия Ареопагита, а также учению Мейстера Экхарта (1260-1327), который различал понятия *Gottheit* и *Gott*, т. е. Божество и Бог *.

Бердяев говорит: «Из Божественного Ничто, из *Ungrund* рождается Святая Троица, рождается Бог-Творец». Далее, Бог троичный творит мир. «С этой точки зрения можно признать, что свобода не сотворена Богом-Творцом, она вкоренена в Ничто в *Ungrund* первично и безначально». «Различие между Богом-Творцом и свободой — ничто уже вторично, — в изначальной тайне, в

* Христианское учение о Боге содержит в себе два отдела: отрицательное (апофатическое) богословие и положительное (катафатическое) богословие. В отрицательном богословии, опирающемся на творения Дионисия Ареопагита, все понятия, заимствованные из области мирового бытия, отрицаются в отношении к Богу: Бог не есть личность, не есть разум, не есть бытие и т. д. В этом смысле Бог есть «Божественное Ничто». Но это «Ничто» есть «Сверхчто»: Бог есть Сверхличное, Сверхбытийственное и т. д. начало. Положительное богословие говорит о Боге, что Он есть Личность, Дух, Любовь и т. д. Трудная задача христианского учения состоит в том, чтобы показать, что отрицательное и положительное богословие не противоречат друг другу, а, строго говоря, совпадают. Например, Бог, будучи единым по существу, троичен в Лицах. Отсюда ясно, что понятие личности, применяемое к Богу, не тождественно понятию тварной личности и употребляется в богословии лишь по «анalogии».

Божественном Ничто это различие снимается, ибо из *Ungrund* раскрывается Бог, из него же раскрывается и свобода. Но с Бога-Творца снимается ответственность за свободу, породившую зло. Человек есть дитя Божье и дитя свободы, — ничто небытия, меона. Свобода ничто согласилась на Божье творение, небытие свободно согласилось на бытие» (Назн. чел., 29). Отсюда следует, что Бог не властен над свободой, не сотворенною Им: «Бог всемогущ над бытием, но не над ничто, не над свободой» (Фил. своб. духа, I, 233). Эта свобода предшествует добру и злу, она есть условие возможности добра и зла. Поступки существа, обладающего свободой воли, не могут быть предусмотрены даже и Господом Богом, согласно учению Бердяева, так как они вполне свободны.

К отрицанию всемогущества и всеведения Божия и к утверждению, что творение мира есть не творение воли мировых существ, а содействие тому, чтобы воля их, возникшая из *Ungrund*, могла стать доброю, Бердяев пришел вследствие своего убеждения в том, что свобода не может быть тварною, и что Бог был бы виновником мирового зла, если допустить творение Им свободы человека; тогда, думает Бердяев, была бы невозможна теодицея.

Зло возникает в том случае, когда иррациональная свобода ведет к нарушению Божественной иерархии бытия, к отпадению от Бога вследствие гордыни духа, желающего поставить себя на место Бога. Отсюда возникает распад, материальное и вообще природное бытие и рабство вместо свободы. Но в конечном итоге «происхождение зла остается наиболее таинственным и необъяснимым» (Опыт. эсх. мет., 127).

Вторая свобода, именно, разумная свобода, состоящая в подчинении нравственному закону, ведет к принудительной добродетели, т. е. опять к рабству. Выход из этой трагедии может быть только трагический и сверхприродный. Миф о грехопадении рассказывает о «бессилии Творца предотвратить зло, возникающее из несотворенной Им свободы. И вот возникает второй акт Божьего отношения к миру и человеку. Бог является не в аспекте Творца, творческой силы, а в аспекте Исккупителя и Спасителя, в аспекте Бога, страдающего и на себя принимающего грехи мира. Бог в аспекте Бога-Сына нисходит в бездну, в *Ungrund*, в глубину свободы, из которой рождается зло, но из которой исходит и всякое добро». Бог-Сын «являет себя не в силе, а в жертве. Божественная жертва, Божественное самораспятие должно победить злую свободу ничто, победить, не насилуя ее, не лишая тварь свободы, а лишь просветляя ее» (Назн. чел., 30).

Это учение, говорит Бердяев, не есть пантеизм. «В пантеизме есть доля истины; это и есть истина апофатической теологии. Но ложь пантеизма в том, что он рационализирует тайну и переводит истину апофатической теологии на язык теологии катафатической» (Назв. чел., 30; Дух и реал., 123).

Особенно много внимания уделяет Бердяев вопросу о личности. Личность есть категория духа, а не природы, говорит он. Личность не есть часть какого-либо целого: она не есть часть общества, наоборот, общество есть часть личности, только сторона личности; также она не есть часть космоса, наоборот, космос есть часть личности человека. Личность не есть субстанция, она есть творческий акт, она неизменна в изменении. В личности целое предшествует части. Будучи духом, личность не самодостаточна, не эгоцентрична, она выходит в иное, в «ты» и осуществляет универсальное содержание, которое есть нечто конкретное, отличное от абстрактного общего. Подсознательная стихийная основа личности человека есть нечто космически теллурическое. Реализация личности человека ведет от бессознательного через сознание к сверхсознанию. Тело человека, как вечная сторона личности, есть не физико-химический состав его, а только «форма»; оно должно быть подчинено духу. Телесная смерть необходима для осуществления полноты жизни; эта полнота жизни предполагает воскресение в совершенном теле. Пол есть половинчатость; цельная личность не имеет пола, она андрогинна. Творческая деятельность человека есть дополнение Божественной жизни; следовательно, она имеет не только антропологическое, но и теогоническое значение. Существует вечное человечество в Боже и это значит, что существует также Божественность в человеке (все эти мысли в статье «Проблема человека», Путь, 1936, № 50, стр. 12-26).

Вследствие отпадения от Бога сущность человека искажена: личности, отделенные от Бога и друг от друга, не видят духовной экзистенциальности других личностей, не имеют непосредственного опыта духовной жизни; они страдают болезнью уединения. Вместо непосредственного опыта, открывающего жизнь экзистенциального я, субъекта, искаженный разум вырабатывает, согласно учению Бердяева, познание о мире в форме **объективации**. Этот процесс состоит в том, что свои субъективные ощущения человек экстериоризирует, проецирует вовне и строит из них предмет, как **объект**, который противостоит ему, образует систему внешней реальности, принудительно воздействует на него и поработачивает его себе. Такая система мира, созданная объективацией, есть природа,

как нечто противоположное духу: она есть мир явлений, **феноменов**, тогда как подлинная, основная реальность есть дух, мир **ноуменальный**, т. е. познаваемый путем непосредственного духовного опыта, а не путем объективации *.

Бердяев высоко ценит заслугу Канта, который различил понятие феноменального и ноуменального мира, но считает ошибочною его мысль, что ноуменальный мир непознаваем, и видит недостаток его философии в том, что он не объяснил, почему человек пользуется знанием в форме объективации. Бердяев объясняет возникновение этого способа познания, как следствие греха отпадения от Бога, которое ведет за собою также и разъединение личностей в отношении друг к другу.

Существует ли природа, состоящая из объектов, только в уме человека, как это думал Кант, или она есть особая область мира, порожденная грехом? Бердяев говорит: «Субъект — создание Бога, объект же есть создание субъекта» (Опыт эсхатологической метафизики, 24). Из этого однако вовсе не следует, будто он вместе с Кантом считает природу, познаваемую естествознанием, только системою представлений человека. Понять философию Бердяева можно, бишь отдав себе отчет в том, что согласно его учению грех ведет не только к познанию путем объективации, но и действительно создает природу, как низшую область бытия. «Зло», говорит Бердяев, «порождает мир необходимости, скованности, в котором все подчинено каузальным отношениям» (Дух и реал., 100). «Если мир находится в состоянии падшести, то вина лежит не в познании этого мира, как хотел, напр., Л. Шестов, — вина лежит в глубине существования мира». «Скорее всего можно себе представить это как прохождение ноуменальных субъектов-существ через расщепление, раздвоение, отчуждение» (Опыт эсх. мет., 68). «Ошибочно думать, что объективация происходит лишь в сфере познания, она прежде всего происходит в бытии, в самой действительности. Ее производит субъект, не только как познающий, но и как существующий. Падение в объектный мир произошло в самой первожизни. Но это привело к тому, что действительно признают лишь вторичное, рационализированное, объективированное и сомневаются в реальности первичного, не объективированного, не рационализированного» (77).

* В русской и западно-европейской литературе очень часто употребляется слово "номен", что не точно: по-гречески это слово пишется νοομενον и потому надо произносить его "ноумен".

Природа как система «объектных отношений» имеет следующий характер: «1. отчужденность объекта от субъекта; 2. поглощенность неповторимо-индивидуального, личного общим, безлично-универсальным; 3. господство необходимости, детерминации извне, подавление и **заккрытие** свободы; 4. приспособление к массовости мира и истории, к среднему человеку, социализация человека и его мнений, уничтожающая оригинальность» (63). Жизнь в этом объектном мире совершается в таком времени, которое расщеплено на прошлое и будущее; она ведет к смерти. Вместо экзистенции, т. е. «существования», как творческой неповторимо индивидуальной активности духа, мы находим в природе лишь **законосообразное** «бытие». Выработка общих понятий об этом однообразно повторяющемся бытии служит средством общения между отъединенными друг от друга я, создающими социальные учреждения; но в этой социальности, которая подчинена условным правилам, субъект остается одиноким. К счастью, однако, «в экзистенциальной глубине» человек сохраняет все же общение «с духовным миром и со всем космосом» (Опыт эсх. мет., 61). Человек есть «существо двойственное, живущее в феноменальном и ноуменальном мире» (79). Поэтому «возможен прорыв ноуменов в феномены, мира невидимого в мир видимый, мира свободы в мир необходимости» (67). Эта победа духа над природою достигается путем симпатии и любви, преодолевающей одиночество посредством общения я и ты в духовном непосредственном опыте, имеющем характер не объективации, а **интуиции**. Это познание есть брак на основе любви. Брак невозможен в отношении к общему, к объекту; брак возможен только в отношении я к ты (Я и мир об., 109); духовное познание есть встреча двух субъектов в мистическом опыте, в котором «все во мне и я во всем» (148, 115). Такое непосредственное духовное общение Бердяев обозначает термином «коммунотарность». Оно создает единство на основе любви. Любовь есть свободное проявление духа. Следовательно, это единство — соборное, если обозначать этим словом понятие, выработанное Хомяковым. «Свободный дух есть дух соборный, а не индивидуалистически изолированный», говорит Бердяев (Опыт эсх. мет., 21).

Возрождение искаженного грехом человека есть освобождение его от природы, созданной процессом объективации, преодоление рабства и смерти, реализация личности, как духа, как экзистенции, которая не может быть объектом и не может быть выражена в общих понятиях. Поэтому Бердяев называет свою систему

экзистенциальной или персоналистической философией. Но подлинный экзистенциализм он находит не у Гейдеггера или Ясперса, а у св. Августина, который выдвинул на первый план идею субъекта.

Общество, нация, государство не суть, согласно Бердяеву, личности. Личность человека есть ценность, более высокая, чем общество, нация, государство. Поэтому человек имеет право и обязанность защищать духовную свободу против государства и общества. В жизни государства, нации и общества мы часто встречаемся с темной, демонической стихией, которая стремится подчинить себе личность человека и низвести её на уровень лишь своего орудия (Я и мир об., 162). В социальной жизни совесть человека искажена процессом объективации и условными правилами. Только в личности и посредством личности может проявиться чистая, оригинальная совесть, и все должно быть подчинено суду этой совести, которая не была искажена объективацией. Эта совесть экзистенциальна.

Этика Бердяева посвящена борьбе против несовершенного добра, выработанного в социальной жизни на основе объективации. Он изложил ее в книге «О назначении человека» и назвал свое учение «Опытом парадоксальной этики». Эпиграфом к своей замечательной книге Бердяев взял слова Гоголя: «грусть от того, что не видишь добра в добре». Всем содержанием своей этики Бердяев дерзновенно раскрывает печальную истину, что «в добре и добрых очень мало добра и от того со всех сторон уготовляется ад» (203). Основной парадокс этики Бердяева заключается в том, что согласно его учению само различие добра и зла и возникновение оценок есть уже следствие падения, которое есть «обнаружение и испытание свободы человека», ведущее к раскрытию «творческого призвания человека» (306). Опыт добра и зла возникает, когда иррациональная свобода ведет к отпадению от Бога: вслед за этим «мир идет от первоначального неразличения добра и зла через резкое различие добра и зла к окончательному неразличению добра и зла, обогащенному всем опытом различения» (40), к Богу и раю в Боге, стоящем «по ту сторону добра и зла», пребывающем в Сверхдobre (314). С этой точки зрения основной парадокс этики таков: «Плохо, что возникло различие между добром и злом, но хорошо делать это различие, когда оно возникло; плохо, что пережит опыт зла, но хорошо, что мы познаем добро и зло, когда опыт зла пережит» (42).

Этику, которая видит только среднюю часть этого пути, т. е. только различие добра и зла, Бердяев называет этикою закона. Исследуя законническую этику и законническое христианство, Бердяев показывает, что они приспосабливаются к требованиям социальной обыденности; поэтому они содержат в себе условности и ведут к тирании и лицемерию. Правила этой обыденной морали Бердяев задается целью оценить, исходя из «чистой совести», а не из временных потребностей человечества. Подобно «Критике чистого разума» Канта, он хочет создать «Критику чистой совести». Пользуясь исследованиями школы Фрейда, Бердяев изобличает садизм законничества и мутные подсознательные источники требовательности многих поборников «добра»; напр., всякий фанатизм, заботу о «дальнем» без внимания к «ближним» он выводит из недостатка подлинной любви, именно любви к индивидуальной живой личности, и подменой ее любовью к отвлеченным теориям, программам и т. п., поддерживаемой гордынею их творцов и защитников.

Бердяев вовсе не предлагает отменить этику закона или правовые формы общественной жизни. Он только требует терпимости в борьбе со злом и указывает на более высокую ступень нравственного сознания, чем законническая этика. Эта более высокая ступень выражается в этике искупления и этике любви к Богу: в основе ее лежит нисхождение в мир Богочеловека, взятие Им на себя страданий из любви к падшим. Это нисхождение Бога Бердяев изображает, как трагедию любви Бога ко всем существам. Он утверждает, как уже было сказано, что мировое бытие, поскольку в нем есть иррациональная свобода, не сотворено Богом: оно укоренено в независящем от Бога *Ungrund*, в потенции, которая есть основа вместе и Бога, и мира. В Боге эта иррациональная свобода от века преодолена; в мире она не преодолена, она ввергает мир в пропасть зла и придает историческому процессу трагический характер. Богу мировая иррациональная свобода не подчинена. Поэтому любовь Божия к мировым существам неизбежно приобретает также трагический характер: Сын Божий может оказать помощь миру не иначе, как вступая лично в мировую трагедию, чтобы изнутри мира осуществить единство свободы и любви, ведущее к преображению и обожению мира. В книге «Философия свободного духа» особенно подчеркнут этот характер отношения Бога к миру: осуществление победы Логоса над тьмою, над «ничто» возможно лишь в том случае, если «Божественная жизнь есть трагедия» (1, 240). «Сам Бог изначально хочет страдать с миром»

251 с.). Явление Христа и искупление есть «продолжение миротворения», «восьмой день творения», «процесс космогонический и антропогонический» (254). Преображение и обожение возможно не иначе, как путем поднятия на третью ступень свободы, которая проникнута любовью к Богу. Отсюда ясно, что преобразование и обожение не может быть произведено насильственно: оно предполагает **свободную** любовь человека к Богу. Поэтому христианство есть религия свободы. Во всех своих произведениях Бердяев неустанно и пылко проповедует свободу человека в делах веры. Особенно главы VI-X «Философии свободного духа» посвящены теме свободы и свободного творчества, которого Бог ждет от человека, как от своего друга. Церковь, говорит Бердяев, должна дать религиозную санкцию не только святости, ищущей личного спасения души, но и гению поэтов, художников, философов, ученых, реформаторов, посвящающих себя творчеству во имя Божие (р. 230 II, 60 сс.). «Спасение души есть еще дума о себе», «творчество же по внутреннему своему смыслу есть дума о Боге, об истине, о красоте, о высшей жизни духа» (64). Также в книге «О назначении человека» Бердяев говорит не только об этике искупления, но и об этике творчества, как пути к царству Божию.

Социальная жизнь, говорит Бердяев, есть организация, основанная в большей степени на лжи, чем на истине. Чистая истина часто не безопасна, разрушительна; она ведет к взрыву, к суду над миром и к концу мира. Чистая истина экзистенциальна, а в общественной жизни мы пользуемся познанием посредством объективации, которое вырабатывает истину, утратившую экзистенциальность, но приспособленную к потребностям миллионов людей (Дух и реальность, 57). В государстве и в Церкви, как социальном учреждении, мы часто встречаемся не с экзистенциальной духовною реальностью, а с условными символами: «царь — символ, генерал — символ, папа, митрополит, епископ — символы, всякий иерархический чин — символ. В отличие от этого реальные — святой, пророк, гениальный творец, социальный реформатор, реальна иерархия человеческих качеств» (59).

Царство Сверхдобра, Царство Божие проникнуто любовью ко всем существам, как святым, так и к грешникам. «Этика сверхдобра совсем не означает равнодушия к добру или злу, или снисходительности к злу. Она требует не меньшего, а большего»; она имеет в виду «освобождение и просветление злых» (О назн. чел. 1, 314). Поэтому подлинное нравственное сознание не может успокоиться, пока существуют, злые, терзаемые адскими муками. «Нравствен-

ное сознание», говорит Бердяев, «началось с Божьего вопроса: Каин, где брат твой Авель? Оно кончится другим Божиим вопросом: Авель, где брат твой Каин?» (О назн. чел., 297). «Рай для меня возможен, если не будет вечного ада ни для одного живущего и жившего существа. Спасаться в одиночку в изоляции нельзя. Спасение может быть лишь соборным, всеобщим освобождением от муки» (Опыт эсх. мет., 205). Бердяев убежден, что можно найти пути для преображения зла и победы над адом; он верит во всеобщее восстановление, апокатастасис. В особенности развитие творческой деятельности он считает путем, ведущим к сочетанию свободы и любви.

В «Философии свободного духа» есть глава «Теософия и гнозис». В ней Бердяев дает уничтожающую критику современной «теософии»: у нее нет Бога, есть только божественное, нет свободы, нет понимания зла; она есть вид натуралистического эволюционизма. Но она соблазняет своим мнимым гнозисом, мнимым знанием Божественного мира. Церковь должна противопоставить ему подлинный гнозис; она должна освободиться от антигностицизма, который стал в известном смысле агностицизмом (141 с.). На пути древнего гностицизма Церковь опасалась магии; но наше время, прошедшее через опыт всевозможных соблазнов, не может быть защищено от них искусственными ограждениями. «В истории христианства» говорит Бердяев, «безмерно злоупотребили методом охраны малых сих от соблазнов» (168), и призывает на путь свободного творческого развития духа человеческого во имя Божие.

В тесной связи с религиозною философией Бердяев вырабатывает свои социальные учения. Многие труды его посвящены отчасти философии истории, отчасти философской публицистике. Таковы, напр., «Смысл истории», «Философия неравенства», «Новое средневековье». Исторический процесс, согласно Бердяеву, есть драма борьбы добра с иррациональною свободою зла, «драма любви и драма свободы, разыгрывающаяся между Богом и Его Другим, которого Бог любит и жаждет взаимности» (Смысл ист., 65, 70). «Мессианизм есть основная тема истории — истинный или ложный, открытый или прикрытый» (Опыт эсх. мет., 174). «Заслуга открытия этой истины принадлежит еврейскому народу». В истории мира действуют три силы — Бог, рок и свобода человека. И потому так сложна история». «Рок превращает личность человека в игральные иррациональных сил истории». «В известные времена своей истории народы особенно попадают власти рока, ослабляется действие свободы человека и переживается богоостав-

ленность. Это очень чувствуется в судьбе русского народа, в судьбе германского народа». «Христианство признает победимость рока. Но рок победим лишь во Христе» (182).

Где побеждает иррациональная свобода, там начинается распад бытия, возвращение его к первичному хаосу, изображенное наиболее ярко Достоевским, особенно в его романе «Бесы» (см. книгу Бердяева «Миросозерцание Достоевского», одно из лучших произведений его). В общественной жизни революции есть крайнее выражение возврата к хаосу. Много ценных мыслей о сущности революции и о характере вождей революционных движений разбросано в произведениях Бердяева. «Революции», говорит он, «предшествует процесс разложения, упадок веры, потеря в обществе и народе объединяющего духовного центра жизни». В результате народ утрачивает духовную свободу, становится «одержимым и бесноватым», руководящую роль в нем начинают играть крайние элементы, якобинцы, большевики, люди, воображающие себя свободными творцами нового будущего, а на самом деле являющиеся пассивными «медиумами безликих стихий»; своим лицом они обращены не к будущему, а к прошедшему, потому что они «рабы прошлого», прикованные к нему злобою, завистью и местью (Фил. нерав., 9 с.). Поэтому революция способна только разрушать; она никогда не бывает творческим процессом. Творчество начинается лишь в эпоху реакции после революции, когда начинается осуществление того нового, к чему народ подготовлен своим прошлым. Однако и творческие эпохи истории никогда не осуществляют поставленных ею земных целей. «Не удался ни один замысел, поставленный внутри исторического процесса» (Смысл ист., 237). В Средние века не удалась принудительная католическая и византийская теократия. Правда, заслуга этого периода заключается в том, что он закалил волю человека дисциплиною монаха или рыцаря; благодаря средневековому христианству, человек стал выше природы, была разрушена его связь с внутренней жизнью природы: для человека «умер великий Пан»; человек не только отделился от природы; в эпоху Возрождения и Гуманизма он отпал также и от Бога и в наше время «стоит под знаком отпущения на свободу творческих сил человека»; «центр тяжести из Божьей глубины переносится в чисто человеческое творчество», стремящееся усовершенствовать жизнь путем покорения природы без благодатной помощи Божией. Считая природу мертвым механизмом, человек новой эпохи стал вырабатывать позитивное естествознание и позитивную технику, поставившую

между человеком и природою машину. Эта третья сила облегчает борьбу с природою, но вместе с тем и разлагает человека на элементы его природы; поэтому он начинает утрачивать свой индивидуальный образ, обезличивается и подчиняется «искусственной природе, которую сам вызвал к жизни» (189). Таким образом эпоха крайнего индивидуализма заканчивается утратою индивидуальности, безрелигиозный гуманизм приводит к дегуманизации человека. Такого конца и следовало ожидать, потому что человек, оторвавшийся от высшего начала, переставший утверждать в себе образ Божий, обречен на рабство низшим началам. Теперь на очереди стоит новое закрепощение человека; оно подготавливается учениями социализма, который подменяет подлинную соборность, основанную на любви и на религиозном преображении всей твари, лжесоборностью, основанною на принудительном служении личности коллективу ради удовлетворения материальных потребностей.

В социалистическом идеале Бердяев охотно отмечает ценные стороны. Он защищает особый вид социализма, который называет **пресоналистическим**, утверждая, что социализация хозяйства полезна лишь при условии «признания верховной ценности личности человека и ее права на достижение полноты жизни» («Проблема человека», Путь, 1936, № 50). Но Бердяев утверждает, что и «социализм в опыте осуществления своего будет совсем не тем, к чему социалисты стремятся. Он вскроет новые внутренние противоречия человеческой жизни», «он никогда не осуществит того освобождения человеческого труда, которого Маркс хотел достигнуть связыванием труда, никогда не приведет человека к богатству, не осуществит равенства, а создаст лишь новую вражду между людьми, новую разобщенность и новые неслыханные формы гнета» (Смысл ист., 238). Устранением нужды и голода «не решается проблема духовная»; человек по-прежнему будет «стоять перед тайною смерти, вечности, любви, познания, творчества. Можно даже сказать, что при более рациональном устройении социальной жизни усилится трагическое в жизни, трагический конфликт личности и общества, личности и космоса, личности и смерти, времени и вечности» (Дух и реал., 112).

Однако исторические неудачи именно и ведут к подлинным достижениям, говорит Бердяев, подобно тому, что мы находим и у Булгакова: неудачи пробуждают волю к **религиозному преобразению** жизни (См. ист. 266), к перенесению центра тяжести из разорванного времени земного бытия в вечное время Божест-

венной жизни, в которой осуществляется всеобщее воскресение, необходимое условие для выхода из нравственных противоречий земной жизни. Даже хозяйственная деятельность человека должна глубоко измениться: опираясь на «любовь к внутреннему существу природы», она должна стать силою **воскрешающего**, тогда как современная техника пребывает в царстве смерти (Фил. нерав., 210 с.). «Единственное царство, которое может удасться, есть Царство Божие» (Опыт эсх. мет., 192). Время в этом царстве не историческое, а экзистенциальное. Различие между этими двумя видами времени следующее: историческое время «символизируется линией, устремленною вперед, к грядущему, к новизне», а в экзистенциальном времени «нет различия между будущим и прошлым, концом и началом» (179). Поэтому жизнь в Царстве Божием есть не история, а **метаистория**. Смысл истории именно и находится «за пределами истории», в метаистории (181). Не следует однако думать, будто история и метаистория вполне обособлены друг от друга: «задний план метаистории все время присутствует за историей». «Метаисторическое разрывает не только космический круговорот, но и детерминизм исторического процесса, разрывает объективацию. Так, явление Иисуса Христа есть по преимуществу событие метаисторическое, оно произошло в экзистенциальном времени» (148). Точно так же всякое подлинное человеческое творчество «происходит во времени экзистенциальном» и есть дело «богочеловеческое» (157). Но реализация творческого порыва в истории, т. е. в нашем царстве объективации, всегда несовершенна, всегда заканчивается трагическою неудачею. «История мира знает одну самую страшную творческую неудачу — неудачу христианства, дела Христа в мире. История христианства была слишком часто распятием Христа» (165). Не следует однако думать, что творчество человека, искажаемое объективациею, погибает безвозвратно. Смысл личному и историческому существованию сообщает «конец, как Воскресение, в которое входят все творческие достижения существ» (199). Этот конец есть метаистория Царства Божия, в котором преодолена объективация и снята противоположность между субъектом и объектом. В нашем мире «солнце вне меня» и это «означает мою падшесть», а в преображенном мире «оно должно бы быть во мне и из меня излучаться» (95).

Путь к совершенству Царства Божия проходит личность, способная поклоняться святыне и служить ей. Такая личность воспитывается в обществе с бесконечно разнообразным содержанием,

где четко отграничены друг от друга **разнокачественные** индивидуальности в **иерархическом** соотношении друг с другом. Целую книгу «Философия неравенства» Бердяев посвятил обоснованию мысли, что эгалитарные стремления демократии, социализма, интернационализма и т. п. ведут к разрушению личности, внушены духом небытия, духом зависти, обиды и озлобления.

Преодоление всех искажений личности, происходящих в нашем царстве падших существ, достигается длительным процессом развития во многих зонах мира. «Если мы не соглашаемся принять террористического и рабьего учения о вечном аде, то должны признать предсуществование душ в ином плане до рождения на земле и путь душ после смерти в ином плане. Это значит, что неприемлемо однопланное перевоплощение, как противоречащее целостности личности и неизменности самой идеи человека, но приемлема идея многопланного перевоплощения, которое ставит судьбу человека в зависимость от существования и в ином плане, чем план объектного феноменального мира. Лейбниц правильно говорит не о метемпсихозе, а о метаморфозе (Опыт. эсх. мет., 207 с.). Окончательное освобождение от искажений объективного мира будет достигнуто «лишь в эпоху параклетизма, это будет открытие Духа» (210).

О России Бердяев писал часто и много. Он говорит, что Россия «есть великий и цельный Востоко-Запад по замыслу Божьему и она есть неудавшийся и смешанный Востоко-Запад по фактическому своему состоянию, по эмпирическому своему состоянию». Источник болезней России он находит в ложном соотношении в ней мужественного и женственного начала. На известной ступени национального развития у народов Запада, во Франции, Англии и Германии «пробуждался мужественный дух и изнутри органически оформлял народную стихию» (Фил. нерав., 16). Такого процесса не было в России, и даже православная религиозность не дала той дисциплины души, которая создавалась на Западе католичеством с его твердыми и ясными очертаниями. «Русская душа оставалась в безбрежности, она не чувствовала грани и расплывалась»; она требует всего или ничего, настроена апокалиптически или нигилистически и потому не способна строить «срединное царство культуры» (18). Соответственно этим национальным качествам также и русская мысль, по словам Бердяева, обращена преимущественно «к эсхатологической проблеме конца, окрашена апокалиптически» и проникнута катастрофическим мирозерцанием (это выражение принадлежит Эрну и кн. Е. Трубецкому).

Направленность русской души к эсхатологии и недостаток интереса к срединному царству культуры» Бердяев подробно описывает в книге «Русская идея». Высказывая эти мысли, он имеет в виду Достоевского, Вл. Соловьева, К. Леонтьева, Н. Федорова, кн. Е. Трубецкого. Сам Бердяев является одним из наиболее ярких представителей этого уклона русской мысли.

Размышляя о значении своего народа в историческом процессе, философ, даже и склонный к построению христианского мировоззрения, подпадает соблазну впасть в натурализм в смысле слишком высокой оценки его эмпирического характера. Бердяев в своей книге об «А. С. Хомякове» отмечает этот недостаток в учениях славянофилов, поскольку у них есть тенденция преклоняться перед русским народом в его природных свойствах с его исторически сложившимся реальным укладом жизни. Современная русская философия сознательно остерегается этого недостатка.

Бердяев принадлежит к той группе философов, которые стремятся выработать христианское миропонимание и творчество которых представляет собою наиболее оригинальное проявление русской философской мысли. Начато это движение более ста лет тому назад основателями славянофильства И. В. Киреевским и Хомяковым, но развилось оно в полной мере позже под влиянием Вл. Соловьева. К ней принадлежат кн. С. Н. Трубецкой, кн. Е. Н. Трубецкой, Н. Федоров, от. Павел Флоренский, от. Сергей Булгаков, Эрн, Бердяев, Карсавин, С. Л. Франк, С. А. Алексеев (Аскольдов), И. А. Ильин, В. Н. Ильин, от. Василий Зеньковский, от. Георгий Флоровский, Вышеславцев, Арсеньев, Новгородцев, Спекторский. Некоторые из этих философов, напр., от. П. Флоренский, от. С. Булгаков, Бердяев, Карсавин, Франк, выработали целые системы христианской философии. В системах есть мысли, отклоняющиеся от традиционных учений Православной и Католической Церкви. Мало того, встречаются у них и такие учения, о которых можно утверждать, что они не согласны с религиозным опытом и данными умозрения, а потому в дальнейшем развитии христианского миропонимания должны быть отвергнуты. К числу таких мыслей принадлежит учение Бердяева об *Ungrund*, как первоначальном принципе, из которого, с одной стороны, рождается Бог, а, с другой стороны, возникает воля мировых существ.

Бердяев неправ, думая, что его *Ungrund* соответствует «Божественному Ничто» Дионисия Ареопагита. В отрицательном богословии Дионисия Ареопагита «Божественное Ничто» есть во

всех отношениях «Сверхчто», столь совершенное, что оно не может быть выражено нашими понятиями. И когда Ареопагит переходит к положительному богословию, напр., понимая этот принцип, как не только сверхличный, но вместе с тем и личный, он не рационализирует его, а остается по-прежнему на почве отрицательного богословия: в самом деле, если единый Бог трехличен, то это значит, что словом личность здесь обозначено нечто лишь «аналогичное» понятию тварной личности, но не тождественное ему. Мистический опыт, превосходно охарактеризован в книге Р. Отто «*Das Heilige*», вполне подтверждает учение Дионисия Ареопагита о «Божественном Ничто», как первоначальном и притом абсолютно совершенном принципе.

Мистический опыт и умозрение не находят такого «ничто», которое существовало бы независимо от Бога и было бы использовано Им для творения мира. Тезис «Бог сотворил мир из ничего» неправильно толкуют философы и богословы, полагающие, будто какое-то «ничто» послужило для Бога материалом, из которого Он сотворил мир. Этот тезис имеет смысл, очень простой и притом гораздо более значительный: Бог творит мир, не заимствуя никаких материалов ни из Себя, ни извне Себя; Он творит мировые существа, как нечто онтологически вполне новое в сравнении с Ним. И воля тварных существ сотворена Богом. Она свободна потому, что, творя личность, Бог наделяет ее сверхкачественною творческою силою, не придавая личности никакого эмпирического характера — ни доброты, ни злобности, ни храбрости, ни трусости и т. п. Свой эмпирический характер, свою сущность (*essentia*) каждая личность свободно вырабатывает сама и стоит выше своего характера в том смысле, что остается способною свободно перерабатывать его. Сотворив нашу волю свободною, Бог никогда не насилует ее, потому что свобода есть необходимое условие достижения личностью совершенного добра, но, конечно, она вместе с тем есть и условие **возможности** зла.

Свобода воли тварных существ вполне согласима с Божьим всеведением. Бог есть существо **сверхвременное**. Поэтому Он не отдален от будущего отношением предшествования; Он познает будущее, как и прошлое или настоящее, не путем умозаключений, а путем непосредственного восприятия, путем созерцания. На это указал уже в VI в. по Р. Хр. философ Боэций.

В течение многих лет наших добрых отношений с Бердяевым теория знания была предметом наших споров. Бердяев утверждает, что существует два вида знания: интуиция в отношении к духов-

ному бытию и объективация в отношении к природе. Я же утверждаю, что и высшая, и низшая область мира одинаково познается путем интуиции, т. е. путем непосредственного созерцания (см., напр., мою книгу «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция»).

Как уже сказано, учение об Ungrund и о несотворенности воли мировых существ Богом не может быть принято в состав христианской философии. Из этого, однако, вовсе не следует, что и остальные части системы Бердяева должны быть отвергнуты. Главное содержание его творчества остается и после этого незатронутым. В самом деле, важнейшая тема христианской философии есть учение об абсолютном добре, осуществимом лишь в Царстве Божием, и о несовершенствах нашего царства греха. Величайшая заслуга Бердяева состоит в том, что он весьма оригинально показывает, как «мало добра в нашем добре» в нашей индивидуальной, социальной и даже церковной жизни. Подобно Л. Толстому он смело обличает неправды нашей жизни и научает зорко подмечать их там, где мы вследствие привычки к ним не видим их. Весь исторический процесс он живо изображает, как борьбу добра и зла, конец которой осуществим лишь в метаистории. Он убедительно показывает, что должно погибнуть все земное, кроме тех лучей Царства Божия, которые прорываются в исторический процесс благодаря тому, что Богочеловек Иисус Христос не оставляет нас без своей благодатной помощи.

В высшей степени ценны указания Бердяева на садистический характер учения о невыносимых адских муках, длящихся во времени вечно и безысходно. Без учения об апокатастасисе, о спасении всех теодицея не может быть выработана. Высокою чертою философии Бердяева является защита той истины, что христианство есть религия любви, а, следовательно, терпимости и свободы. Велики также заслуги Бердяева в его критике социализма, коммунизма, буржуазного духа и в его борьбе против всякого абсолютирования относительных ценностей. Современную классовую борьбу он критикует с точки зрения христианского идеала. Что касается принципов общественной жизни, Бердяев защищает традиции западно-европейского и русского гуманизма, именно абсолютную ценность личности и неотъемлемые права ее на свободу духовной жизни и достойные условия существования. Он убедительно показывает, что эти принципы могут быть последовательно обоснованы не иначе, как в связи с христианским мировоззрением.

Есть лица, желающие быть более православными, чем само Православие, и потому считающие творчество Бердяева вредным для Церкви. Они упускают из виду, что в исторической жизни христианства, как в церковной практике, так и в традиционных богословских учениях, есть много недостатков, которые оттолкнули широкие круги общества от Церкви. Чтобы вернуть их к Церкви, нужна работа таких светских лиц, как Бердяев, которые показывают, что эти недостатки могут быть устранены без утраты основ христианской Церкви. Выражая существенные истины христианства новым языком и в своеобразных понятиях, отличных от стиля традиционного богословия, такие философы, как Бердяев, пробуждают вновь интерес к христианству в умах множества лиц, отвернувшихся от него, и могут привлечь их к Церкви. Сохранение и дальнейшее развитие культуры, защищающей абсолютное достоинство личности, получает мощную поддержку, благодаря творчеству таких философов.

Ссылки на следующие книги Н. Бердяева:

- Философия свободного духа, ч. I и II, YMCA-PRESS, 1927-28, 271 стр.
и 275 стр. (распр.)
- О назначении человека, YMCA-PRESS, 1931, 318 стр. (распр.)
- Опыт эсхатологической метафизики, YMCA-PRESS, 1947, 218 стр. (распр.)
- Дух и реальность, YMCA-PRESS, 1937, 175 стр. (распр.)
- Я и мир объектов, YMCA-PRESS, 1934, 187 стр. (распр.)
- Философия неравенства, YMCA-PRESS, 1971, (2-ое изд.) 242 стр.
- Смысл истории, YMCA-PRESS, 1974, (3-ье изд.) 269 стр.
-

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ Н. А. БЕРДЯЕВА

(сделаны Е. Ю. Рапп)

Когда отдают последнюю рубашку, в мире увеличивается количество любви, когда отнимают рубашку, в мире увеличивается количество ненависти.

Христианство должно иметь отношение не только к личной жизни человека, но и к его социальной жизни, ибо социальная жизнь охватывает отношения человека к человеку.

Благодать Христова есть благодать свободной любви, той любви и свободы, которая преодолевает и свободу зла и принудительность добра.

Современное идолотворение связано не с богами природы, а с богами истории и цивилизации.

Религиозным творчеством я называю ответное откровение человека Богу, человеческое творчество, вознесенное до религиозного смысла совершающейся божественной мистерии. В нем не Бог рождается в человеке, а человек рождается в Боге. Это творчество человека нужно Богу для завершения дела творения в свободе и любви.

Творческий акт человека не вопрос о том, что нужно Богу от человека для осуществления высшей Его идеи о человеке и мире. Это двойной процесс.



Н. А. Бердяев

На съезде Р.С.Х.Д., август 1930.

Церковь нельзя увидеть извне и понять, нельзя рационально определить. Нужно жить в церкви. Она постижима в моем опыте. Церковь не видимая вещь, эмпирическая действительность. Не в чувственном опыте раскрывается церковь, а лишь изнутри в свободе, в духовности. Она мистически пребывает за пределами внешних камней, обрядов, церковной иерархии.

Церковь не есть что-то, предметная реальность. Церковь все, вся полнота бытия, жизнь мира и человечества, но в состоянии охристовления, благодатствования. В Церкви цветы, звуки и растет трава. Церковь есть мир, как красота.

Церковь также видимая, внешне воплощенная. Она так же исторически воплощена, как исторично воплощение Христа. Ее основание в Таинствах, в жизни Святых, в иерархии, в Соборах и пр., но видимая церковь лишь частично актуализирует церковь невидимую, лишь частично, не вполне охристианизирует мир и человека. Тело Христово — космическое тело. Оно видимо явлено нам в Таинствах церкви и догматах. Догматы церкви являются лишь символическим выражением истин духовного опыта, наиболее реальных встреч человека с Богом.

Христианство явилось в мир не как статическая неподвижная истина, а как истина динамическая, развивающаяся в истории.

Мы вступаем в эпоху, когда в мире происходит перевоплощение. Тлеют старые одежды человечества, разлагается историческая плоть, мир как бы развоплощается. Развоплощение сопровождается гибелью красоты. Материализация и механизация жизни и есть развоплощение. В развоплощении действуют и злые и добрые духи.

Дух организует материю, а не наоборот.

Либерализм понял свободу не как тяготу и бремя, не как долг совершеннолетних, а как право, как легкость, как освобождение от стеснений.

Тоталитаризм есть ложно направленная религиозная потребность.

Свобода есть определяемость из глубины духа, а не общества и не собственной низшей природы. Биологически человек зависит от природы, социально от общества и лишь духовно он независим.

Социальное переустройство мира будет сопровождаться уменьением свободы. Это результат передвижения огромных масс и обращенность к материальному устроению жизни. Борьба за свободу духа будет требовать героических усилий.

После необходимого периода материализма предстоит период обостренной духовности. Но совершенный монизм можно мыслить только эсхатологически.

Я не принимаю создания нового мира на слезинке невинного ребенка, но слезинка ребенка уже пролита. Иисус Христос был распят и по моей вине. История осуществляется страшными жертвами. Бесконечно ценная личность с ее духовной свободой поставлена в этот процесс света во тьме. Она не может не принять этот процесс или уйти от него. Она должна брать на себя его муку и вносить свет.

Религиозные черты марксизма: догматичность системы, разделение на ортодоксию и ересь, Ленинизм — Сталинизм — Священное Писание, разделение мира на верующих и инако верующих, иерархическая организация, подобно церкви с папой во главе. Свобода по Марксу есть результат необходимости. Это отрицание свободы, которая связана с духовным началом. Противоречия марксизма отчасти связаны с тем, что марксизм есть не только борьба с капитализмом, но и его жертва.

Суверенитет государства, демократии, общества, народа — ложная идея. Неотъемлемые права человека более глубокий и основоположный принцип чем суверенитет народа, и тем более класса.

Когда благая цель осуществляется без благой, излучающей энергии в самых осуществляющих, то средства делаются дурными.

Марксизм есть философия благ, а не ценностей.

Ложь материализма в том, что высшее считается эпифеноменом низшего или иллюзией.

Когда вы хотите осуществить качественные ценности, красоту, справедливость, то они могут осуществиться лишь тогда, когда средства, которыми вы хотите осуществить, проникнуты этими ценностями.

Перед нами три исхода:

- 1) распадение космоса (капиталистический режим, атомная бомба). Разверзающийся хаос, не древний хаос до творения мира, а хаос созданный человеком после грехопадения, хаос рационализации.
- 2) насильственный порядок (коммунизм), предельная механизация коллектива.
- 3) внутреннее преодоление хаоса, духовное возрождение, эпоха творчества.

Церковь обращена к вечности, имеет вечные основы, но она обращена также к процессу во времени и должна иметь социальный язык, связанный с временем, иначе в ней нет человеческого элемента.

Против нового рабства коммунизма нельзя бороться скептической, формальной свободой, можно бороться лишь освобождающей истиной.

В нашу эпоху слабость христианских церквей перед чисто демоникальным движением мира означает конец целой эпохи христианства. Переход от исторического христианства, в котором Свет идет от прошлого, к христианству эсхатологическому, в котором свет будет исходить от будущего. Мы — в антракте. Для перехода к новой эпохе в христианстве нужен не уход от процессов мира и гордое возвышение над ними, а вхождение в эти процессы, активное изживание судеб мира и человека при внутренней свободе от этих процессов, недопущение рабства миру. Преодоление понимания христианства, как религии личного спасения и понимание христианства как социального и космического преображения, Царства Божьего.

Человек иной, чем в эпоху вхождения христианства в мир. У него иное отношение к проблеме самого человека, к обществу,

к космосу. Он обращен ко всей твари. Невозможна уже религиозная изоляция, невозможно индивидуальное спасение вне спасения всех моих братьев и всей твари.

История пребывает в вечности. Она начинается на земле и кончается на небе. В истории происходит борьба вечности и времени, жизни и смерти.

Отпадение от памяти, от предания есть отпадение от духа вечности и ниспадение в смертоносную временность.

Одно сохранение прошлого есть претензия оторвать прошлое от господства над ним духа вечности, один соблазн творчества есть претензия оторвать будущее от господства над ним вечности.

Совость — глубина человека, на которой он соприкасается с Богом и слышит голос Бога.

Смерть есть событие существующее извне, изнутри смерти нет, она есть лишь момент вечной жизни; отпадение от вечности во время — мистерия жизни.

Трудность вопроса об аде в том, что невозможно детерминировать спасение и невозможно детерминировать ад в сознании Божьем.

В основе христианства лежит не отвлеченная идея добра, а живое существо, личность, ее отношение к Богу и к ближнему т. е. бытие, а не норма. Существо выше отвлеченного добра.

Страшный Суд будет не судом Божьим, он не будет походить на суд человеческий, на нашу карательную справедливость, на наши казни и тюрьмы. Суд Божий стоит «по ту сторону добра и зла». Он будет обнаружением сверх-добра.

Мистика не душевное, а духовное состояние, в котором человеческая душа выходит из своей замкнутости и переходит в непосредственное соприкосновение с божественной действительностью. Мистика не субъективная романтика, а трезвое раскрытие реальностей.

Мистика предполагает тайну, т. е. невыразимую глубину. Тайна, с которой возможно общение, т. к. есть родство, общность между человеческим духом и Божественным духом.

Путь творчества есть религиозный опыт. В творческом экстазе еще большая отрешенность, чем в смирении, большая дума о Боге, чем о себе.

Не во имя свое творчество. Творчество жертвенно. Творчество не проходящее через жертву — пустота.

Наступил период, когда только в христианстве остался человек и творчество. Творчество раскрывается, как служение Богу, раскрывается, что творчество человека — соучастие в деле Божьего миротворения.

Люди разделяются на две расы: на тех, которым мучительно чувствовать зло и страдание мира, и на тех, которые к этому равнодушны.

Нельзя спастись индивидуально. Мое спасение предполагает спасение всех других, всеобщее спасение. Нельзя пользоваться раем, когда мучаются в аду.

Мир чисто интеллектуального познания есть мир фиктивный, абстрактный.

Очищение Бога от категорий, связанных с властью и силой, взятых из идеи государства. Идея Бога аналогична лишь тому, что раскрывается в духовной жизни и чистой человечности.

Бог присутствует не в имени Бога, не в магических действиях, а в природе, в красоте, в героическом акте, в любви, в согласии свидетельствовать об истине, в согласии на жертву.

Меня всегда мучили не догматические, богословские или канонические вопросы, а вопросы о страдании, зле, свободе, смысле жизни.

Моя мысль никогда не была сведением счетов с собой, борьбой со своим бессознательным, она была борьбой с врагом.

Мое основное свойство: лучше себя чувствую при активном состоянии, чем при пассивном. Сидя, лучше чем лежа.

У меня незыблемая вера в Бога. Смысл мира в Боге. Не верю в самодостаточность мира и человека. Смысл мира в Боге. Несение Креста я переживаю творчески активно.

Во мне изначальное чувство своей особенности, непохожести на других. Я лишь внешне притворялся, что такой, как другие люди. Я всегда чувствовал, что попал не в свой, а в чужой мир.

Страдание, радость, трагический конфликт — источник моего познания. Я только так познавал, не интеллектуально.

В философии я всегда стремился не к исследованию проблем, а к раскрытию смысла жизни и созданию лучшей жизни.

Самый сильный переворот в моей жизни произошел, когда я был мальчиком. Это было озарение. Мне раскрылось, что всю жизнь я должен искать смысл жизни и Истину.

Свободный акт духа я противопоставляю року. Он означает определяемость не круговоротом космической жизни, а внутренней силой, в которой человек не зависит ни от чего для него внешнего. Чувство тяготеющего рока означает, что человек зависит не от Бога, а от мира, от других людей. Свободный акт духа и значит, что человек не соглашается зависеть от космических или человеческих сил. Вся моя религиозная жизнь связана с тем, что я не соглашаюсь ни от чего и ни от кого зависеть. Бог и есть эта моя независимость.

(печатается впервые)

В литературных кружках отсутствие реализма и органичности, мистификация. Я люблю все органическое, жажду мистического реализма. Сходимся с Карташевым в жажде религиозного гнозиса, как светлого солнечного утра. Когда слушаю разговоры Волошина о люциферианстве, является желание вступить в разговор с цветами, чтобы услышать *реальное*. Пора перестать интересоваться демонизмом и обратить внимание на реальный демонизм, творящий на земле свои мерзкие дела. Хочу написать книгу, в которой будет переработка нового религиозного сознания в объективную религиозно-философскую систему. Это будет учение о Логосе. Если мне удастся выполнить, это будет *практическим* действием, исполнением того, к чему я предназначен.

Интересуюсь учителями Церкви, гностиками. С большой твердостью я избрал свой путь. Мне кажется ошибочным видеть религиозное действие в образовании и укреплении общины, в организации; я бы сказал в религиозном корыстолюбии и властолюбии. Религиозное умозрение Оригена, Иустина Философа, Максима Исповедника в религиозной истории мира безмерны. Для меня религиозная жизнь прежде всего бескорыстна. Высочайший подъем религиозной жизни созерцательно-чувственный, а не волюнтаристический: «Да будет воля Твоя, а не моя». Вот сущность теократии, а не корыстная человеческая воля. Социал-демократия — вот яркий пример корыстно-волюнтаристического отношения к миру; она вся основана на обожествлении человеческой воли и ей можно противопоставить то состояние, когда человек отдает себя воле Божьей.

Тернавцев предложил возобновить религиозно-философские собрания. Розанов завял. Я чуть ли не единственный активно отстаивающий религиозные идеи. Начинается новый период. Появляются неожиданные молодые люди. Мне все кажется, что истинное преображение связано не только крепким соединением нескольких в общину (это только новый монастырь), но и с нахождением новых путей к миру, к природе, к каждому человеческому лицу, в котором посредством Эроса нужно прозреть идею Божью. Я опытным путем прозрел, что прежде всего нужно уничтожить в себе самовозвеличение, самолюбие, тогда только может начаться бескорыстная любовь к миру.

Нужно идти в мир не зараженным кружковщиной, литературной или революционной. Развитие мира есть органический процесс.

Я не разделяю настроения Булгакова, который сделался совсем правым и ненавидит революцию. Я в спасение революцией также не верю. Я вижу ее внутреннее банкротство, как и банкротство либерализма и царизма. С В. Ивановым у меня нет никакой идейной связи. Я не могу принимать всерьез человека, который сделался мистическим анархистом под влиянием Чулкова. Я страшно одинок. Живу духовно, как в монастыре.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ Н. А. БЕРДЯЕВА К Г. П. ФЕДОТОВУ

1933.

Я устраиваю у нас встречу русских представителей «Утверждений» и «Нового Града» с представителями «Эспри» и «Ордр Нуво». Очень прошу приехать к нам в понедельник — день собрания.

1937.

В субботу у меня начинается философский конгресс. В это время я должен еще быть на съезде против войны и милитаризма и читать доклад американцам, путешествующим в Россию. Очень тяжело при моей усталости и плохом самочувствии. Надеюсь видеть Вас на собрании «Нового Града», если день будет для меня выносимым.

1939.

Я получил из Богословского Института бумагу, копию которой пересылаю Вам. Я согласен напечатать этот документ с моим ответом.* Объяснение Богословского Института совершенно неубедительно и противоречиво. Верно лишь то, что не было употреблено слово ультиматум, по-моему фактический, моральный (не юридический) ультиматум был. Может быть Вы со своей стороны напишете ответ? Я основываюсь главным образом на

* Конфликт возник в связи с политическими высказываниями Г. П. Федотова в «Новой России». Статья Н. Бердяева появилась в книге «Пути» № 59, 1939.

данных, сообщенных мне Ел. Ник.* и матерью Марией. Боюсь, что моя статья очень ухудшила Ваше положение и создала Вам новые затруднения... Моя статья создала ряд затруднений для «Пути». Ряд сотрудников отпадает. Поэтому те, которые остаются верны «Пути», должны более энергично писать в журнале, иначе журнал не может существовать... Меня глубоко тронуло Ваше письмо. Вы правы, что я человек одинокий и действую одиноко. Думаю, что Вы меня понимаете лучше других. Но у меня характер слишком страстный и склонный к действиям очень резким. Сейчас у меня создался конфликт с Андерсоном,** который думает, что я нанес тяжелый удар Богословскому Институту и «Пути», и еще более резкий конфликт с Вышеславцевым, с которым придется в деятельности разойтись. Общество Защиты Христианской Свободы, по-моему, оказалось мертворожденным. Вялость, разногласия, неимение задач. Объединение со Струве для меня было бы невозможным. Франк отказался. С Вышеславцевым неприятное столкновение.

1940. Пила.

Когда я писал Е. Н., положение здесь было очень неопределенное и все было переполнено. Сейчас положение изменилось, можно найти свободные комнаты, но я менее всего советовал бы сюда ехать. В вашем описании жизнь на острове представлялась мне жизнью райской. Мы живем не в самом Аркашоне, а около. У нас лес и чудный воздух. Но есть большое несоответствие между атмосферой природы и атмосферой человеческого общежития. Все, впрочем, соответствует моему катастрофическому чувству жизни и подтверждает мои предвидения. Но я по обыкновению каждый день пишу книгу и наслаждаюсь своей любимой стихией леса. Илья Исидорович (Фондаминский — Т.К.) и Конст. Вас. (Мочульский — Т.К.) здесь. Ил. Ис. в состоянии более подавленном, я его никогда таким не видел. Конст. Вас. гораздо бодрее.

1940. Пила. Август.

Жизнь в Аркашоне и у нас в Пила очень изменилась. Сейчас легко найти свободные комнаты и атмосфера легче. С едой не-

* Елена Николаевна, жена Г. П. Федотова.

** Павел Францевич Андерсон — деятель ИМКИ, большой друг Православия, один из основателей как Богословского Института, так и издательства ИМКА-ПРЕСС.

которые затруднения, но существовать можно. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы были здесь. О многом хотелось бы поговорить. Мы хотим вернуться в Париж в начале сентября. Ничего угрожающего нет и вернуться в Париж можно вполне свободно и спокойно. Но настроение подавленное и печальное. Совершенно еще не ясно, какие формы деятельности будут возможны. Думаете ли Вы вернуться в Париж и когда именно? Я все-таки убежден, что во Франции нигде не имеет смысла жить, кроме Парижа. Мировые события меня мало удивляют и интересуют. Я давно предвидел наступление подобного рода эпохи, хотя и не в конкретных проявлениях. Думаю, что такой темп событий будет еще лет 50, т. е. весь XX век, хотя и с антрактами. Менее всего это должно было бы удивлять христиан. Во мне возрастает отвращение к политике. Я, впрочем, никогда ее не любил и в отношении жизни общества был не политиком, а моралистом. Конфликт личности с миром, историей и обществом во мне давно уж углубился до метафизических первооснов... Мы все кричим и имеем немощи. Скажите Ел. Ник., что Мури,* конечно, с нами и наслаждается воздухом соснового леса.

ПИСЬМО Н. А. БЕРДЯЕВА К Л. И. ШЕСТОВУ

Кламар, 30 октября 1938

...Твою статью обо мне я уже прочел.** Я доволен, что Ты ее написал, она написана в дружеском тоне.

Русская критика меня всегда игнорировала, почти бойкотировала (исключение В. Розанов, который написал о книге «Смысл Творчества» четырнадцать статей), но вместе с тем у меня было тяжелое чувство существования в разорванных мирах, которые не могут проникнуть один в другой. Как и всегда, Ты делишь мир на две части и относишь меня к другой части, что мешает индивидуализировать мою мысль. Ты ставишь меня в зависимость от Шеллинга, который никакой роли в моей жизни не играл. Шеллинг принадлежит к монистическому и натур-философскому типу мыслей, который мне чужд и антипатичен, противоречит моему крайнему персонализму.

* Кот Бердяевых.

** См. статью Шестова в «Современных Записках» № 57, 1938.

Я действительно очень люблю Я. Беме и он имел для меня большое значение. Но я понимаю свободу иначе. У Беме *Ungrund*, который я истолковываю как свободу, находится в Боге, как темная природа, для меня же свобода находится вне Бога. В этом смысле я скорее дуалист, чем монист, хотя все эти слова неудачны. Достоевский и Ницше играли гораздо бóльшую роль в моей жизни, чем Шеллинг и немецкий идеализм. Когда я говорю о безблагодатности Ницше или Киркегарда, то эти слова совсем не имеют порицательного смысла; самого себя я тоже считаю малоблагодатным, но особенно меня поразило Твое неверное истолкование моих слов: «Киркегард умер не получив Регины Ольсен, Ницше умер, не излечившись от ужасной болезни и т. д.» Смысл обратный тому, который Ты мне приписываешь. Об этом нужно поговорить при свидании. Главное же вот что: Ты меня обвиняешь, что я навязываю свою истину, как общеобязательную, как долг, но Ты делаешь абсолютно то же самое. У меня есть абсолютная и очень исключительная истина и она обязательна для спасения от власти необходимости, от внушения Змия. Обо всем этом лучше поговорить, хотя трудно убедить друг друга. В одном Ты очень ошибаешься: я совсем не пастух, у меня нет никакого стада. Я человек боевой и думаю больше о враге, чем о стаде.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Я родился в марте 1874 года в г. Киеве. Отец мой происходит из старого дворянского рода, из быта помещичьего и военного. Служил он в Кавалергардском полку, потом был предводителем дворянства Киевского уезда, где имел родовое имение, участвовал в турецкой войне, потом 25 лет был директором земельного банка. Дед и прадед тоже служили в Кавалергардском полку, были георгиевскими кавалерами и генералами. Прадед генерал аншеф Н. М. Бердяев был при Павле I Новороссийским военным губернатором, и его переписка с Павлом была напечатана в «Русском Архиве». Дед мой был героем Кульмского сражения в 1814 г. Семейные рассказы о силе характера, благородства и гуманности деда (он был горячим сторонником освобождения крестьян) и портрет его в генеральской форме Николаевских времен в детстве производили на меня сильное впечатление. Бабушка моя со стороны отца, рожденная Бахметьева, была очень религиозна. Она была близка к старцу Парфению Киево-Печерской Лавры, бывшему в свое время светочем православия. Бабушка была монахиней, в тайном постриге еще при жизни мужа. С детства ярко врезался у меня в памяти монашеско-военный быт Печерска, той части Киева, где так своеобразно соединились монастыри с крепостью, монахи с военными. Там у бабушки был дом. Никогда не забуду того впечатления, которое произвела на меня смерть бабушки. Бабушка давно ушла от света, жила строгой церковной жизнью. У нее был художественный дар, который целиком ушел на писание икон, но мы не знали, что она была монахиня. Когда она умерла, монахи одели ее в монашеское облачение и хоронили ее по монашескому чину. Почувствовалось, что бабушка принадлежит монахам, а не семье.

Мать моя, рожденная княжна Кудашева, по матери была француженка и получила французское воспитание. Помню с детства, что молилась Богу она всегда по французскому молитвеннику. Бабушка моя со стороны матери была графиня Шуазель, дочь посланника гр. Шуазеля, а прабабушка графиня Потоцкая. Крестной матерью моей была наша родственница гр. Красинская, жена великого польского писателя гр. С. Красинского. Я всегда очень сильно чувствовал в себе французскую кровь. Если со стороны отца в меня вошло органическое славянофильство, то со стороны матери вошло органическое западничество с преданиями рыцар-

ства. С детства я часто бывал за границей. Бабушка моей матери княгиня Кудашева, рожденная грузинская княжна Баратова, тоже была монахиней. Она стала монахиней после смерти мужа и жила в Киево-Печерской Лавре. Так что у меня с двух сторон были бабки монахини.

В детстве я пользовался большой свободой и независимостью, которую очень активно отстаивал. Мне предоставляли читать все, что я хотел, и никто мною не руководил. Детство проводил без сверстников и товарищей. Помню, что одним из самых сильных чувств моих была любовь к родине, доходящая до фанатизма. Воспитывался я в Киевском Кадетском корпусе, но был приходящим. Корпуса я не любил, от товарищей чувствовал отчуждение, учился посредственно и жил собственными умственными интересами и книгами. Одно время очень увлекался живописью и даже кончил рисовальную школу. По переходе в 6 класс я был переведен в Пажеский корпус, так как еще в детстве был записан в пажи. Но вместо переезда в Петербург я осуществил давно уже созревший план: вышел из корпуса и стал готовиться на аттестат зрелости для поступления в Университет. Сделал я это, несмотря на сильное противодействие семьи.

Я много читал, рано почувствовал призвание к философии, но всегда был совершенным автодидактом. С детства определился у меня индивидуалистический склад характера. В четырнадцать лет я по собственному почину читал книги по философии. До поступления в Университет у меня был очень ограниченный круг знакомых, исключительно родственных и светских, так что люди очень мало оказывали влияние на меня. Мое духовное развитие протекало в постоянном противлении окружающей среде. В пятнадцать лет у меня произошел глубокий духовный перелом, чисто религиозный и моральный, после которого я порвал с тем бытом, к которому принадлежал по рождению, и окончательно уединился. Еще больше ушел в книги, но без всякого руководства. Я был религиозен, но религиозность моя была не бытовая и не ортодоксальная. Самое сильное, раннее и определяющее влияние на меня имели Достоевский и Л. Толстой, на которых духовно воспитался. В философию ввел меня Шопенгауэр, которого я читал рано и с большим увлечением. Очень увлекался также Карлейлем. Канта я читал раньше русских критиков, традиционного влияния которых я совсем не пережил. К вопросам социальным я перешел позже, уже в университетские годы. В ранней юности мне пришлось близко столкнуться с оккультизмом типа Блаватской, и жизненная реакция против духа Индии и восточной

мистики толкнула меня в сторону западничества. Я пошел искать правды в кантианстве, марксизме и нищезнании. Позитивистом я никогда не был. Философское мировоззрение, которое отразилось в первых шагах моей литературной деятельности, можно назвать имманентным, идеализмом, выработанным под влиянием Канта и неокантианцев.

В 1894 г. я поступил в Киевский Университет, выдержав экстерном экзамен на аттестат зрелости, сначала на естественный факультет, а потом на юридический. Первый год своего студенчества я знакомился с людьми, с общественными настроениями молодежи, которая раньше была мне совсем чуждой вследствие моей замкнутой и экзотической жизни. Тогда марксизм переживал в России свой медовый месяц и в Киеве было большое умственное оживление. Мои философские стремления столкнулись с социальными стремлениями к свободе и справедливости, и после всяких духовных борений я принял марксизм в критической его форме, сочетав его с идеалистическими основами мировоззрения. От народничества у меня было всегда решительное отталкивание. Параллельно я переживал Ницше, Ибсена, Бодлера, Метерлинка. Практическим политиком я никогда не был, но мои марксистские связи и мое участие в умственной борьбе привели к тому, что в 1898 г. я был арестован и привлечен по социал-демократическому делу. Я был исключен из Университета и в 1900 г. сослан на три года в Вологодскую губернию. В годы моего пребывания в Вологде у меня произошел окончательный разрыв с марксизмом даже в критической его форме и вообще со всеми формами подчинения духовной жизни социальной среде. Этот процесс самоосвобождения духовной жизни личности привел меня к христианству. После 1905 года мое духовное развитие совершалось уже внутри христианства.

Писать для себя я начал очень рано. Но первая моя статья была напечатана по немецки в 1899 г. в журнале «*Neue Zeit*» и называлась «*F. A. Lange und die Kritische Philosophie in ihre Beziehung zum Sozialismus*». В 1900 г. появилась моя первая книга «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», в которой я пытался соединить идеализм с критическим марксизмом. К книге написал большое предисловие П. Б. Струве, с которым у меня было много общего. В марксистских кругах книга эта была принята враждебно и была понята как критика марксизма и критика позитивизма. В народнических кругах книгу встретили еще враждебнее, так как она была направлена против Н. К. Михайловского, к которому, впрочем, я всегда отно-

сил ся с некоторым сочувствием. В 1901 г. я напечатал в «Мире Божьем» статью «Борьба за идеализм», в которой отразился кризис моего мирозерцания. В 1902 г. вышел сборник «Проблемы идеализма», в котором была помещена моя статья «Этическая проблема в свете философского идеализма». В этом же году я написал статью о Метерлинке под названием «К философии трагедии». Потом напечатал несколько статей в «Мире Божьем» и «Вопросах философии и психологии», а также одну статью в заграничном «Освобождении», под заглавием «Политический смысл религиозного брожения в России». Я участвовал за границей в основании «Союза Освобождения», был делегатом на первом съезде освобожденцев. Но особенно активного участия в политической деятельности не принимал. В 1904 г. вместе с С. Н. Булгаковым я участвовал в преобразовании «Нового пути» в новый журнал, для чего мы соединились с Д. С. Мережковским. С 1905 г. мы основали собственный журнал «Вопросы Жизни», где я поместил ряд статей. В 1907 г. я выпустил сборник своих статей под заглавием «Sub specie aeternitatis». Книга эта есть сложный путь от имманентного идеализма, критического марксизма и эстетического модернизма к христианству нового сознания. Мое новое мирозерцание выразилось в книге «Новое религиозное сознание и общественность», выпущенной в 1908 г. Я был инициатором и основателем Петербургского религиозно-философского общества в 1909 г. Разочарование в отрицательном и хаотическом характере русской революции и сознание неизбежности коренного изменения традиционного сознания и душевного уклада русской интеллигенции породили ряд статей в «Московском Еженедельнике», «Русской Мысли», «Слове» и «Вопросах философии и психологии», которые потом вышли отдельной книгой под заглавием «Духовный кризис интеллигенции». В 1910 г. я переехал из Петербурга в Москву и сблизился с московскими религиозно-философскими кругами. В 1911 г. я участвовал в создании религиозно-философского книгоиздательства «Путь» вместе с С. Н. Булгаковым, Г. А. Рачинским, кн. Е. Н. Трубецким и В. Ф. Эрном. В «Пути» я выпустил книгу «Философия свободы» и монографию о Хомякове, а также участвовал в сборниках «Пути» о Вл. Соловьеве и Л. Толстом. Огромное значение в моей жизни имело путешествие в Италию в 1912 г.

(Написано в 1913 г.)

В. МАКСИМОВ

КОВЧЕГ ДЛЯ НЕЗВАННЫХ

Сон Золотарева

Вместе с Золотаревым в самолете оказались трое подвыпивших летчиков, отбывающих, судя по разговору, к месту службы из первого послевоенного отпуска.

Один из них — с тонким, почти девичьим лицом капитан, возбужденно поводя вокруг себя блаженно сияющими глазами, осыпал собеседников радужными воспоминаниями:

— Чистокровная цыганочка, девятнадцать лет, сложена, как статуэтка, все умеет, где только выучилась, такое показывала, с ума сойти. — Он даже зажмурился от одолевавших его чувств. — Мать, говорит, воровка, по магазинам промышляет, а она сама с пятнадцати по рукам пошла, но разденется, есть на что посмотреть, эх, Рита, Рита, век не забыть!..

Вскоре Золотарева укачало: сказывались треволнения дня и бессонная ночь затем. И в сонном забытии примерещилась ему давняя весна тридцать шестого года в ее пугающе четких подробностях...

1.

Райком комсомола, где он тогда был инструктором по работе с сельской молодежью, размещался в деревянном флигельке, во дворе Управления дистанции пути местного железнодорожного узла. С утра до позднего вечера тесная коробка разгорющенного на несколько клетушек помещения сотрясалась от телефонных звонков, дверного стука и людской переключки. Начальство вызывало к себе без излишних церемоний, простым стуком в смежную стену. Нравы еще царили запанибратские, обраставшие возрастным жирком вожаки инстинктивно старались растянуть казавшуюся им бесшабашной молодость, но время брало свое: телефон-

ные звонки становились короче, дверной стук глуше, голоса посетителей почтительнее.

Когда однажды секретарь по оргработе Миша Богат, как обычно требовательно постучал к нему в стену, он не придал этому особого значения: очередной вызов в ежедневной текучке, но едва войдя в клетушку по соседству, понял, что разговор здесь предстоит непростой и долгий.

Сбоку от Богата, небрежно облокотясь на его стол, сидел хмурого вида черноволосый парень в форме лейтенанта войск НКВД. Парень был завидно красив; смоляной чуб на самые глаза, точеный нос с чуть заметной горбинкой, ямочка на крутом, иссиня выбритом подбородке, но в броском, будто вылепленном на заказ облике его проглядывалась какая-то, раз и навсегда застывшая злость, которая с первого же взгляда невольно в нем настораживала. Казалось, что однажды на что-то рассердившись, он так и не смог затем смягчиться или успокоиться.

— Вот знакомься, товарищ Алимешкин, из органов. — Богат из всех сил старался выглядеть деловито спокойным, мол, встреча, как встреча, разговор, мол, как разговор, но это ему плохо удавалось, голос его срывался на хрип, влажные глаза затравленно помаргивали из-под очков: само появление такого гостя в райкоме таило в себе намек и угрозу. — У товарища к тебе дело. Заранее предупреждаю, Золотарев, райком — за. Я вас покину, — он нерешительно поднялся, ожидая, видно, возражений со стороны гостя, но тот и глазом не повел, оставляя хозяину самому выходить из положения, — располагайтесь, мне все равно на исполком идти...

И без того щуплая фигурка Миши на пути от стола к двери словно усыхала в размерах, и когда с порога, перед тем, как выйти, он в последний раз обернулся к ним, на него жалко было смотреть: в полувоенном френче, который сидел на нем торчком во все стороны, со всклокоченной головой он выглядел загнанным в угол щенком на привязи. С этой обреченностью в опавшем лице он и пропал за дверь.

— Дело у меня к тебе, Золотарев, боевое. — Он мрачно ухмыхнулся — то ли вслед вышедшему Богату, то ли в предвкушении обещанного разговора. — Работник ты опытный, чутье у тебя разборчивое, с людьми работать умеешь, есть мнение, что справишься. Семнадцатый разъезд знаешь?...

Только сейчас, глядя на гостя, Золотарев вспомнил, что уже мимоходом сталкивался с ним, вернее, с этой вот его мрачно-

той усмешечкой среди калейдоскопа разных районных кулуаров. Сияясь припомнить подробности, он опять-таки восстанавливал в себе лишь эту его усмешечку, от которой в нем всякий раз холодело и обрывалось сердце. Слушая парня, Золотарев старался не упускать деталей: любая мелочь в его положении могла оказаться для него и роковой, и счастливой, смотря по обстоятельствам...

...Там нынче стройотряд стоит, народец собрался — один к одному, пробы ставить негде, рыбаки по сухому, охотники на безлесье, тяжелее туза и валета не держали ни зиму, ни лето, деклассированный элемент в общем. Двенадцать гавриков с бабой впридачу. Баба тоже — пальца в рот не клади, прошла огни и воды, и на выселении была, и за совращение привлекалась. За бригадира у них там тронутый один, из принципиальных, Иван Хохлушкин фамилия. Раньше плотничал ходил по деревням, мужик головастый, только мозги набекрень и язык длинный. Разводит там демагогию насчет всеобщей справедливости, разагитировал своих дуболомов, коммуной живут, все общее, баба, вроде, тоже общая. Организацией пахнет, с уклоном в контрреволюцию, пришла пора пресекать. Есть мнение — послать тебя туда для воспитательной работы, вроде как Фурманова к Чапаеву, а если похорошему не образумятся, ликвидируем, как социально опасных. Понял?

— Когда приступать?

— Сейчас и двинемся, чего прохладжаться, барахлишко потом заберешь, авось недалеко...

Вскоре райкомовская дрезина уносила их сквозь безлесый простор приокской равнины в сторону Ельца. Последний снег только что сошел с полей, обнаженная земля облегченно дымилась, источая вовне накопленное за зиму тепло. Над редкими островками подслеповатых деревьев сизой паутиной тянулся печной дым, сквозь который смутно просвечивала прозелень обнаженных крыш. По разбухшим щитам вдоль пути сосредоточенно скакали взъерошенные галки, высматривая вокруг оживающую добычу. Ветреная весна обдувала мир от зимней шелухи и наледи.

Сидя напротив Золотарева, лейтенант мрачновато посверливал его бесовским глазом, наставлял:

— Ты, брат, ко всему присматривайся, ничего не упускай, в таком деле каждая мелочь может на след навести. Есть сигнал: к ним там один бродяга похаживает, вроде как сводным братом ихнему чудаку приходится, тихую агитацию разводит, насчет все-

мирного братства и равенства рассусоливает. В общем, анархия попережку с поповщиной, прикрывать эту лавочку пора, только надо наверняка действовать. — Он достал из нагрудного кармана портсигар, выпростал оттуда папироску и, разминая ее меж пальцев, впервые скользнул взглядом в сторону. — Между прочим, я этого мудилу-мученика знаю, как облупленного, в школе вместе учились, головастый пацан был, всегда в круглых отличниках числился, бывало, только-только на арифметике считать начнешь, а у него уже готово, все с его тетрадки списывали. И говорить большой мастер, наговорит тебе сто верст до небес и все лесом, только уши развешивай. Далеко мог пойти, одна дурь мешает, вбил себе в голову черт те чего! — Дрезина резко сбавила ход, они по инерции качнулись друг к другу, и в короткий миг этого их невольного сближения Золотарева удушливо обожгла искра затаенной издевки где-то в самой глубине его горячечных глаз. — Только мы тоже не пальцем сделаны, мозги вправлять умеем, а если не очухается, пусть на себя пеняет. — Дрезина плавно вкатилась в короткий тупичек и замерла впритык к торцу товарного пульмана. — Вылезай, приехали, Золотарев, и — ушки на макушке...

После спертой духоты тесной кабины дыхание перехватило холодящим настоем ранней весны. Тупичок тянулся вдоль куцой лесополосы, упираясь в крошечный пруд или, вернее, придорожную низинку, заполненную талой водой, за которой в сизой дымке близкого горизонта маячили терриконы окрестных шахт. И над всем этим царила волглая тишина, оглашаемая лишь резкой галочьей перекличкой.

— Вот она — малина хренова. — Они двинулись вдоль сплотики из трех приспособленных под жилье четырехосных пульманов. — Окопались — лучше некуда, никакой смолой не выкуришь, только не таких выкуривали, найдем и для этих снадобье...

Перед самым упором тупичка навстречу им, медленно поднимаясь над спуском, выявилась женская фигура с тазом в руках, полным отжатого белья. И чем ближе, чем явственней определялась она перед ними, тем учащеннее становилось колотье в горле Золотарева. Едва ли в ее приглашенном бесформенной робой облике можно было выделить что-либо приметное, если бы не огненно-рыжая прядь, свисавшая у нее из-под платка, которая окрашивала все в ней каким-то особым своеобразием.

— Здравствуйте. — Не доходя до них, слегка поклонилась она; слово прозвучало тихо, просто, без вызова. — Вы к Ивану Осипычу? — Не ожидая ответа, она поставила таз на тупичковый

холмик и с готовностью заторопилась. — Вы заходите, погрейтесь в теплушке, а я за ним на пути сбегая, здесь — рядом, сейчас будет.

Проходя мимо, она машинально взглянула на них, и от этого беглого и словно невидящего взгляда Золотарев снова поперхнулся. «Надо же! — Головокружительно пронеслось в нем. — Это надо же!»

— Видал кралю? — Провожая ее оценивающим взглядом, хмыкнул Алимущкин. — Поглядеть, тихоня тихоней, только в тихом омуте черти водятся: у нее две судимости позади, не считая приводов. — Он лихо сплюнул в сторону, начальственно кивнул Золотареву. — Айда к печке, комсомол, что, едрена мать, в самом деле, на ветру мерзнуть!..

В скудном убранстве теплушки чувствовалась старательная женская рука: все было тщательно выскоблено, каждая вещь, предмет, мелочь занимали свое, строго определенное место, а вышитые мелким крестиком марлевые занавески на окнах и такой же полог, глухо отделявший угловую часть вагона от остального помещения, выглядели даже нарядно. Железная временка, на которой стоял укутанный в байковое одеяло чугун, еще источала легкое тепло. Пахло стиркой, постной тряпней, перегоревшим углем.

— Садись, Золотарев, закуривай, — он по-хозяйски, небрежным движением снял и швырнул фуражку на раскладной стол сбоку от себя, — в ногах правды нет. — Закрепленный впритык к столу топчан натужно закрипел под ним. — Что увидишь, что услышишь, на ус мотай, только чур не записывать, все в голове держи, так-то оно вернее. Раз-два на неделе заглядывай, авось не за горами, докладывай обстановку...

Раздался уверенный стук в дверь и вместе с ним — с этим стуком, там — снаружи обозначился голос: чуть глуховатый, но тоже — уверенный:

— Можно? — И следом, уже с порога, впуская в теплушку холод убывающего дня, — Здравствуйте.

Его можно было принять за кого угодно — переодетого в ветхую спецовку конторщика, путейца, учителя, но только не за дорожного трудягу. Все в нем — моложавое, но несколько изможденное лицо в обрамлении белокурых волос, мословатая, при умеренной сутулости фигура, манера держаться с уважительной к окружающим независимостью, предполагало склонность скорее к умственным занятиям, нежели к черной работе. И лишь заскоруж-

лые, с вьевшейся в кожу ржавчиной руки обличали в госте человека, давно занятого тяжелым физическим трудом.

— Садись, хозяин, гостем будешь, — Спутник Золотарева явно заискивал перед бывшим товарищем, хотя и старался при этом выдержать начальственный тон. — Вот, Иван, комиссара к тебе привез на подмогу, зашиваешься ты тут один без политпросвета. Рекомендую: Золотарев, Илья Никанорыч. не шалай-валяй, кадровый товарищ, такие нынче на дороге не валяются, руководство о тебе заботу имеет, думаю, сработаетесь без притирки. — Он беспокойно елозил задом по топчану и все поглядывал, поглядывал со значением на Золотарева. — Так сказать, смычка коммунистов и беспартийных...

Тот неторопливо опустился на скамью спиной к столу, оказавшись между лейтенантом и Золотаревым, аккуратно сложил рукавицы рядом с собою, сцепил корявые руки у себя на коленях, заговорил размеренно, со вкусом расставляя слова:

— Спасибо. Хороший человек никогда не помешает. Правда, с жильем у нас туговато, да, как говорится, в тесноте — не в обиде. Тут вот и поместим, а я к ребятам переберусь, мне даже сподручнее вместе со всеми. Так что устраивайся, дорогой, не стесняйся. Только есть из общего котла придется, у нас тут все по-братски... Ну что там в Узловой нового, Дмитрий Власыч...

Рассказ Алимушкина состоял из жеванных-пережеванных в городе толков о том, кто еще арестован, кого куда переместили по должности, какие пересуды идут в депо и в дистанции пути. Золотарев слушал его вполуха, с опасливым ожиданием поглядывая в сторону двери. Вскоре в тишине, царившей снаружи, прорезались отдаленные, но все нараставшие голоса, затем сквозь оживленный говор, где-то совсем рядом, чуть ли не за стеной выплеснулся, жарко перехватив ему дыхание, снисходительный женский смехок:

— Наломались, работники? Сейчас накормлю, чем Бог послал, и что на складе давали, навару немного, зато от пуза.

Вместо ответа, чей-то хриловатый тенорок рассыпался с дурашливым вызовом:

— На горе стоит машина,

Тормоза меняются.

Там крупина за крупинкой

С вилами гоняются... Тащи, Маша, свои разносолы, а то брюхо к спине присохло!

Сразу за этим в просвете почти бесшумно отворившейся

двери возникло ее смеющееся лицо:

— Не обессудьте, чуток помешаю. — Она уже споро хлопотала вокруг времянки. — Накормить ребят надо, голодные.

Алимушкин искоса, с нескрываемой подозрительностью взглянул на нее и тут же поднялся:

— Пошли, Иван, проветримся, на холодке, оно, разговаривать сподручнее, да и ушей меньше.

— Пошли, коли так. — Тот неспеша потянулся за гостем к выходу. — На холодке так на холодке.

— Ох, мужики! — Кивнула она им в спину. — Слова в простоте не скажете, все у вас с намеком да с подковыркой. — Она говорила, не глядя на него, занятая печкою и посудой. — Мне-то до ваших разговоров дела нет, мы люди маленькие, своих хлопот хватает. Только чего они все к Ивану Осипычу цепляются, ездют, воспитывают, будто он маленький, сам не знает, чего делать, как жить. — Она резко выпрямилась, и все в ней вдруг празднично ожило, засветилось. — Им бы самим у него поучиться не грех, да за науку в ножки поклониться и Бога благодарить, что сподобил с ним свидеться. — Она опять замкнулась, водрузила стопку посуды поверх чугуна, бережно подхватила его снизу и двинулась к двери, кивнув Золотареву. — Не примите за труд, откройте.

Все с тем же колотьем под сердцем он бросился открывать, судорожно потянул на себя дверь и, пропустив женщину мимо себя, вышел за нею.

— Меня Ильей Никанорычем зовут. — Жарко выдохнул он ей вдогонку. — Ильей, в общем.

— А меня Марией. — Донеслось уже из ближних сумерек под шорох удаляющихся шагов. — Покличьте Иван Осипыча, вечерять пора...

Вечер обещал быть беззвездным и пасмурным. С окрестных полей тянуло плотной изморозью. Лесополоса вдоль полотна уже не просвечивала насквозь, тянулась сплошной темной стеной. И только тусклое зеркало озера под горой слегка скрашивало густоту этой промозглой сумеречности.

Золотарев машинально обогнул тупичок и краем лесополосы потянулся вниз, к озерку, но едва оно выявилось из-под спуска цельным пятном, на его тускло поблескивающей поверхности выделились два зыбких силуэта, склонившихся друг к другу в доверительном разговоре:

— Эх, Ваня, Ваня, — в голосе Алимушкина уже не чувствовалось ни ожесточения, ни напора, одна заискивающая про-

сительность, — ну что тебе, в самом деле, в голову втемяшилась блажь эта дурацкая! Придумал тоже коммунию, полторы бродяги пополам с нищим, таких, сколько ни корми, все в лес смотрят, им сто твоих зарплат не хватит, дели — не дели все равно не насытишь, как в прорву, они же еще и смеются над тобой втихомолку. Сам вон в чем ходишь, чем питаешься, одни только кожа да кости!

— Мне хватает. — В густеющей темноте его голос звучал спокойно, отчетливо, на ровном излете. — У матери пенсия, другой родни у меня нет, куда копить, с собой не унесешь. Коли про один хлеб насущный думать, жить незачем будет.

— Не сносить тебе головы, Иван, подведешь ты себя под монастырь, поздно окажется. — Тот начинал снова исподволь ожесточаться. — Эх, Ваня, Ваня, мне бы твои шарики, я бы взял быка за рога! С твоими мозгами да при такой анкете тебе в наркомах ходить, тысячами командовать. Нынче наверху такой мусор плавает, что не приведи Бог, лезут, кому не лень. Только скажи, я тебе любые семафоры открою, без остановок вырулишь.

— Мусор, говоришь, плавает, а я что там делать буду? — Иван даже не возражал, а как бы только утверждал уже давно им обдуманное и обговоренное. — Плохое из меня начальство, брат, я вон с дюжиной и то еле управляюсь. Опять же, чего мне от должности прибудет, хлопоты одни, а толку чуть. Всему предел в жизни есть, начальству тоже, а дальше что? Выходит, не все в наших руках.

— Несешь, Иван, чертовщину какую-то, — прежняя злость уверенно заполняла его и несла дальше, — за такую поповщину по нашим временам не меньше десятки с высылкой полагается, это тебе, голова садовая, известно? Коли ты умный такой и сам чорт тебе не страшен, возьми да и выложи всю эту вражью дребедень на общем собрании: так, мол, и так, желаю всеобщей уравниловки на базе сектантской чертовщины. Может, послушают, а?

— Кому надо, тот и сам услышит, — он оставался все так же ровен и прост, — чего мне понапрасну людям душу смущать, во-время сами одумаются, не сегодня жизнь началась, не завтра кончится.

Одна из теней, та, что покороче, вдруг надломилась и тут же исчезла с аспидно блистающей поверхности озера:

— Что ж, Иван, живи своим умом, — голос Алимущкина поплыл в сторону Золотарева, — я тебе больше не советчик, блажи себе на здоровье, только пеняй потом на себя...

«Попал я в историю, — озадачился Золотарев, поворачивая назад, к жилью, — здесь, как по тонкому льду ходить придется, того и гляди сам провалишься.»

2.

Несколько дней еще тянулась сырая бестолочь, после чего погода более или менее наладилась: грянули теплые дождики вперемежку с солнечными просветами. Золотарев коротал дни за оформлением стенных «летучек» и подбором цитат из газет и брошюр для текущих политзанятий. Порою он даже забывал о настоящей причине своего появления здесь, занятия его казались ему естественным продолжением райкомовской суеты, постепенно жизнь на разъезде становилась для него буднями, повседневностью, бытом.

Отношения с Марией складывались у него туго и неуверенно. Она заметно дичилась его и почти с ним не разговаривала, ограничиваясь скудным набором неизбежных в обиходе слов. По вечерам, закончив дневные хлопоты, Мария скрывалась у себя за занавеской и притаенно затихала там до следующего утра.

С лихорадочно бьющимся сердцем следил Золотарев, как на подсвеченной изнутри семилинейкой марлевой занавеси колебалась ее хрупкая тень. В нем все замирало, когда она раздевалась, расчесывала волосы, укладывалась. И каждое ее движение при этом, словно на немоном экране, чутко отражалось на застиранной марле. В наступавшем затем мраке он долго еще прислушивался к ее сбивчивому дыханию, в ожидании чего-то немислимого и не в силах заснуть. «Скорей бы тепело, что ли, — воспаленно ворочаясь, задыхался он, — я бы на двор перебрался!»

К концу недели Золотарев не выдержал, и когда у нее за марлевым пологом погас свет, смелая в темноте, заговорил первым:

— Слышь, Мария, вроде под одной крышей живем, а друг дружке слова путёвого до сих пор не сказали.

— Вы у нас за начальство, Илья Никанорыч, — тихо отозвалось из темноты, — какие же мне с вами разговоры разговаривать?

— Нашла начальника, без сапог, а в шляпе, бумажки в райкоме с места на место перекладываю.

— Все ж таки не наш брат, с киркой не ходите.

— Пошлют — пойду, наше дело служивое: сегодня — здесь, завтра — там. Мне до начальства еще далеко.

— Нам еще дальше, живем одним днем: день — ночь, сутки прочь, от зари до зари в работе, когда уж тут языком чесать!

— Так и молодость пройдет, жизнь она короткая.

— Была у меня молодость да сплыла, — потерянно вздохнула она, — прогуляла я ее, пропировала молодость свою.

— Какие твои годы, Мария, — исподволь нащупывал он к ней подходы, — у тебя все еще впереди.

— Мне лучше знать. Мне бы теперь около Иван Осипыча век скоротать, больше ничего не хочу.

— Полюбила что ли? — Все в Золотареве воспрянуло и насторожилось. — За чем же дело стало?

— Куда там, Илья Никанорыч, — голос ее сразу потеплел, сделался певучим и полным, — зачем я ему, он себе и получше найдет! Только разве он о том думает! Он все больше о других беспокоится, а до самого себя руки не доходят, себе все в последнюю очередь. Я б за ним с закрытыми глазами, хоть на край света, ноги бы ему мыла, юшку бы пила, такой человек один теперь на всю землю, совсем народ нынче одичал, глотки друг дружке разорвать готовы. Вон у нас на разъезде какая гольтьба собралась, один другого краше, из милиции не вылезали, а Иван Осипыч и к этим сумел подойти, людьми сделались. Его у нас кругом знают, со всех деревень за советом идут, из города сколько народу бывает, у него для всякого доброе слово найдется, а что еще нынче человеку нужно! — И как бы окончательно утверждаясь, заключила. — Нету теперь эдаких людей, нету!

Каждое ее слово камнем откладывалось в нем, все утяжеляя и утяжеляя темный груз переполнявшей его горечи. Ему казалось, что сквозь него, сквозь его тело, сердце, душу передернута одна единственная раскаленная и звенящая болевая струна, конечный звук которой нестерпимым жжением отдавался в гортани. Никогда раньше Золотареву не приходилось испытывать подобной муки и такого удушья: от него, как плод от пуповины, с болью и стоном отсекалась часть его самого и уже невозполнимая часть. И горячечно забываясь в ночи, он с отчаяньем попытожил: «Кончен бал!»

3.

В отличие от большинства городских учреждений, в райотделе НКВД царил внушительная тишина, прерываемая лишь постукиванием одинокой машинки за дверью с табличкой «При-

емная». Оказалось, Золотарева уже ждали: молчаливая, с усобразной порослью над верхней губой женщина, едва воздев на него сонные глаза от расхристанного «Ундервуда», поднялась и кивком головы предложила ему следовать за ней.

— Заходи, заходи, комсомол! — Бросился ему навстречу Алимускин, словно только и сидел в ожидании Золотарева. — Пошли сразу по начальству, разговор будет. — И затем заискивающе гоготнул вслед его провожатой. — Наладь-ка нам потом чайку, Верунчик! — Тут же подмигнул спутнику. — Видал тоже бабца? В гражданскую офицерье на ленточки на допросах поло-совала, по всей Сызрано-Вяземской славилась, теперь у нас вот завсектором век доживает. — Он вдруг на ходу приосанился, почтительно, но бодро постучал в обитую клеенкой дверь, легонько потянул ее на себя. — Входи.

В большой пустоватой комнате — стол, несколько стульев вдоль глухой стены, табурет, привинченный к полу у самого входа, портрет Дзержинского над столом — навстречу им подался бритым наголо черепом ширококостый, почти квадратный человек с двумя шпалами в петлицах суконной гимнастерки и орденом Красного Знамени на пухлой груди:

— Это и есть твой замечательный парень, товарищ Алимускин? — Слова он выговаривал медленно, правильно, с заметным усилием, выдавая этим свое нерусское происхождение. — Послушаем твоего замечательного парня, товарищ Алимускин.

Стоя сбоку, чуть позади Золотарева, лейтенант локтем ободряюще толкнул его:

— Докладывай, комсомол, не робей!

Золотарев знал, чего от него ждут и, случись это в другой раз и в иной ситуации, ему не пришлось бы долго раздумывать над линией своего поведения. Но сейчас, прежде чем безоглядно пуститься по привычной наклонной, он на мгновение замер и похолодел, словно перед прыжком в студеную воду.

Правда колебание это длилось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы набрать полную грудь воздуха, а затем его понесло без сучка и задоринки, как по надежной шпаргалке. Он разливался перед ними хорошо вышколенным соловьем, на ходу угадывая их желания и не ожидая понуканий или подсказок: он жег мосты, он развеивал душу по ветру, он окончательно прощался с самим собою, ему не о чем было больше сожалеть и не в чем раскаиваться. Семь бед — один ответ!

По его выходило, что на разъезде Советской власти не существует, что там определенно намечается подпольная органи-

зация и что, если не пресечь враждебный заговор сейчас, его участники могут в самое ближайшее время перейти к открытым террористическим выступлениям.

— Так. — Майор одним сильным движением оттолкнулся ладонями от стола и вместе с креслом отъехал к стене позади себя. — Ваше мнение, товарищ Алимушкин?

Тот мгновенно потемнел, вытянулся, будто борзая изобразив стойку, и хрипло выдохнул:

— Братъ. — И повторил еще тише, на сплошном сипении. — Братъ немедленно.

Еще одним усилием майор повернулся с креслом боком к ним, в кресле же обогнул стол, выкатился чуть ли не на середину кабинета, и только тут Золотарев уяснил для себя причину его слоноподобной усидчивости: кресло оказалось инвалидной каталкой с обычным ручным управлением. Нижняя часть туловища от самого пояса была тщательно прикрыта у него чем-то вроде пледа или накидки.

— Значит, ваше мнение — братъ, товарищ Алимушкин? — Тот исподлобья цепко посверливал их взыскующим взглядом, деловито потирая при этом пухлые, в темной поросли руки. — Он что, может быть, штундист?

— Какое там, товарищ Лямпе! — Алимушкин явно не понял начальника, но, видно, на всякий случай решил не подавать вида. — Просто воду мутит, балалаечник, знаю я этого Хохлушкина сызмальства, всегда такой был.

— Так. — Глядя на них, майор все потирал и потирал руки, будто отмывая их от чего-то очень въедливого. — Взять, товарищ Алимушкин, никогда не поздно. Подумать надо, взвесить. Я смотрел его анкету, человек из пролетарской семьи, из беднейших крестьян. Какой будет политический эффект?

— На всякий чих не наздравствуешься, товарищ Лямпе. — Алимушкин вновь засучил ногами на месте. — Пресечь надо без задержки, а то дальше пойдет, концы потеряем. — В его напряженном голосе засквозила едва скрываемая угроза: знал, уверен был, пролаза, что в случае чего не спасут начальника ни ордена, ни заслуги, в эти поры и поковырнее тузов на распыл пускали. — Бдительность притупляем, товарищ Лямпе.

— Может быть, действительно штундист? — Тот равнодушно пропустил угрозу мимо ушей, смотрел на них все так же исподлобья, с отрешенной задумчивостью. — Или сектант, я таких много встречал. — Опустив лобастую голову, он продолжил скорее для себя, чем для них. — Мой отец был штундистом,

мой дед был штундистом, я вырос среди штундистов. Это были простые темные люди, но они стояли за справедливость и равенство. Они понимали это по-своему, они еще не знали тогда великого Маркса, не знали великого Ленина, они сердцем верили, что все должно быть справедливо. Может быть, Хохлушкин этот ваш тоже из таких. — Он вдруг вновь вскинулся, вопросительно уставившись на Золотарева. — Может быть, наш замечательный парень еще подумает, взвесит свои слова? Может быть, еще есть возможности решить вопрос непосредственно в коллективе?

На этот раз Золотарев даже не поперхнулся, отчеканил уверенно, без запинки:

— Бесполезно, товарищ Лямпе, коллектив окончательно разложен, необходимы крайние меры.

— Если так, — у него жестко напрягся подбородок и равнодушно потухли глаза, — идите оформляйте, я подпишу. — Он опять с усилием потер руки и отвернулся, как бы предоставляя их самим себе. — Пусть отвечает по закону. — Каталка резко развернулась, вновь направляясь к столу. — Заодно заканчивайте с этими двумя из Бобрик-Донского. Надо выяснить, кто стоит за ними: в одиночку весовщик и дежурный по станции не могли работать, здесь опытная рука чувствуется. Можете идти.

Когда они вышли, Алимускин полуобнял Золотарева за плечи, коротко притиснул к себе, а затем подтолкнул вперед:

— Сработаем за мзную душу. — Увлекая гостя в свой кабинет, он возбужденно сопел в предвкушении добычи. — Лямпе наш тоже чудит, любит помитинговать, как будто гражданская война за околицей, его послушать, враг, значит, в золотых погонах, а все прочие — братья и сестры, а враг — он нынче кругом прячется, в родном доме укусьте норовит. — Он чуть ли не втолкнул его в кабинет, вошел следом, кивнув на место у стола. — Садись, пиши. Как у Лямпе рассказывал, так и пиши, все до точки. — Но и усевшись за стол напротив Золотарева, он все еще не мог успокоиться. — «По закону»! Воля мирового пролетариата — вот наш закон! Да и чего с него взять, одно слово — немец! Насчет Рассеи-матушки ни бум-бум.

Без стука, с подносом в руках, на котором стояли два гра-
нених стакана с жиденьким чаем, вошла уже знакомая Золотаре-
ву усатая женщина, молча поставила поднос на край стола и
так же молча, ни на кого не взглянув, удалилась.

Вместе с нею, с появлением этой женщины по комнате как бы
пронеслось дуновение неуловимой угрозы, но не улетучилось с
ее уходом, а наоборот, тяжело осело и затаилось до поры на сте-

нах, вещах, бумагах и даже, казалось, в душе. Рука у Золотарева вдруг сделалась непослушной, голова полой и неустойчивой, глаза почти невидящими. Слова стройно вытягивались в ряд, фраза по-прежнему нанизывалась на фразу, изложение не теряло порядка, но в нем уже не было того облегчающего совесть самоотречения, какое воодушевляло его в кабинете у Лямпе. «Быстрей бы уж все это пронесло, — заканчивая, маялся он, — мочи моей больше нет!»

— Вот, — Золотарев пододвинул исписанные листы к Алимушкину, — посмотри, что получилось. Вроде, все, как есть.

Тот долго читал, перечитывал, сопел, морщился недовольно, потом, насмешливо поглядывая на него, сказал:

— Да, брат, Льва Толстого из тебя, конечно, не получится, но в общем сойдет, больше не потребуется. Получим санкцию и будем брать, вместе с этими двумя пройдами из Бобрик-Донского. — Не вставая, протянул ему руку через стол, подмигнул одобрительно. — Наградные за мной. Бывай, скоро опять встретимся...

В коридоре Золотарев лицом к лицу столкнулся с Мишей Богатом. Тот скользнул по нему затравленными глазами и еле слышно сложил непослушным ртом:

— Вот вызывают... Говорят, неотложное дело... Сам знаешь, у них всегда неотложное. — Он ватной походкой проследовал дальше, в настороженную полутьму коридора и уже оттуда прошелестел. — Заходи в райком, потолкуем...

Дверь в приемную на этот раз была распахнута настежь и, проходя мимо, Золотарев поймал на себе неподвижный, но откровенно изучающий взгляд, устремленный на него от расхристанного «Ундервуда». «Вот ведьма, — зябко передернуло его, — чего доброго, сглазит еще!»

4.

На другой день к вечеру в теплушку заглянул Петруня Бабушкин — крупноголовый, с чуть ноздреватым носом картошкой мужик, которого Золотарев давно выделил среди остальных за дотошную обстоятельность на политзанятиях:

— Получка нынче, Илья Никанорыч, — пронзающе синие глаза его светились радостью, — ребята гуртом обмывают, тебя в компанию зовут, отказываться — грех, так что, просим...

Предстоящая ночь обещала быть теплой и чистой. Даль вокруг отсвечивала багровым колером догравшего у горизонта

дня. В недвижимом воздухе струились запахи плодородия и расцвета. Чуткая тишина вечера оглашалась лишь редкой переключкой паровозов откуда-то из-за обрыва тлеющего окаема. Мир готовился отойти к очередному сну.

За столом, выставленным по случаю хорошей погоды тут же перед сплоткой, Золотарева уже ждали, разом освободив ему место на скамье прямо против Хохлушкина. С этой минуты до конца застолья Илью не оставляло подозрение, что тот, если не знает наверняка, то определенно догадывается об угрожавшей ему участи: бригадир сидел молча, опустил глаза и сложив перед собой тяжелые руки, и лишь после того, как налили по первой, расклеил плотно сомкнутые губы:

— Ну, дай Бог не последнюю! — Он смотрел куда-то впереди себя, через стол, сквозь Золотарева, словно разговаривал не с ними, а с недоступным для них собеседником. — А коли последнюю, то не помянем друг дружку лихом. Жили мы с вами по правде, по совести, никому века не заедали, за даровым хлебом не гонялись. Может, кто из вас на меня сердце держит, выкладывай при всех, а то поздно будет, лучше уж сразу, в глаза, чем на сторону нести. — Его зрачки вдруг сузились, осмысленно упершись в Золотарева. — На душе легче будет...

Пристально вглядываясь друг в друга, они встретились в упор, и здесь Золотарев впервые по-настоящему разглядел Ивана. Тот был до изможденности худ, мослат, узок в кости, но его продолговатое лицо, с сильно выдвинутыми вперед надбровьями и острым подбородком обличало в нем уверенность духа и силу характера. Казалось, что Хохлушкин раз и навсегда определил для себя однажды овладевшую им мысль и, твердо уверовав в нее, беспрестанно жил ею, этой мыслью, не терзая себя сомнениями и не отклоняясь в сторону.

— У нас, Иван Осипыч, народ грамотный, — попробовал отшутиться Золотарев, но вышло это у него довольно кисло, — если у кого жалобы, в стенгазету напишут.

— Думаешь? — Хохлушкин тем временем, прижав буханку к груди, размашисто, по-крестьянски нарезал хлеб для застолья. — Чужая душа — потемки, часом человек сам за себя не поручится, не то что за другого. Оно, у меня совесть чистая, не крал, не убивал, не злодействовал. Против власти ни зла, ни намеренья не имел: не нами поставлена, не нам снимать. Только чует мое сердце, недолго мне с вами. — Он снова замкнулся взором, поскучнел. — Дай-то Бог, обойдется.

Тихий ангел пролетел над столом, после чего все разом загудели, торопясь и перебивая друг друга. Но вскоре из общего гомонка упрямо выделился пробивной тенорок Семена Блохина — бригадного заводилы, с вечным набором прибауток в улыбочивых губах:

— Мы за тебя горой, Иван, — торопился он, то и дело постреливая тревожными глазами в сторону Золотарева, — один за всех, все — за одного, куда иголка, туда и нитка. — Он тряхнул курчавой, с ранними залысинами головой. — Бог не выдаст — свинья не съест!

— Живем сами по себе, никого не трогаем, — хмуро поддерживал его с дальнего конца стола Яша Хворостинин, исподлобья скользнув по Золотареву недобрым взглядом, — кому не нравится, не дѣржим. — Широкоскулое, в крупных рябинах лицо Яши напряженно потемнело. — Скатертью дорога! Ты, Иван, не сомневайся, я за себя ручаюсь.

Иван благодарно посветился на него, но вслух сказал со снисходительной укоризной:

— Не зарекайся, Яша, не зарекайся, всякое в жизни случается, бывает так прижмет, от родной матери открестишься.

И Золотарев вдруг почувствовал, как выжидающе скрестилась на нем их общая неприязнь. Он растерянно смешался, сознавая жалкую бесполезность приходивших на ум оправданий, попытался даже сделать вид, что ничего не замечает, но в эту, мучительную для него минуту откуда-то из дальней глубины зоревых сумерек, приближаясь, потек к ним протяжный гудок дежурной дрезины, которая вскоре темным колом выявилась у стрелок разъездного семафора, резко сбавила ход, плавно откатившись на ветку запасного пути.

— Это, видно, по мою душу, — облегченно заторопился Золотарев, почти бегом пускаясь к разъезду, — делать им нечего!

Последнее, что запало ему перед уходом, было потерянное лицо Марии, маячившее в течение всего разговора за спиной у Хохлушкина. Кроме прочего, его поразило в ее облике выражение полной и уже окончательной обреченности. «Будь ты неладна, шалая, — горела земля под ним, — свалилась на мою голову!»

Еще издалека Золотарев разглядел в проеме спущенного окна кабины чубатую фигуру Алимущкина, за которой смутно проглядывалось несколько силуэтов в форменных фуражках.

— Слушай сюда, Золотарев, — Алимущкина трясло азартной дрожью, — мы сейчас в Бобрик-Донской обернемся, накроем эту парочку со станции, там у нас дело с обыском, не меньше

полночи займет, а к утру опять сюда завернем, бди начеку, будем брать твоего мудилу-праведника. Когда вернемся, механик тебе просигналит. Поднимешь его сам, других не буди, не развели бы паники. В нашем деле свой лоск требуется, чтобы комар носа не подточил, понял? Бывай. — И уже отворачиваясь, скомандовал в сумрак кабины. — Трогай, Шинкарев!

Дрезина плавно взяла с места и с нарастающей скоростью покатила в густеющую темь, помигивая оттуда тающим светлячком тормозного фонаря...

Застолье кончилось еще до его возвращения. За аккуратно прибранным столом, уткнув распатланные вихры в сложенные перед собой ладони, в одиночестве посапывал Филя Калинин, бывший обходчик, слабый к выпивке, но при этом нрава простого и покладистого. И в Золотарева на короткое мгновение вдруг шевельнулась искренняя зависть к этому его безмятежному забытию: «Завалиться бы сейчас на боковую и провались оно все пропадом!»

Но тут же приглушенные голоса, выплывшие к нему из-под тупикового спуска, вернули его к действительности, и он, вновь наливаясь решительностью, шагнул туда, на эти голоса и более не терзался уже тревогой или сомнениями. «Что это я, в самом деле, — вызверился он на самого себя, — как баба, ей-Богу!»

Сразу за упором тупика, от массива лесополосы отделилась и перегородила Золотареву дорогу текучая тень:

— Слышь, Илья Никанорыч, — из ночи перед Золотаревым выделилась тощая бороденка Фомы Полянкова, обычно донимавшего его каверзными подначками, — говорят, нынче за путевые докладные ордена дают. Охотников, надо полагать, по нашим временам, хоть отбавляй, монетный двор, я так думаю, с этими орденами вконец зашивается, вагонами отгружают. — От него чувствительно несло, редкозубый рот растягивался в откровенно издевательской ухмылке. — Что, Илья Никанорыч, боишься — не достанется?

— Уйди с дороги, Фома, — Золотарев не узнал собственного голоса, гулкая ярость ломила ему виски, — а то я за себя не отвечаю, костей не соберешь.

Взбывчившись, он двинулся в ночь, текучая тень исчезла у него за спиной, коротко хохотнув ему вдогонку:

— Не любишь против шерсти, Илья Никанорыч, а у меня для твоей милости ничего, кроме того, нетути...

Озерцо под насыпью маслянисто блестело, вобрав в свой крошечный фокус ночь целиком с ее небом в звездной россыпи,

кружевом прибрежной листвы, роем мошкеры над водой. В недвижной тиши отчетливо прослушивалась спорая работа природы и почвы: сквозь теплый суглинок вперегонки проридались, спеша надышаться, травы, деревья в сонной истоме расправляли узловатые суставы, изо всех нор и щелей выскальзывала, выпархивала, возникала пробудившаяся от дневной спячки ползущая и теплокровная тварь. В подспудном биении ночи явственно ощущался свой ритм и порядок.

На подходе к воде Золотарев, насторожившись, укоротил шаг: сбоку от озера, со стороны лесополосы маячила в просвете между деревьями чья-то продолговатая голова.

— ...расчет возьмём все разом, земля большая, места для нас хватит, черные рабочие везде требуются. — Только по манере произносить слова: с ленивой растяжкой, Золотарев узнал Андрюху Шишигина, слывшего в бригаде молчуном и парнем себе на уме. — Никто не откажется, нас от тебя теперь только с мясом рвать.

— Чего надумал, Андрейка, умней не мог, мне же еще и саботаж пришьют. — В увещающем тоне Хохлушкина сквозило тоскливое безразличие. — Чему быть, того не миновать. — Он, видно, услышал шаги Золотарева, заторопился. — Иди, Андрейка, скоро светать начнет, я посижу еще...

Голова в просвете между деревьев пропала, прошуршал кустарник вдоль лесопосадки, после чего ночь выжидающе смолкла, оставляя Золотарева наедине с Иваном, который сидел, уткнув острый подбородок в плотно сдвинутые колени, на луговой прогалине прибрежного ельничка.

— Не спится? — Опускаясь рядом с ним, Золотарев едва сдерживал колотившую его азартную дрожь. — Шел бы ты, Иван Осипыч, на боковую, утро вечера, говорят, мудренее. — Слова он складывал первые попавшиеся, сыпал без умолку, словно заговаривая самого себя или что-то в себе. — Думай — не думай, сто рублей не деньги, курица не птица, баба — не человек. Не робей, перемелется — мука будет...

Но тот впервые за время их знакомства не дал ему договорить, оборвал тихо, с упрямой настойчивостью:

— Чего ты ходишь за мной, Илья Никанорыч, что высматриваешь! — Лицо его, смутно бледневшее в темени, исказилось горечью. — Нет за мной никакой вины, а коли есть, сам отвечу, на других не свалю. Жил я сызмальства по справедливости, по справедливости и помирать буду. И не ходи ты за мной, Илья

Никанорыч, не ходи, не сторожи меня, не зверь я — не сбегу... Некуда.

И такая мука при этом исходила от него, такая боль, что Золотарев не нашелся с ответом, встал и грузно понес себя сквозь ночь и тишину к спасительному теплу сплотки.

Его вдруг на короткий миг осенило, будто когда-то в каком-то неведомом ему прошлом он уже видел все это: душную ночь в звездах сквозь листву, робкие тени среди деревьев и тоскующего человека на шуршащей траве. «Пригрезится же! — Усилим воли он стряхнул с себя наваждение. — Как во сне!»

Лишь оказавшись в затемненной теплушке, он чуть опамтовался, не раздеваясь лег, но уже не заснул, чутко прислушиваясь к сбивчивому дыханию Марии. «Не проснулась бы только, — с опаской угнетался он, — крику не оберешься!»

Куцый гудок поднял его, когда окна забелило сизым рассветом. Предметы в вагоне едва выявились из темноты, но на них еще лежала печать ночного запустения и дремы. «Ну, проноси нелегкая! — Стараясь не ступать по полу всей подошвой, он крадучись подался к двери. — Пошабашить сегодня и — с плеч долой!»

Но стоило ему миновать времянку, как из-за недвижимого до той поры полога в углу выступила одетая, словно в дорогу, Мария:

— Что ж теперь будет-то, Илья Никанорыч? — В лице ее не было ни кровинки, губы мелко тряслись. — Куда вы его?

— Не нашего ума дело, Мария, — попытался он осторожно отодвинуть ее, — наверху видней, приказано — выполняем.

Но она не отступила, уставилась в него воспаленными глазами, умоляюще сложив руки на груди:

— Выходит, прикажут, тогда и грех — не грех? Илья Никанорыч, миленький, кому он свет застил, кого обидел когда? — Колени у нее подгибались, она медленно сникала к его ногам. — Илья Никанорыч, заставьте Бога молить, вечной рабой служить вам буду, половиком постелюсь, топчите, как вздумается, только выручите его, непутевого, не виноватый он ни сном, ни духом, верно говорю. — Не получая от него ответа, она обхватила его сапоги, прижалась щекой к голенищу. — Ведь знаю, что любя я вам, я на все согласная, только выручите Ивана Осипыча, Христом — Богом прошу!

Кровь бросилась ему в голову, на мгновение он дрогнул, ослаб решимостью, и рука его против воли потянулась к выбившейся у нее из-под платка золотистой пряди, но в этот момент снаружи в теплушку проник повторный зов гудка — более про-

тяжный, более требовательный, и Золотарев, кляня в душе свою минутную уступчивость, наконец, страхнул ее с себя, рывком распахнул дверь, одним прыжком выкинулся из вагона и опрометью бросился в сторону разъезда.

По пути он чуть было не сбил с ног Петруню Бабушкина, который тут же пристроился к нему сбоку и, еле успевая за ним, жарко дышал ему на ухо:

— Ты, Илья Никанорыч, не подумай чего, наше дело — сторона, мы люди маленькие, промеж нами ничего такого не было, Ванька сам по себе, а я сам по себе, у меня к евоным затеям никакого касательства.

Ускоряя шаг, Золотарев даже сплюнул от досады, до того мучительно ему сделалось:

— Отстань, лягавый, еще успеешь в портки наложить, где понадобится, мать твою так!

— Не обижайся, Илья Никанорыч, — тот сразу отстал, остановился, — какой с нас спрос, с сиволапых!..

Золотареву надолго запомнится и это утро, и этот — на бегу — разговор. Не раз потом ему самому придется выбирать, как говорится, между дружбой и службой, и неизменно в таких случаях он будет завидовать той простодушной легкости, с какой Петруня Бабушкин отрекся тогда от своего бригадира, которого, казалось, открыто боготворил...

— Эх, комсомол, прохлопал утечку, — Алимускин спешил ему наперерез в сопровождении молоденького стрелка военизированной охраны, — полюбуйся-ка, вся малина в сборе, теперь — ходи да оглядывайся, того и гляди взбунтуются.

Золотарев обернулся и обмер: бригада почти в полном составе высыпала на полотно, выжидающе следя за приближением незваных гостей. Хохлушкин явно держался особняком, как бы подчеркивая этим непричастность остальных к себе и к тому, что сейчас должно было произойти. По обоим бокам от него, привалившись спинами к обшивке пульмана, стояли его тезки, два брата Зуевы: Иван Большой и Иван Маленький. И хотя особой разницы между ними ни в росте, ни в стати не было — они родились в один день и час — клички эти в бригаде к ним присохли, помогая окружающим отличать их друг от друга. Всегда готовые к отпору и драке, братья зорко цеплялись один за одного, а также за своего бригадира.

— Такие дела, Иван, — Алимускин вплотную подступил к Хохлушкину, рассыпался отрывистой скороговоркой, — проедем

со мной в райотдел, там разберутся, шума не подымай, бесполезно. — Он повелительно кивнул стрелку. — Веди.

Тот — веснушки на белобрысом лице от уха до уха — неуклюже ткнул бригадира ладонью в плечо:

— Пошли, гражданин...

Хохлушкин послушно тронулся с места, но в эту минуту произошла неожиданность: в руке Ивана Маленького вдруг оказался топор, никто не заметил, когда и откуда он успел извлечь этот топор, и рука его уже было взметнулась над головой остолбеневшего стрелка, когда бригадир опередил близнеца:

— Брось, Ванек, — вклинился он между ними, — этим делу не поможешь, только крови прибавится. Лучше мамане моей передай, чтоб не убивалась, скоро буду. И Марию не бросайте, пропадет. — И снова шагнул вперед. — Пошли, служивый, чего ждаты.

Алимушкина еще трясло от бешеного возбуждения, лейтенант был заметно раздосадован таким оборотом, пальцы его теребили пуговицу кобуры, но память уже возвращалась к нему, и, поворачивая следом за Хохлушкиным, он успел лишь погрозить Ивану Маленькому:

— Я с тобой еще поговорю, кулацкая рожа, в другом месте, ты у меня еще споешь лазаря! — И напоследок Золотареву. — Не задерживайся, рассусоливать некогда, айда бегом...

В дрезине было накурено и жарко. Здесь, под присмотром второго стрелка уже сидели двое, судя по всему, те самые — из Бобрик-Донского: сивоусый старик с волосатыми ушами и парень лет около тридцати, в путевой фуражке, весело скаливший на вошедших золотозубый рот.

Дрезина просигналила в третий раз, вздрогнула и, набирая разгон, поплыла мимо разъезда. Золотарев инстинктивно скользнул взглядом вдоль полотна, вздохнул и захлебнулся собственным вздохом: вровень с дрезиной бежала Мария со сведенными в крике губами. Постепенно она все более и более отставала, дрезина, гремя по стрелкам, выходила на прямую, бегущая фигурка продолжала уменьшаться в размерах, пока ее выбившаяся из-под платка рыжая прядь не сделалась крохотным пятном в голубой перспективе убегающей вдаль дороги.

— Ишь ты, — кивнув в окно, осклабился золотозубый, — переживает девка. — Он стрельнул озорным глазом на Хохлушкина. — Твоя, видать, бригадир? — Тот молча сидел в углу, запрокинув голову и устало прикрыв веки. — Про тебя, брат, земля слухом полнится, говорят, все науки превзошел, ни чума,

ни язва тебе ни по чем, из топора суп варишь, коммунией жить норовишь. Чуди — не чуди, а припухать тебе теперь вместе с нашим братом — краснушником до самого «приведения в исполнение». И никакие речи тебе не помогут. — Не услышав ответа, он принялся за напарника. — Слышь, Никитич, чудаки нынче на трояк — пара, сами под вышку лезут, жить неохота. Нам с тобой хоть есть чего вспомнить, пожили в свое полное удовольствие, а эти-то телята за какой хрен туда же?

Но старик тоже молчал, изредка, с угрюмой злостью сплевывая себе под ноги...

На подходе к Узловой их неожиданно накрыл проливной дождь с громовыми раскатами и трескучим полыханием молний. Последние километры дрезина, казалось, плыла сквозь водяную завесу, в которой призрачно растекалась цепь пригородных построек. Когда же из дождевого месива смутно вырисовались первые стационарные коробки, и дрезина сократила ход, Алимущин деловито наклонился к Золотареву:

— Давай, комсомол, дуй сейчас прямо к себе в райком. — Он заметно отмяк от недавнего ожесточения. — Там для тебя у Богата кой-чего от нас оставлено. — Затем добавочно подмигнул, — У меня закон: долг платежом красен. — И снисходительно подтолкнул его к выходу. — Топай, комсомол...

Перед тем, как шагнуть в дождь, Золотарев скосил взгляд в угол, в сторону бригадира: тот сидел, все так же запрокинув голову, но глаза его теперь были широко открыты, словно проглядывая перед собой что-то такое, что недоступно обычному зрению. На краткий миг взгляды их скрестились, но к удивлению Золотарева, в глазах у того не было ни укора, ни осуждения, одна только тоска — долгая, глубокая, иссушающая. С этим Золотарев и вышел в ливень, в город, в наступающий день.

Миша встретил Золотарева без особой радости, но с самого начала был подчеркнуто уважителен, даже ласков.

— Не садись, — Богат стал рыться в ящике стола, — дело у меня к тебе короткое, раз-два и — готово. Вот, — пряча от него глаза, тот протянул ему конверт, — приказано вручить по принадлежности, личное указание товарища Лямпе. — Миша задумчиво поскреб щетинистый подбородок, устремляясь взглядом куда-то мимо него, вздохнул мечтательно. — В Сочи поедешь, Илья, «там море Черное чарует взор», везет людям! — Затем поспешно поднялся, и не протягивая руки, понапутствовал. — Заслужил — получай и будь здоров...

Золотарев вышел из райкома с горьким осадком этой их последней, как потом оказалось, с Мишей встречи. Его не оставляло ощущение, что Богат знает о нем много больше, чем это полагалось тому по должности, и поэтому на душе у него скребли кошки: «Сам же сосватал, а теперь нос воротит, очкарик вшивый!»

После дождя город выглядел чище и просторнее. Все вокруг — мостовые, дома, деревья, провода электропередач — дымилось и отсвечивало в сиянии умытого утра. По уличным водосточкам текла, летела, струилась шальная, с песчаным отливом вода. Вздурораженный ливнем, птичий галдеж упоенно сливался с ревом и бляньем во дворах и перекличкой паровозов на станции. Все предвещало в течении дня зеркальное ведро.

По дороге домой Золотарев не выдержал, распечатал конверт, заранее догадываясь о его содержимом. В нем оказались триста рублей и курортная путевка на полный месячный курс. Некоторое время он машинально перечитывал текст именного формуляра, и все события минувшей ночи вдруг сосредоточились для него в этом прямоугольнике мягкого картона: недолгое застолье, бдение у озера, плач Марии, отречение Петруни, арест. Пальцы его внезапно ослабли, бумажка выскользнула из рук, шлепнулась в дождевую стремнинку у его ног, затем, медленно намокая, понеслась вдоль водостка и вскоре исчезла из вида.

В этот день он в первый и последний раз в жизни напился до глухого бесчувствия.

.....

Золотарев проснулся от предупредительного прикосновения к плечу: над ним склонялось застенчиво улыбающееся лицо знакомого капитана:

— Все проспите, дорогой товарищ, подлетаем, вон она красота какая внизу!

Самолет с сотрясанием снижался, и в ближний к Золотареву иллюминатор, быстро разрастаясь, текла ослепляющая голубизна, схваченная по краям рыже-зеленой щетинкой тайги. Вода под крылом все светлела и ширилась, пока не заполнила собою стекло целиком, и, окончательно осваиваясь с явью, Золотарев облегченно догадался: Байкал!

С Т И Х И

Сиротствуя в отечестве своем,
Чем мы гордимся — немотой, безродством,
Безропотным упорством ли, уродством?
Сиротствуя в отечестве своем.
Жизнь проживая пополам с грехом,
В грехе погрязнув, пополам со скотством,
Ославлены, но в позе благородства,
Оставлены, но плачем не о том.
Потерян рай, Творец о нас забыл,
За пыльными страницами столетий
Мы высохнем, что бабочки, а дети,
Подув слегка, нас разметают в пыль.



И губу закусив, этот воздух мучительный пей!
Самый сладкий, коварный, которого нету родней.
И младенцем вдохнув его, был ты уже одурманен,
Век прожив, надышаться не сможешь, и там
в запредельном тумане,
Если память останется телу, ловить его будешь губами.
Чем же с ним ты покрепче веревки повязан? Судьбою?
Или тем, что рожден в нем и им твой младенец напоен?
Он и сладок и горек, мучителен он и коварен
Воздух тварного мира, последней дарованный твари.



Никогда не вернется младенчества легкое счастье.
Не закружится в луже бумажный корабль.
Жизнью допьяна пьян, затеряешься в чаще,
Отщепенец, изгой, парвеню, мизерабль.

Тамара Буковская — молодая ленинградская поэтесса. Родилась в 1947 г. Окончила филологический факультет ЛГУ. Пушкиновед. В Советском Союзе не печаталась.

Духом нищ, но блаженства уже не обрящешь.
Грешен, грешен, но все ты грехи искупил,
Тем, что жил в немоте, не поняв даже был ли ты счастлив.
Разве в детстве. Не помню, не вспомнить. Забыл.



Когда бы нам... Да что там говорить —
Условия не ставят небылицам.
Виновен синтаксис в том, что душа томится,
Что ей своей печали не изжить.
Нас речь куда угодно завлечет,
И даст убежище и тайный смысл откроет.
С тобой сродни я речью, а не кровью.
Что кровь? — Она бесследно истечет.
Истает плоть и обратится в прах
То, что моим звалось когда-то телом,
Душа метнется паром белым-белым,
Но вкус солоноватый на губах
Оставит слово. Вкус простого мела.



В апреле мыслимы такие вечера —
вчерашний свет сгущается до сини,
но то, что было сумраком вчера —
сегодня свет, растекшийся вдоль линий.
В апреле мыслимы такие вечера —
бездвижный мир мифически покоен,
незавершен, но так чудесно строен,
и нету сил сказать тебе: «Игра,
обман прекрасный, но недолговечный».
В апреле мыслимы такие вечера,
когда душа, что бабочка беспечна,
когда она младенчески светла.



Если, Господи, что-нибудь есть внутри
тела, стыдящегося быть телом,
теплым дыханьем с лица сотри
слезы, как в детстве стирали мелом
на графленой доске нацарапанные штрихи.
Если, Господи, боль это и есть душа,
человек перед смертью комочек боли,
ничего не помня, едва дыша,
ближе к истине, в этом хотя не волен.
Если, Господи, боль это и есть душа.

Из цикла

«ШЕСТЬ ЦИТАТ ИЗ КАТУЛЛА»

Нет губ нежнее, горячее лба,
Души печальнее на свете и не сыщешь...
Заплакала бы, да боюсь освищешь,
Взмолилась бы, да что моя мольба?
Мгновенья сок и сладок и хмелен,
Слова горьки и тем уже неправы,
Что с нежных лет, младенческих пелен,
Душе они потребнее отравы.
Приникнуть бы, поникнуть, испросить
Не милости — хотя бы снисхожденья,
Хотя бы жалости. Ее ли не простить
Греховному от самого рожденья?
Такой судьбой рука отягчена,
Такой надеждой истомилось сердце,
Что мне уже не страшно начинать
Со слов: «А после нашей смерти...»



«Нет — легче посох и сума».

А. С. Пушкин

И целый день нейдет с ума:
«Нет — легче посох и сума».
А, может быть, и вправду путь
тебе как путнику потребен
без мысли суетной о хлебе,
с надеждой выжить как-нибудь.
А, может быть, и ты живешь
минутой, мелочной заботой,
и, Господи, предсмертным потом
в бездумном страхе изойдешь?
Так что же вяжет по рукам,
так что же душу пеленает?
Зима суровая — льняная,
вороньей стаи черный гам,
все, что вокруг живет роясь
и роясь, плача и стеная,
и то, что ночью не таясь
обстанет мрачными стенами.
И если верить этим снам,
то путь заказан, путь заказан,
когда молчанья по губам
холодной кисточкой помазан.
Но если силы есть слова
твердить, дыханьем оживляя,
«Нет — легче посох и сума»,
о, нет, не дай сойти с ума,
пока душа еще живая.



Старых чашек сухой перезвон,
Старых книг золотая приманка,
Старой кожей скрипит оттоманка,
Старой нежностью полнится сон.
В старом доме плывут никуда
Облака на старинной постели,
Столько лет провисев над постелью,
Отлетят за хозяйкой — туда,
Где старинная нежность нужна,
Где старинное кружево вьется,
Только сердце уже не забьется,
Не сожмется уже никогда.

*Из полного текста «Августа Четырнадцатого»**

67

(Этюд о монархе)

Есть свои заботы и у западных королей, но, ещё наследником и позже, нагостясь при их дворах, убедился Николай, что у них всё течёт легче и складнее. А вот быть русским царём — непереносимо трудно.

Только и было его беззаботной лёгкой жизни — до 26 лет, только и было тех несравненных петербургских зим. По утрам лишь иногда всё хиреющие теоретические занятия (впрочем, без права преподавателей задавать контрольные вопросы), в 22 года отпали и они. А целые дни свободны, чай, завтраки и обеды с титулованными и приближёнными, ни одного вечера дома, французские пьески, балеты, песенники и цыгане, весёлые плясы, то венгерцы, то зурначи с лезгинкой, вина, песни и анекдоты, проба рулетки, баккары, редко ложился раньше часа, а то и в три, с трудом подымался к поздней обедне или скрадывал сном половину урока и никогда не оплакивал отмену заседания Государственного Совета или заседание в 20 минут. (Отец заставлял отсиживать. Сам с собою заключал пари, сколько минут сегодня продлится заседание, точно следил по часам и рассчитывал, куда ещё можно успеть ринуться.) В году два дня говенья, иногда праздничные приёмы со смешным безменом кланяющихся дам, а то — всedневная свобода, на катке в Аничковом обычная возня с девицами Шереметьевыми или с ними же отчаянная возня по комнатам, иногда в прятки, то смотреть через забор на Невский, то с молодёжью хлыщить по набережной. Рано усвоенная привычка записывать это всё в дневник, когда-нибудь забавно будет вспомнить. Рано оцененное чтение из русской истории — нет интересней книг. Английский, немецкий, французский языки — как будто и не в труд, сами собой. А теоретическим военным занятиям всегда предпочитал практическую службу —

* «Август Четырнадцатого», I Узел, в двух томах, будет опубликован в составе исторического повествования **“Красное Колесо”**.

последовательно в пехоте, кавалерии, артиллерии.

Каждое лето и отбывал лагерные сборы — с преображенцами, лейбгусарами, гвардейской конной артиллерией. То переходы верхами, то разыгрывание атак (ото всего на память — снимки), иногда подъёмы среди ночи, а с рассвета досыпание, с офицерами состязания по стрельбе в тарелки, песенники и трубачи, церемония вешанья попа и дьяконов — всё это легко и весело молодому здоровому. Жизнь на вольной природе, вне дворцового ритуала — свои удовольствия: прыгать через костёр, играть в городки, возиться на сене, лазить на крышу, грести на байдарках, на лёгких двойках, ловить рыбу, стрелять уток, в дурную погоду — бильярд, анекдоты. А вечера — всё равно свободны, Красное Село — рядом, после обеда каждый вечер туда, усиленная закуска с выпивкой, или катанье на музыке в охотничьем шарабане, или танцы с институтками или ужины с испанцами, с малороссиянами, с цыганами до 6 утра. А в сезон милого красносельского театра — на оперетки, на балеты и ходить за сцену. Положительно очень заняла маленькая Кшесинская 2-я, всё больше обаяла.

Ещё особые месяцы — это сентябри, месяцы императорской и великокняжеской охоты. Охота — из самых лучших человеческих удовольствий. Конные переходы, загоны, стоянье на номерах, стрельба, стрельба — вот олень на полном скаку падает как заяц, за наезд убивали одних оленей десятками, а козлов, а кабанов! (Иногда и неудача, пропуделяешь.) Дамы на псовой охоте. Масса зайцев, фазанов, куропаток, наконец и тетерева. Трудолюбивые охотники не знают себе пощады — то встают в темноте, то в дождь и в холод в сёдлах по 30 вёрст. Обеды с музыкой, вкруговую из рога шампанское за убитых оленей. Охотничьи музыканты на валторнах. Дразнить беловежских зубров. Лаун-теннис. Обедни в походной церкви. Сеансы фокусника. Для препровождения времени — игра на деньги, в карты и в бильярд. Приходили соседние крестьяне с музыкою славить — раздавали по полтысячи платков крестьянкам, давка.

Потом, по воле отца и собственному выбору, — несравненное долгое путешествие, да не в Европу, как ездят все, — на Восток. С двумя Георгиями — своим братом и греческим принцем Джорджи, с молодой весёлой свитой. В Греции — Олимп, в Египте — подъём на пирамиду Хеопса, Ассуан, Мемфис, тайно смотреть на пляску альмей и как они потом раздеваются и выделывают всякие штуки. В Индии — охота на пантер и тигров, Цейлоне — на слонов, Яве — на крокодилов.

Но забавы забавами, возникают и впечатления иные. В Индии испытываешь несносное чувство — быть окружённым самоуверенными англичанами, повсюду видеть их красные мундиры. В Сиаме нельзя не изумиться этой необычайной тонкой древности. В Японии в Оцу — неожиданное, незаслуженное нападение фанатика — и только Джорджи не растерялся, спас Николая, а удар палашиком пришёлся — грозное напоминание о беззащитности наших судеб, всецело в Божьей воле.

Накопилось от путешествия — какие же рядом с нами живут цивилизации, до того необычные, до того многотайные.

Потом двухмесячное возвращение по Сибири, конским гоним. Пространство, поражающее даже русское воображение. Страна — вся наша, а тоже почти неизвестная никому. И с радостным сочувствием рассматриваешь города, в которые никогда ведь не соберёшься больше: Иркутск, Тобольск, Екатеринбург.

А между тем — развивается чувствительное сердце и жаждет идеальной любви. Когда-то на свадьбу дяди Сергея с тётёй Эллой приехала её 12-летняя сестра, ангельская Аликс, принцесса Гессенская, и танцуя с нею на балу 16-летний Николай подарил ей брошку, а она не решалась принять. В беседке вырезали имена. С тех пор её неземной образ Николай понёс в сердце, при её посещениях Петербурга рвался видеть и в 20 лет уже принял окончательное решение добиваться её руки. Как это всегда бывает с монархами, десятки побочных политических расчётов встали на пути цесаревича, пытаюсь отклонить его выбор. Очень против была Мама́, недоволен Папа́, они имели что-то другое в виду, но юный Николай настаивал непреклонно, предчувствуя единственное счастье. После нескольких лет сопротивления наконец, о, разрешение было дано — и в 26 лет своею счастливейшею весной поехал в Кобург свататься и обручаться. Хотя свита князей сопровождала русского цесаревича, а к юной Аликс для душевной поддержки приехала её бабушка английская королева Виктория — но по сути ничего ещё не было решено, главное препятствие: согласится ли Аликс перейти в православие? Первый трудный разговор во вторник с замечательно похорошевшей, но грустною Аликс. Она — противилась перемене религии, и Николай устал душою обезнадёженно. Впрочем, уже то было утешительно в среду, что она вообще соглашалась с ним видаться и разговаривать. Четверг пережил только свадьбою германского принца, да вечером «Паяцами» и пивом, шампанским в билиардной. А в пятницу — о, незабвенный день жизни, какая гора свалилась с плеч, как обрадуются Папа́ и Мама́: Аликс —

согласилась! И Николай весь день ходил как в дурмане, не вполне сознавая, что, собственно, с ним приключилось. Вильгельм поздравлял молодых с помолвкой, а всё разветвлённое королевское семейство на радостях лобызалось. Даже не верилось, даже не верилось цесаревичу, что теперь у него наконец была невеста! И какое же это возвышенное неземное счастье — состоять женихом! А как переменилась Аликс в обращении! — одним этим приводила в восторг. Она даже написала почти без ошибки две фразы по-русски. Ездил вместе с Ней в шарабане, сидели у пруда, рвали цветы и сирень, снимались вдвоём — и публика теснилась в сад смотреть, а пехотная музыка и драгуны играли у жениха и невесты под окнами. Так странно было просто вдвоём кататься в шарабане, ходить и сидеть с ней, даже не стесняясь нисколько! Аликс подарила Николаю кольцо! Удивительное чувство! Как она была трогательна с ним! То и дело теперь просто сидели вдвоём, даже и до полуночи. Сердце с благодарностью обращалось к Господу. Невозможно было представить себе на сколько-нибудь теперь разлучаться — а приходилось, ужас. Аликс уехала к бабушке в Лондон, а Николай один ходил по местам, отныне дорогим, рвал её любимые цветы и вечерами отсылал в письмах. На каждом шагу воспоминания о ней. При себе носил, при еде у прибора ставил карточку Аликс, окружённую розовыми цветами.

Невозможно оказалось прожить без неё в России более двух месяцев — и он снова плыл в Лондон, вполне наслаждаясь чуждой отцовской яхтой «Полярная звезда» и сходя с ума от ожидания. И снова череда прелестных дней, неразлучно с милой душкой Аликс, то прогулка в королевской коляске по Виндзорскому парку, то — на выставку роз, то с наслаждением гребя по Темзе, то на рояле в четыре руки — и всё время со своей ненаглядной, а затем под одною кровлей с нею засыпая в своей уютной комнате. Улучать каждый получас и затем каждый вечер, иногда и до рассвета, чтобы сидеть наедине со своей дорогой невестой. И уже нет от неё тайны дневника, хотя она не понимает по-русски, но то и дело перенимает перо и вписывает сама

[по-английски: ...с беззаветной преданностью, которую трудно выразить словами],

или вперёд, шагая по чистым страницам, там и сям заносит строчки ненаглядным почерком, они переплетутся потом с его петербургскими записями и так переплетутся души их,

[по-немецки: есть нечто чудесное в любви двух душ, которые

воедино сливаются, радость и страдания переживают вместе, и от первого поцелуя до последнего вздоха поют друг другу о любви].

На обеды, на breakfast'ы, на смотры и на спектакли — сам то в венгерке, то в конвойной черкеске, в ментике, в полной гусарской форме или в сюртуке гвардейского экипажа, сразу показывая и русскую славу и свою мужественность. Одеваться в формы полков — увлекательно, как бы успеваешь переслужить во всех этих полках, перечувствовать их военный жребий. Чудные дивные спокойные вечера у милой Аликс. Месяц райского житья в Англии пролетел совершенно незаметно.

[Изображение сердца.

По-английски: никогда не забывай ту. чьи самые горячие молитвы — сделать тебя счастливым].

Заехал в магазин старинной мебели, купил красивую кровать, умывальник, зеркало Empire, очень понравились. Просто умирал от любви к бесценной душе. Выбирал для неё вещицы у ювелиров. Однажды рассказал ей о Кшесинской, ведь это никогда не повторится.

[по-английски: мой дорогой мальчик, неизменный, всегда преданный, верь и полагайся на свою девочку. Я люблю тебя ещё больше после того, что ты мне рассказал.]

Ещё, ещё последние дни у моря, сидеть на песке, смотреть на прилив, бродить по воде голыми ногами. Ни на минуту не отходить от милой дорогой невесты. Ещё день, ещё день потянуть блаженного пребывания. Едва расстался с ненаглядной прелестью, гребным катером до яхты — а там сюрприз! уже ждало от неё дивное длинное письмо.

[по-английски: любовь поймана, я связала ей крылья. В наших сердцах всегда будет петь любовь.]

Какое же сердце может выдержать эти строчки? Тут же ответил с отплывающим англичанином. От тоски и грусти совсем устал, до полного рамолисмента. Как пережить два месяца разлуки?

[по-английски: пусть мягкие волны тебя убаюкают, твой ангел-Хранитель стоит на страже]

По пути отправлял ей письма с лощанами.

Увы, осенью заболел Папа́ и отклонял лечение. И при страстном желаньи лететь на крыльях к милой Аликс, Николай покори́лся долгу и поехал с родителями в Крым. Там изнывал, грустил ужасно, в какой день не получая письма от милой Аликс, зато

на другой день двойной наградой всегда приходило два письма. Слезно огорчилась она из-за отмены приезда жениха. И отчего он летом не женился! Тянулся сентябрь, в иные дни Папá было и гораздо лучше, он был на ногах, занимался с министрами и бумагами. То смотрели на спуск почтовых голубей, много ездили верхом — на виноградники, на ферму, на водопад. Дрались каштанами

[по-французски: ...всегда открывающая ему простёртые объятия]

и шишками. Прогулки дальние верховые на Ай-Тодор и к маяку, в Учан-су и в Алупку. У Папá самочувствие стало скверное, его мутило. Стало горько, что ему так плохо, бедный Папá. С невесёлыми думами и тоскою Николай сидел на камешках у моря, волны катились громадные. Ехать к Аликс было нельзя. После чая — читал, писал. Съехалось уже пятеро эскулапов. В начале октября однажды Папá почувствовал себя настолько слабым, что сам захотел лечь в постель. Дорогая Аликс написала Мамá — и Папá и Мамá разрешили выписать её из Дармштадта сюда. Николай несказанно был тронут их добротой. Какое счастье снова так неожиданно встретиться,

[по-немецки: Я — твоя, ты — мой. Ты пленён в моём сердце, и ключик затерян.]

хоть и при грустных обстоятельствах. Папá ложился после завтрака, а Николай читал за него бумаги, привозимые фельдъегерями. Бумаги бывали скучные, бывали головолomные, и всегда много новых имён и неизвестных обстоятельств. Какая тоска, как Папá это всё помнит? Ездили в Ялту встречать гостей, всегда освежает разнообразие новых лиц.

[по-английски: я мечтаю о поцелуях, которые остаются навсегда]

Неуместно завтракали с музыкой, потом узнали, что Папá приобрелся Святых Тайн.

Ещё через день встречал ненаглядную Аликс и вместе с ней в коляске ехали в Ливадию. Какая радость! — половина забот и скорби как будто спала с плеч. На каждой станции татары встречали хлебом-солью, вся коляска была в цветах и винограде. Папá был слабее, и приезд Аликс утомил его.

И снова вместе днём и вместе вечера, пока не отводил невесту до её комнат. Не мог нарадоваться её присутствию, занимался бумагами в её комнатке. Ездили в Ореанду, любовались морем, играли в карты. Присутствие Аликс давало столько бод-

рости и спокойствия! — с каждым днём любил её всё больше и всё глубже — что за счастье иметь такое сокровище женою! Помогал ей вышивать воздухи для Святых Даров ко дню её первого причастия.

[Твоё Солнышко молится за тебя и за любимого больного. Будь стойким и прикажи докторам сообщать тебе ежедневно, в каком состоянии они его находят и все подробности, что будут делать. Таким образом ты обо всём всегда будешь знать первым. Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя. Ты — любимый сын отца. Выяви свою волю и не позволяй другим забывать, кто ты.]

Она права: надо научиться проявлять себя и дать понять.

Гуляли у моря. Коляски не было — и боялся за ноги Аликс, что она не сумеет взлезть наверх.

Еще день — Папá снова причастился. О, Боже! Неужели это так серьёзно? И возможен — к о н е ц ? О, Господи, отгони от меня это испытание, не возлагай на мои плечи этого непосильного, нежеланного!

[Душки, когда чувствуешь себя упавшим духом — приходи к Солнышку, она постарается тебя согреть своими лучами.]

Часть вечера провёл у Папá, его мучил сильный горловой кашель. Потом, как всегда — у милой дорогой Аликс.

Что за тяжелые дни! Чем же это кончится? Папá вовсе не спал, и так худо было утром, что всех к нему позвали. Не смели отлучаться из дому. Такое утешение иметь дорогую Аликс! — пока читаешь дела от разных министров, а она целый день сидит у тебя. Потом совещание докторов у дяди Владимира. Завтракали так, чтобы не шуметь. Потом Папá почувствовал себя бодрее, сидел на следующий день в кресле. Позвал Николая и стал его готовить, что ему придётся царствовать. Теперь каждый день будут заниматься, Папá будет объяснять Николаю. Так страшно было это всё и так больно сердцу — ничего голова не воспринимала. Потом Папá лёг в страшной слабости.

На следующее утро затруднилось дыхание, давали кислород.

Он причастился третий раз — и отозвал его Господь к себе.

Голова шла кругом, не хотелось верить, чувствовал себя как убитый. Вечером была панихида — в той же спальне. У дорогой Аликс опять заболели ноги.

Случилось худшее, именно то, чего Николай боялся всегда. В один день — какая страшная перемена. Уже никогда не будет

прежней лёгкости. Все заботы теперь станут его уделом на всю жизнь. И на то, и на всё — Божья воля.

Быть русским царём — непереносимая тягота.

Но и в глубокой печали Господь даёт нам тихую радость: милая Аликс была миропомазана. Потом целый день отвечали с нею на телеграммы. Было холодно, море ревело. И на второй день только и делал, что отписывался от туч телеграмм. И на третий день писал телеграммы без конца. Днём катались с нею, вечерами по обыкновению сидел у неё — и это общение давало силу нести свой жребий.

[по-немецки: Господь ведёт тебя, своё дитя. Не бойся.

по-английски: Почаще спрашивай себя: как бы я поступил, завидя ангелов?]

В семействе происходило брожение умов, как теперь устроить свадьбу: торжественно или частным образом, в Питере после похорон или теперь же здесь? Все дяди, забрав много влияния, настояли, что в Питере.

Через неделю после кончины выехали. Казаки и стрелки, чередуясь, донесли гроб от ливадийской церкви до Ялтинской пристани. Под андреевским флагом его повезли вдоль крымских берегов. В Севастополе вся эскадра стояла выстроенная в одну линию. Траурный поезд двинулся на север. На крупных станциях служили панихиды. Утешение и поддержка — присутствие милой ненаглядной красавицы в поезде. Сидел с ней целыми днями.

[по-английски: Что любовь соединит — ничто не разъединит.

Скоро стану твоей единственной жёнушкой.]

Через Москву до Кремля гроб везли колесницею и у десяти церквей останавливались для литий. И — первый шаг прямо вместо отца: в Георгиевском зале надо было сказать несколько слов собравшимся сословиям. С утра волновался, ужасные эмоции! — но, слава Богу, сошло благополучно.

В Петербурге шествие с гробом от вокзала до Петропавловской крепости продолжалось 4 часа. Панихида в крепости. И снова панихида вечерняя. И новые, новые панихиды день за днём, в присутствии иностранных делегаций и принцев. Уже у всех надорвалась душа, заплакали глаза. Пришлось принимать полный состав Государственного Совета — и опять говорить (Победоносцев составил речь и наставлял). Свиту принимать — и опять говорить. И читать министерские доклады, и выслушивать первые устные. И с каждым членом иностранных делегаций о чём-то изыскивать разговаривать. И сербский король, и румын-

ский король отнимали немногие свободные минуты, когда бы видеться с Аликс. Всё — урывками, скучно так, поскорей бы жениться — тогда конец прощаниям. И — снова архиерейская служба с отпеванием, на двадцатый день — снова панихида в крепости, и молились на могиле. Двое принцев уехало, скорей бы вынесло прочь и остальных. Принимал разных иностранцев, с письмами и без писем. Отвечать приходилось на всякую всячину, совсем терялся, с толку сбивался, на душе камень, чуть не разревелся, давая обед всем заезжим принцам в концертном зале Зимнего. Всё больше шло министерских докладов. Принял весь Сенат в полном составе в бальной зале. Принимал серию генерал-губернаторов. Губернаторов. Серию командующих войсками. Атаманов казачьих войск. Массу депутатий со всей России, по 500 человек разом в Николаевском зале. День отдыха — когда нет приёмов и докладов или читать приносили мало, и можно было чудно погулять, посидеть с Аликс. При таких тяжёлых обстоятельствах странно думать о собственной женитьбе: будто о чужой. Чересчур тесно было бы поместиться вдвоём в четырёх прежних комнатах Николая — и ездили с Аликс выбирать ковры и занавеси для двух новых комнат.

Наконец, о, великий день, из большой церкви Зимнего вышел женатым человеком — и поехали с Аликс в карете с русской упряжью в Казанский собор мимо выстроенных по Невскому войск. Теперь — рассматривались свадебные подарки ото всей семьи и отвечались новые телеграммы, уже свадебные. Невообразимо был счастлив с Аликс, просто не было сил расстаться друг с другом, всё бы время проводил исключительно с ней — но отнимали занятия. Чтобы скрыться от министерских докладов — на неделю уехали в Царское и там невыразимо приятно жили, никого не видя и день, и ночь, и без нужды читать бумаги. Беспредельное блаженство. Жили действительно душа в душу. Большого и лучшего благополучия человек на этой земле не вправе желать.

[по-английски: Не могу достаточно благодарить Бога за моего Бесценного! Покрываю поцелуями дорогое твоё лицо. Если твоя маленькая жёнушка невольно огорчала тебя, прости ей, душки!]

Гуляли по парку, катались на дрожках, на санках, посещали цейлонского слона. Играли в четыре руки на фортепьяно, рисовали, рассматривали альбомы, вычитывали смешные стихи из старых модных журналов. Не описать словами, что за блаженство жить вдвоём с нежно любимой женой в таком хорошем месте, как Царское. (Да он и родился тут.)

Опять Петербург. Развешивали картины и фотографии на стенах новых комнат. На 40-й день — заупокойная обедня в крепости. Рассматривали проекты устройства комнат в Зимнем, выбирали образцы мебели и материй. Без конца читал губернские рапорты. Опять тормозили Николая целыми утрами: то Победоносцев с наставлениями и предостережениями (он приходил, когда сам назначал), то министры с противоречивыми друг другу докладами, совсем одуревал, то черед военных представлений, то приём целого Адмиралтейского совета, то подписывание указов Сенату о наградах — к своему же тезоименитству. А там — готовить подарки к Рождеству в Англию и в Дармштадт и разбирать вещи душики-жены, приехавшие из Дармштадта, и рассматривать свои подарки под ёлкой. И покататься вдвоём в охотничьих саниах на иноходце. Вот уже больше месяца, как были женаты, а только начинал привыкать к этой мысли, любовь к Аликс продолжала расти. А несли, несли безжалостно много бумаг для прочтения и редко оставалось почитать вслух французскую книжку или для себя исторический журнал. (Так приятно окунуться в дальнюю русскую историю! А более всего любил Николай царствование Алексея Михайловича.) Полупраздником был день, когда принимал только одного министра или так удачно, что торжественное собрание Академии Наук заканчивалось в один час, оставалось время для коньков или поздно, при луне, — санками на острова.

Так — ни в какой отдельный день, а незаметно во все эти траурные дни Николай втягивался в безвыходный жребий стать всемогущим всевластным монархом. Что надо было делать? Что говорить? Кого назначать? кого смещать? С кем соглашаться, с кем нет? Где-то пролежала единственно-правильная линия, открытая Божественному Провидению, но сокрытая от глаз людских — и от глаз юного монарха, и его советчиков, которые, конечно, тоже ошибались. А от покойного отца не досталось Николаю выслушать ни одного политического наставления — ни при здравьи его, всё считалось рано, пусть позабавится, созреет, ни в дни болезни, всё считалось не смертельно. Отбывал когда-то Николай скучные отсидки в Государственном Совете, но почти не вникал в смысл прений этих подагрических, диабетических, седых и лысых старцев.

Теперь дядя Владимир успокаивал Николая: и Александр II и Александр III вступили в царствование в смутном положении, а сейчас, после 13 лет мира, всё спокойно, ни войны, ни революционеров, и нет необходимости торопиться с какими-то нов-

шествиями, с изменениями, даже и людей на постах никого менять не надо — это создало бы впечатление, что сын осуждает действия отца. Такой совет чрезвычайно понравился Николаю, это было самое лёгкое и понять: не ломать головы, ничего не менять, пусть плывёт как плывёт. (Только министра путей сообщения сразу пришлось уволить за жульничество, но и отец собирался.)

Однако нельзя было рассчитывать на слишком частые советы дяди Владимира из-за того, что тётя Михен вполне владела им, а она нехороша была с Мамá. Как и на советы дяди Алексея, дяди Павла, дяди Сергея: у каждого была своя жизнь и каждый справедливо мог считать, что он более подготовлен наследовать трон. Тем меньше можно было ожидать полезных советов от восьми двоюродных дядей, а двоюродный дедушка, генерал-фельдмаршал и председатель Государственного Совета, был сердечно занят одною артиллерией. Правда, был Победоносцев, недавний учитель наследника, когда-то и первый наставник отца, ему принёс Николай жалобу на огорчение первых недель: подчинённые заваливают бумагами, некогда читать. Победоносцев объяснил: многое — пустое, дают на подпись, чтоб избежать ответственности, надо их от этого отучать. Но как бы ни был умён Победоносцев, нельзя было отдаваться его властным советам, да и мнению его не могли так решительно превосходить мнений других умных приближённых людей, как например Витте. А Витте, быстро узнал Николай, был переполнен определительными мнениями и ничего слаще не знал, как только высказывать их, особенно в областях, не касающихся его министерства финансов, — с тем ли, чтобы все области других министерств от него зависели. Но даже и по министерству финансов не он единый имел идеи, например вводить ли золотое обращение? Один одно говорил, другой — другое, и приходилось созывать совет, чтобы разобраться — и всё равно разобраться было невозможно. То Витте предлагал создать комиссию по крестьянским делам — и молодой государь соглашался. Приходил Победоносцев, указывал на вздорность этой затеи — и государь гасил. Тут Витте присылал толковую записку о крайней необходимости комиссии — и государь на полях полностью соглашался, убеждённый. Но приходил Дурново настаивать, чтобы комиссии не было — и Николай писал: «повременить». То находили никому до сих пор не известного выдающегося патриота и понимателя русской жизни и тот увлёк государя такой мыслью: всеми силами препятствовать вторжению иностранных капиталов в Россию. И государь уже поставил несколько резолюций в этом духе на бумагах, этот взгляд тотчас стал из-

вестен иностранным компаниям — встревоженный Витте принёс записку профессора Менделеева о крайней пользе именно притока иностранных капиталов, и настаивал, чтобы государь высказал мнение, обязательное для всех министров. И собрали совет министров и постановили дозволить.

Вот это и было в роли монарха самое мучительное: среди мнений советников избрать правильное. Каждое излагалось так, чтобы быть убедительным, но кто может определить — где правильное? И как было бы хорошо и легко править Россией, если бы мнения всех советников сходились! Что бы стоило им — сходиться, умным людям — согласиться между собой! Нет, по какому-то заклятью обречены они были всегда разногласить — и ставить своего императора в тупик. И только душили его записками, докладами, докладами.

А тут ещё, как будто мало было разногласий в кругу министров, — многие отдалённые от трона и даже от столицы, подогреваемые надеждами, что над ними нет теперь твёрдой руки покойного государя, захотели также высказывать свои мнения и иметь свою долю в управлении русскими делами. Подобные дерзкие мысли самонадеянных ораторов, чуть ли не доходящие до ограничения государя и конституции (в безумии говорения они не понимали, что их же самих конституция и погубит), стали высказываться на губернских земских и дворянских собраниях. Это было очень обидно, именно: что молодого монарха не считают за силу, а хотят поживиться на его первой слабости и раздёргать власть по пёрышкам. Но как ни был Николай молод, он понимал, что наследовал мощную силу, сильную только в своём соединении, и нельзя было дать ее расщеплять. Он твёрдо решил, что даст отпор: на приёме дворянских, земских и городских deputаций ответит им наотрез. Однако, волновался как никогда в жизни. (И Аликс волновалась: достойно ли её поклониться депутатам, решила не кланяться.) Стал бояться не запомнить короткую подготовленную ему речь. Но и не хотел открыто читать, а высказать как собственные свои слова, только сейчас приходящие. Близкие надоумили его держать записку с речью на дне фуражки, которую по церемониалу он снимет. И всё было сделано так, и произнёс ли, прочитал он всё уверенно: охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как незабвенный родитель, но в главном месте, что некоторые земцы увлекаются беспочвенными мечтаниями об участии в делах управления — ошибся и выговорил «бессмысленными» мечтаниями. Всё прошло хорошо, поставил их на место. (И кажется,

велика ли ошибка? — всё равно отказ. Но много лет не могли забыть, всё попрекали «бессмысленными».)

И не даром эта церемония была отмечена весьма дурным предзнаменованием: когда тверская делегация (с которой и возникли главные неприятности) подносила приветствие — из рук предводителя выпало блюдо и покатилося со звоном. Всё — на пол: хлеб — развалился, соль просыпалась. А Николай сделал помогающее услужливое движение — поднять блюдо, но ощутил, что императору это неуместно и только больше смущает всех. (И потом вспоминалось: правда, все беды начались с этого приёма, с этого блюда.)

Тяжко быть русским царём, особенно поначалу, не освоюсь. Но не так было бы тяжело с одними вопросами внутренними, если б не ломала голову еще политика внешняя, где того многообразнее лица, мнения, возможности — и в грустные минуты таишь про себя тоску, что выбрать истинный путь непосильно уму человеческому. Умирал вослед за своим государем старый опытный министр иностранных дел Гирс — и в первом же докладе сообщил юному монарху, что уже два года Россия скована с Францией секретным военным союзом, настолько секретным, что даже советы министров обеих стран о нём не знают, а между тем и разработанным, так что уже определено, что в случае войны с Германией Франция обязана поставить близ миллиона человек, а Россия — восемь миллионов. И с этим тайным бременем обречён был теперь Николай получать настойчивые, почти любовные, письма от Вильгельма, горячо любящего друга и преданного кузена, о том, что неслучайно Россия и Германия и царствующие в них дома уже столетие связаны традиционными узами дружбы: в этом — единство их противостояния анархизму и республиканизму; тот монархический принцип, который только и держит эти страны на прочных основах рядом с Францией, где президенты мостятся на троне обезглавленных королей, а едва посаженных злодеев распускают амнистиями; рядом с Англией, где всемирный приют скотам-анархистам, где министерства плетутся к падению, сопутствуемые насмешками всех.

Чем-то очень привлекал и покорял Вильгельм! Он так был всегда искренен, так уверен в правоте каждого слова, какое высказывал, — да ведь и несомненно правда! Его слова многое объясняли Николаю. Даже не пройдя никакой государственной школы, Николай существом понимал, что Россия крепка именно монархическим принципом, а при переменчивой республике погубят её случайные болтуны в их сменной чередѣ (от торопливости сме-

ны каждый спешит насытить честолюбие) и молчаливые капиталисты, имеющие деньги покупать газеты и тем направлять общественное мнение.

Так-то так, но и воля отца была над наследником. Почему-то же вступил отец в союз с президентом, ютящимся на троне обезглавленных королей, и со своей обнажённой головой — выслушивал же в Кронштадте Марсельезу?

Каклюбовно-ласково-дружествен был Вильгельм к Ники и к Алисе, так всем сердцем ему навстречу хотелось быть откровенным и Николаю, но тайный союз тяготел и отяжелял искренность его ответов: страшно подумать, что́ будет, когда Вилли об этом союзе узнает?

Перед смертью старого министра успел понять Николай, что же толкнуло отца на странный союз: между Германией и Россией прежде был тайный договор о взаимном страховании: если одна из них втянется в войну, другая обеспечивает благожелательный нейтралитет. Но молодой Вильгельм, едва наследовав деду и оставив Бисмарка, послушался нового канцлера и в 1890 не возобновил договора.

Так что ж, за страстно-льстительными словами Вилли и подарками при каждом письме надо было угадывать и встречную тайну? Так жить — не хватит ничьей головы. А если подойти ко всему с хорошим сердцем — так это всё может быть одно недоразумение. Надо в одном сердце совместить и Германию и Францию, надо просто помирить их!

Тут сразу и случай представился: торжества открытия Кильского канала. Все флоты едут туда, неужели же французский не захочет поехать вместе с русским? Уговорил. И какое торжество — первый шаг к европейскому примирению! (Во французском парламенте очень бранились потом: совпало с 25-летием франко-прусской войны.)

А тут и другой случай. Ещё в те месяцы, когда умирал Александр III, проворная Япония, о которой никто до сих пор и не слышал, которой и в списке держав не было, вдруг начала войну против беспомощного Китая и быстро побеждала его. Из всех европейских правителей молодой Николай один только и видел тот край своими глазами, и от этого как бы ощущал особую за него ответственность и особую к нему направленность. Время не ждало, нельзя было откладывать, пока освоишься и привыкнешь управлять, а — немедленно останавливать хищницу. И тем же толчком миролюбия он призвал двух старинных врагов — Францию и Германию, вместе помочь ему в этом. И хотя всем казалось невозможным их совместное выступление, но вот они

выступили вместе, втроем с Россией, и получилось очень удачно: Япония прервала свою победную войну, отказалась от Кореи, от Ляо-Дунского полуострова с Порт-Артуром, взяла себе только Формозу, ничего на континенте, и обещала крайне осторожно относиться к интересам других держав.

Вот, бывает же мудрость в сердце кротких! Юному монарху удалось такое, что не снилось опытным старым политикам.

Кузен Вильгельм разгорячился на японскую выходку даже больше, чем сам Николай. Он признавал, что несомненно великая задача России — цивилизация азиатского материка и защита Европы и креста от вторжения жёлтой расы и буддизма, Европа должна быть благодарна Николаю, что он так быстро понял российское призвание, а Германия позаботится, чтобы европейский тыл России был при этом покоен.

Николай же до сих пор ещё и сам не понимал этого российского призвания, но теперь всё больше стал задумываться и понимать. Да, неслучайно судьба повела его ещё юношей на этот таинственный Крайний Восток и какими-то нитями ответственности связала с ним, даже и покушением в Оцу. Восток был теперь для него не абстракция, но обширные плодородные тёплые пространства у тёплых морей, рядом с нашей ледяной Сибирью, не поддающейся обработке, не знающей морского выхода, — а в сплошном сухопутном прилегании одного к другому была своя пророческая связь. (Витте подал золотую мысль: строить нам дорогу не вокруг Амура, а сокращённо, по Манчжурии, Китай не сможет отказать.) Да оказалось, что ещё и отцом были отпущены одному предприимчивому буряту 2 миллиона рублей на мирное завоевание Монголии, Китая и Тибета, истрачены, а теперь спрашивались ещё 2 миллиона на продолжение предприятия. И стоило дать. Восточная идея становилась личной излюбленной идеей молодого монарха. И, конечно, не слабая Япония была нам там помехой, но всюду подставленное железное английское плечо. (Вилли подозревал, что Япония так крепкоголова только благодаря тайным английским обещаниям.) Действительно, кто был исконным врагом России всегда и везде — это Англия. Среди немногих государственных фраз отца запомнил Николай: всегда и везде — в Азии, в Персии, в Константинополе и на Балканах — каждому русскому шагу мешала именно Англия. (Хотя так приятно было гостить у королевы Виктории.)

Какую тайну можно сохранить при республике? Во французском парламенте очень скоро проболтали тайну союза с Россией. Так стыдно было перед Вилли! — хотя не Ники же придумал

такой союз. Но дружба их выдержала это испытание, Вилли простил великодушно (да ведь не сказано было в договоре, что против Германии). Только пришлось выслушать от него, что в один прекрасный день Николай и не заметит, как втянется в самую страшную войну, какую когда-либо видела Европа.

А уже миновал и год от смерти отца. Снялся траур — хотя совестно и жалко, траур служил последней видимой связью с дорогим прошлым. И тут же стали готовиться к коронации — двадцати майским праздничным дням в Москве. Как на всякое общественное испытание, где придётся много показываться публике и может быть говорить публично, Николай ехал со стеснённым сердцем, внутренне боясь. (Знала об этом только Солнышко Аликс и подбодряла.) Но и сам же он доверчиво ждал, что от возложения венца в Успенском соборе он весь переменится, станет уже подлинным властным правителем с ведением, вложенным от Бога. И с этой верою и жаждою (насколько же проще станет ему управлять!) он, в порфире и в венце, с державой и скипетром в руках читал пересохшим горлом символ веры и слушал коронационную молитву: «даруй ему разум и премудрость, во еже судити людям Твоим во правду, согрей его сердце к заступлению нападствуемых, не посрами нас от чаяния нашего». Со дня коронации почувствовал себя возмужавшим. Со дня коронации много задумывался об избранности и верховсудности королей. А направить может только Господь.

На четвёртый день после коронации выпала незаслуженная беда: за гостинцами с ночи собравшаяся толпа вдруг рано утром бросилась давиться без видимой причины — и сама в себе за десять минут растоптала 1300 человек. Печальным зачерком легла эта жертва на все торжества, сердце Николая сжалось и омрачилось: за что наслал Бог это несчастье? почему оно прилегло к коронации? нет ли здесь дурного знака?.. Но не только для размышлений не оставалось времени, а неуклонное расписание празднеств требовало в тот же вечер ехать на бал ко французскому послу — и Аликс считала, и все дяди дружно голос повысили, что не поехать было бы некорректно ко Франции и чрезмерное внимание к побочному происшествию.

А получилось нехорошо.

Да, шаги монарха расчисляются не так, как у всех. Соотношения держав и народов входят в его повседневный быт. И к этому надо привыкать. (Николай проявил милость, чтобы не пострадал и не был наказан никто из распорядителей Ходынского поля: не увеличивать ещё числа несчастных.)

Но над самою царскою четой как будто повисло какое-то небесное непростение: летом поехали в Нижний Новгород на все-российскую выставку русского труда — и как раз в час их посещения нашла чёрная туча, пошёл сильный град и дробил многие стёкла в павильонах, сыпал и бил, как громил выставку.

Тем летом совершили большое приятное заграничное путешествие: посетили императоров австрийского, германского, датского — родного дедушку, гостили в Шотландии у бабушки Виктории, и наконец пожинали триумфы в Париже, где толпа встречала русского царя почти так восторженно, как московская, портреты его раздавались на улицах, печатались на конфетных обложках, с русскими гербами продавалась посуда, мыло, игрушки — и на военном параде растроганный Николай решился сказать о *братстве по оружию* с французами (хотя память его и образование не хранили: когда же такое было). Потом отдыхали от восторгов на родине Аликс в Дармштадте. И мрачные воспоминания Ходынского поля и нижегородской выставки больше не преследовали царственных супругов.

Парижская встреча так растрогала Николая, что снялась его недоброжелательность к республиканской стране, и он тепло согласился с французским правительством на какой-то дружественный уговор по Турции, о котором только в Петербурге ему объяснили, что в Париже его обманули, связали руки-ноги ничего не делать по проливам.

Вот так обещать хорошим людям! — а тебя обманывают. Николай так обиделся, что дал министрам уговорить себя в исправление: теперь же высадиться в Босфоре! Турция — умирает, и надо брать наследство. Наш посланник в Константинополе особенно добивался этого, уверял, что сопротивление будет самое ничтожное, и военный и морской министры подтверждали полную стратегическую возможность. Очень было заманчиво! — начать новое царствование со славного взятия Царьграда, недоступной мечты всех предков Николая. Константинопольский посол уже составил для себя письменные инструкции от имени государя — право в избранный им момент вызвать в Константинополь наш флот с 30-тысячным десантом — и Николай подписал. Придут в Дарданеллы чужестранные флоты? Ну что ж, примем войну и со всей Европой! (Но Англия воевать не будет, она предпочтёт делить Турцию и захватить себе Египет.) Тут вернулся из-за границы дядя Алексей и руками замахал: в Париже уже идут слухи, это будет огромный скандал! И Николай отобрал полномочия у посла.

Еще никак он не был уверен, что его движения — истинно императорские. Он жаждал бы проявлять движения властные и беспрекословные — но не рождались. Он жаждал бы иметь полное знание, как править государством — но не от кого было взять. От самого первого дня короны он застигнут был состоянием недоумения и так и плыл в нём. Он очень бы хотел понять законы совершающихся событий, но не видел, где почерпнуть их и стеснялся о них спросить кого-либо, да по гордости не хотел и показать, что не знает. Да и не осталось таких советников от отца. Победоносцев ему ещё в юности надоел своими наставлениями — настойчивый брюзга, длинный, худой очкастый со впалыми щеками, отставленными ушами, как оттопыренными против этого хужающего безнадёжного мира. А ретивый неутомимый Витте, такой подавляюще умный, что от его рассуждений дух захватывало, изобретатель винной монополии, такой умелец добыть деньги у Ротшильдов — пугал и давил своей склонностью обратить всю жизнь и всё государство в отдел министерства финансов. В министры проводил он только таких, кто не мог соперничать с ним.

Николай остался хуже, чем сиротой: ни одной доверенной души, кроме горячо любимой Аликс да мудрой Мамы́. В высшем свете не оказалось друзей у молодой императорской четы — оттого ли, что они не вели шумной жизни Двора, но всё старались оставаться тихо вместе. Даже их с Аликс привычка не пропускать ни обедни, ни всенощной воспринималась аристократией как причуда.

Может быть следовало теплей и доверчивей отнестись к Вильгельму, пылкому другу — но его пылкость немного и пугала. Равновластный император и тоже молодой, его настойчивые горячие советы иногда добивались до самого сердца. Нашли с ним удобным иметь между двумя великими монархами кроме неуклюжих министерств еще и личных посланников-адъютантов — для быстрого искреннего обмена. *Для нас в Азии*, говорил Вилли, азиатские дела стали их общие. В 1897 он приехал в Петербург, долго гостил, было особенно сердечно и откровенно, установили единство всех взглядов и совместный идеал защиты белой расы на Востоке. Как-то августовским вечером возвращались из Красного Села в Петергоф вдвоём в коляске, и Вильгельм, почти усами к лицу дорогого кузена наговаривал, наговаривал — и согласил Николая не препятствовать ему занять Киао-Чао, этой настойчивости невозможно было противостоять! А мы после японо-китайской войны объявили Китаю, что

не только не имеем с ним спорных вопросов, желаем жить в дружбе, но готовы защищать его от европейцев — и за то получили от Китая право строить железную дорогу по Северной Манчжурии. Теперь Китай обратился к России с просьбой о защите от Германии.

Создалось щекотливое положение. Придуманно было ответить так: Россия готова помогать Китаю, но для этого нуждается иметь операционный пункт на китайской территории. Те предложили Порт-Артур. Собралось совещание — брать или не брать? Николай понимал, что это незаслуженно и по-человечески нехорошо — однако мог ли великий император иметь простые человеческие мерки? Никаких твёрдых императорских правил вообще не было никогда на земле. Порт-Артур был очень необходимый незамерзающий порт, далеко на юг от русского побережья — для вящего величия России как не взять? имеет ли государь право не взять? К тому же, мы должны стоять твердыней против жёлтой расы (и Аликс очень против жёлтых). Решился — брать, на 25 лет в аренду и с правом соединить его с Великой Сибирской магистралью, которая поспеет скоро.

Вильгельм аплодировал: мастерское соглашение! Собственно, ты становишься хозяином Пекина! Благодаря твоему великому путешествию ты стал знатоком Востока. При твоём уме тебе всегда удастся найти выход. Глаза всех с надеждой обращены к великому императору Востока. — И сам готовил для Ники гравюры в подарок, как они вдвоём охраняют Европу от жёлтой опасности.

Да, тут много было верного. Что-то особенное чувствовал и понимал Николай в Востоке. Может быть, это было из первых прозрений помазания: призвание России расширяться далеко-далеко на Восток.

Однако, китайские приобретения России и Германии усилили напряжённый английский поиск. И Вильгельм честно предупредил Николая, что Англия ведёт с Германией переговоры о союзе — неужели же она разлучит друзей? Но ещё раньше перед тем, ответил Николай, Англия предлагала союз и России, хотя бы союзом её связать и удержать от дальневосточного развития — и получила отказ. Переменчивость дипломатических отношений приводила в головокружение: между отдельными людьми не бывает таких перемен и крайностей, как между странами. А все короли при этом — братья и кузены, женаты на родственницах, все — родня.

И к чему ведёт это нескончаемое соревнование вооружений великих держав? Кому линибудь обеспечивает оно мир? Только расточение сил всех народов, а потом худшую войну. Военный министр Куропаткин докладывал однажды государю, что вот неизбежно подходит и нам и Австрии, чтоб не отстать ото всех и друг ото друга — вводить скорострельные пушки, и потратит на них Россия не меньше 100 миллионов рублей. А вот, с мужицкой простоватостью высказал он, договориться б нам с Австрией — ни им, ни нам не вводить? Только выгодно обеим, а соотношение сил не изменится. Ожидал Куропаткин, что государь побранит за неуместную мысль, но Николай, глубоко взволнованный, ответил ему:

— Вы меня, значит, ещё мало знаете. Я — очень сочувствую такой замечательной мысли. Я долго был и против введения последних новых ружей.

С несомненностью почувствовал он, что вот наконец здесь нашёл истинное государево дело, внушённое Богом.

Стали перебирать: разве одни скорострельные пушки предстояло вводить? А полевые мортиры? фугасные снаряды? бетонные укрепления? новые типы пулемётов? Сколько бессмысленных трат! — поражать бюджет, подрывать народное благосостояние — и во имя чего? Долгие мирные перерывы — только накопление небывалых боевых средств. А через малое число лет и это всё оружие потеряет цену и значение и потребует новое. А что если обратиться ко всем державам сразу: договориться и не развивать вооружений дальше? Ведь предложил же Александр II всему миру — запретить разрывные пули — и запретили! И надо поспешить с обращением именно теперь, когда неевропейские нации тоже быстро воспринимают изобретения современной науки. (И именно теперь, после наших приобретений на Ляодунском полуострове, дать всему миру доказательства русского миролюбия.) Мысль разрабатывалась и всё более манила: именно России взять на себя миролюбивый почин. Именно Россия может себе разрешить даже и отстать в вооружениях: мы так велики, что на нас никто не нападёт. А сэкономленные деньги, мечтал Куропаткин, пустить на крестьянское устройство, на укрепление наших корней. Бросить в мировую ниву великое семя. Освободить миллиарды для благосостояния людей. Создать благодарную память в потомстве. Августейшим именем запечатлеть начало грядущего столетия.

И в августе 1898, не предупредив ни союзную Францию, ни братски-дружественного Вильгельма (никому не дать преиму-

щества размышления, а главное — не дать себя отговорить) — разослали всем державам ноту российского правительства. (Излюбив каждое слово там, Николай трижды читал её государыне вслух — и всё более излюбивал.) Нота призывала не к разоружению, что вызвало бы тревогу и недоверие, но положить предел развитию вооружений. Вместо мира напряжённо-вооружённого установить истинный и прочный, сохранить духовные и физические силы народов, труд и капитал, от непроизводительного расточения. Созвать для этого конференцию и создать третейский суд между государствами.

Весь мир был застигнут врасплох. Печать (а значит народы?) похваливала, отнеслась местами даже восторженно, правительства — иронически или недружелюбно: с царского трона легко произвести всё, что угодно: правительство царя не зависит от общественного мнения, от одобрения кредитов. Франция была обижена, как союзница, от которой скрыли подготовку ноты, и возбуждена, что у неё хотят отнять 27-летнюю подготовку возратить силою Эльзас и Лотарингию. Англия и Америка отнеслись спокойней, поскольку не предлагалось ограничивать флоты, а они своих целей достигали флотами. Тут между Англией и Францией вспыхнул грозный конфликт в Африке, угрожавший войною. Так запутались счёты между державами, что нельзя было избрать момента, равновыгодного всем для остановки вооружений: всегда кто-то оказывался отставшим. Да и у самой России были проблемы: всё тот же Босфор и Крайний Восток, и ещё подумать надо было: не поспешить ли всё-таки перевооружиться скорострельными пушками — чтобы сравняться, чтобы не думали: мы потому предлагаем остановить вооружения, что истощили свои средства. Перевооружиться — а уже потом ограничиваться? Вильгельм телеграфно приветствовал возвышенность побуждений русского императора — и тут же увеличил свою сухопутную армию.

Либо надо было оставить благородную затею, либо продолжать настойчивей. От многих обществ и частных лиц Николай получал выражения благодарностей — и уже одни они вдохновляли продолжать. В декабре 1898 он согласился на вторую циркулярную депешу державам. Предлагалась всеобщая конференция с программой: удерживать вооружённые силы в границах, определённых соотношением армии к населению, военного бюджета к государственному, запретить вводить новое огнестрельное оружие, новые взрывчатые составы и подводные лодки для морской войны. И согласиться на третейское разбирательство между державами.

Всё это было так невообразимо, что державы не могли отказаться от конференции, но и согласиться не хотели ни на что. Мировая печать по-прежнему хвалила начинание русского царя, хвалила конференцию, она состоялась в 1899 в Гааге, но нового столетия не открыла собою. Германский представитель заявлял, что *его* народ не изнемогает от бремени расходов, и всеобщая воинская повинность для немцев — тоже не бремя, а честь. Комиссия главных держав отклонила все основные предложения России, и арбитраж тоже не был признан обязательным.

А между тем такая большая правда была во всём начинании! — и так тупо шлёпнулось в болото. Николай перенёс неудачу как личную. Он — двоился, он уже и раскаивался, что всё это начал и оказался как будто в дураках, дал называть свои намерения комически-сентиментальными и подозревать лукавые расчёты у России.

Нет, и помазанному монарху трудно прозреть предначертанный путь. Самый манящий шаг вдруг оказывается в пустоту или в слякоть. Разделяется истина в противоборстве держав, разделяется истина в спорах советников — и только терзается душа. Мечтал бы делать лишь верное и хорошее, но никто не может указать, никто не в силах. А несомненны — только семейная жизнь и самые простые занятия. Солнышко Аликс. Купанья душики маленькой, первой дочери. Развешивать образа в спальне, фотографии по комнатам. Утренние и вечерние прогулки, наблюдать Божью природу. Иногда — на байдарке или по царскосельскому парку на велосипеде, или дрессировать собак. Вечерами отдыхать на красивых операх, на смешных пьесах, иногда и дважды на один спектакль. Большое счастье, когда приходится принять церемониальный марш войск, всегда поднимается дух! То — осенняя серия полковых праздников, то — весенняя. (Николай и весь годовой календарь ощущал по полковым праздникам: у какого полка когда.) А то — глупеть и глупеть, подписывая бесконечные распоряжения, приказы, да дуреть от двух ежедневных министерских докладов, всё поглядывая на часы, что затягиваются уже за счёт завтрака, отнимая простое человеческое время. Никто не знал верно, что надо делать, но все министры и множество их подчинённых уверенно что-то делали каждый день.

Как невыносимо быть императором, да еще всероссийским, как хорошо и естественно — простым семейным человеком: освободить себе вечер да сидеть почитывать историю прежних лет,

тем приятную, что в ней все выборы уже сделаны и известно, как пошло́ дальше.

А иногда и гордо. Не только когда дню именин твоих салюует и расцвечивается даже германский флот. А вот: когда разгорелась война Англии с Трансваалем, захватило капканом извечную смутьянку и хищницу, и Николай был всецело поглощён этой войной, прочитывал в английских газетах все подробности от первой до последней строки и радовался английским потерям, вот что значит полезли в воду, не зная броду! — в его груди разгоралась гордость, что он был единственный человек на земле, кто мог изменить ход войны в Африке на гибель Англии. И всего для того простое средство: отдать по телеграфу приказ всем своим туркестанским войскам мобилизоваться и подойти к границе. И всё! И никакие самые сильные флоты в мире не помешают ему расправиться с Англией в самом для неё уязвимом месте!

Но — нет, возражали советники (тем всегда и неприятные, что возражают), мы недостаточно готовы к военным действиям, наша армия технически отстаёт, да и Туркестан не соединён сплошной железной дорогой с внутренней Россией.

Да, это была лишь мечта приятная. Решимости не было начинать большие действия самому. Но — гордо так помыслить. А что́ нужно: укреплять наши дороги и наши войска, наше влияние и наше положение в Азии. Будущее России несомненно лежало в Азии, в которую она так естественно входила сибирским массивом. В Европе один Босфор уже вынуждал к европейской войне, но даже и с Дарданеллами ничего не давал, кроме другого такого же замкнутого Средиземного моря. В Азии самые малые гарнизоны обещали принести великие успехи. Невозможно было не расширяться в Азии, когда давалось так легко, безо всяких военных усилий. (А когда подоспеет великая Сибирская дорога — насколько возрастёт цена нашим приобретениям!) Китай был удобным большим рыхлым телом, от которого любая сильная держава брала то, что ей нужно. Его правительство плавало в ничтожной слабости, и всем было выгодно продолжать это состояние. Но там звучали свои возбуждающие голоса, подпирало недовольство национальным унижением — и вот летом 1900 китайцы восстали, помимо своего правительства, отрезали Пекин от моря, осадили тамошний международный посольский квартал, говорят убили несколько сот белых по всему Китаю. Весь мир завыл от китайских зверств и жестокости. Беспроволочного телеграфа ещё не было, нельзя было узнать, что делается в несчастном посольском квар-

тале, очевидно шли массовые убийства, и только войска могли его выручить. Согласие европейских держав составилось как никогда полное. Собрали международный отряд, третья часть войск — русская, и русские же заняли Пекин. И вдруг, посольский квартал оказался совершенно не тронут, он был блокирован слабыми китайскими войсками и ими защищён от повстанцев. И Николаю стало отвратительно и совестно, что он участвовал в этом общем нападении. И Витте настаивал, что враждебные действия против Китая полностью неразумны, когда мы получаем всё договорно. (Впрочем, за время этой малой войны взяли себе полосу от Манчжурии до Порт-Артура сплошь.) И Николай заявил державам, что из Пекина уходит и предлагает то же всем. Предупредил не ожидать дальнейшей помощи от России европейским войскам.

Было просто стыдно: ведь мы обещали Китаю защиту — а вот нападали вместе со всеми.

Тут ещё такой эпизод рассказали: когда пронёсся слух о китайских зверствах, жители Благовещенска, к тому же обстрелянные с китайской стороны, возбудились, выгнали из домов всех своих жителей-китайцев и заставили их плыть через Амур. Многие потонули.

Власть императора — непомерна. Нельзя бездействовать — но и при действиях неосторожная длань давит сотни и тысячи людей. Когда можно не действовать — лучше бы не действовать, вместо крутых мер — золотую середину. По-христиански нельзя делать другому — Китаю, того, чего не хочешь себе — России. А практическая политика заставляет — делать, строить дорогу через Манчжурию, укреплять её охранной полосой, связь по суше установить до Порт-Артура.

В том году Николай отменил ссылку в Сибирь: не засорять её беспокойным сорным элементом, очистить эту великую русскую здоровую страну. Умственным взором он видел, как Россия скоро порастёт в ту сторону.

Естественно, всё главное внимание и зоркость царя уходили на разгадку козней, интриг и заговоров внешних врагов. А внутри России врагов бы быть никак не должно, лишь подданные, ожидающие своей череды милостей. России быть бы единой. Но нет: все те годы, что Николай напрягал разум разобраться в международных сплетениях — здесь, внутри, совсем не было спокойно, они не вняли его твёрдому отказу в конституции, волновались всегда недовольные земские служащие и те бездельники из дворян, кто

свободен был от забот истинной нужды и мог насытить свой досуг измышлениями о нуждах пресыщения. Но хуже: профессоры портили и учащуюся молодёжь, захватывали за собой.

Четыре первых года царствования Николай верил, что и вовне и внутри можно уладить по-мирному, терпеливо выжидая или прося терпеливо подождать. Но на пятом, 1899, году пришлось ему жестоко разочароваться: и Гагская мирная конференция не принесла всеобщего мира — и внутри страны обнажилась злоба и борьба.

Это вспыхивает совсем неожиданно. Вдруг на торжественном акте в Петербургском университете оскорбились студенты может быть неумелым грубоватым предупреждением ректора не буянить и не пьянствовать после — освистали его, сорвали акт, на выходе полиция неосновательно потеснила студентов к одному из трёх мостов, разделяла конными и применила нагайки — прискорбно, но что ж началось? Студенты объявили университет надолго закрытым, не давали ни читать лекций, ни посещать, за ними забастовали все студенты Петербурга, все — Москвы, и все провинциальные университеты. Николай хотел уладить отечески, назначил для расследования комиссию генерал-адъютанта, известного симпатиями к студентам — и можно было рассчитывать на возврат мира, и полиции впредь запрещено было где-либо вмешиваться, — но нет, забастовка длилась месяц и другой, в Киеве случилось побоище в аудиториях, и еще месяц, и никто не слушал умиротворяющей комиссии, но всё образованное общество поджуживало студентов продолжать.

Имея силы противостоять мировым державам — в каком нелепом положении находишься, не в силах взять в руки собственное возбуждённое юношество. Но если вспомнить, что большая часть их учится, не имеющая средств, половина освобождена от платы за обучение, четвертая часть получает стипендии в помощь — то ведь и разгневаешься: почему государство должно за студентами ухаживать? Почему все находятся в рамках долга — а они нет? И Николай согласился — наказывать. Одобрил предложенное министрами: из высших учебных заведений за беспорядки исключать на год, на два или на три и на время исключения отдавать в войска, хотя б и не подлежали призыву, хотя б и нестроевыми: воинское воспитание есть лучшее исправление.

Четыре года казалось — можно управлять скорее даже в духе деда, чем отца. Четыре года важные решения как будто замедлялись, не стучались в дверь — тут сразу пошли одно за другим.

Финляндия. Если она — часть России, то может ли она не жить по русским законам, и только те из них принимать и постольку принимать, как одобрит сама? Всего-то призывает Финляндия 10 тысяч солдат — но из них ни одного не имеет права Россия переместить хотя бы в другую губернию. Александр I не жалел им подарков в начале века, но жизнь перестаёт быть такой просторной, и в последний год века приходится потеснить то, что было подарено в первый год его. Или тогда уже не жить с Финляндией вместе? Но кто бы взял на себя распад наследованной империи?

Земства. Дал дед земства не всем губерниям, как будто действительно надо теперь распространить их на остальные — но, нащёптывает неистощимый и переменчивый в мыслях, всегда блестящий и убеждённый Витте, — земства вообще несовместимы с самодержавием. Вместо обслуживания местных нужд они тянутся вырасти и подорвать монархию.

Решения толпятся, принимать их — проще в один цвет. Непокорных студентов — в солдаты. Земств — не распространять далее. Финскую армию набирать на новых основаниях. А более всего как зеницу хранить — русскую крестьянскую общину.

Но деревня отвечает неурожаями — в самых богатых и обильных губерниях. Но Финляндия волнуется к полному отделению. Но общество возбуждается до крайней черты озлобления, так что, кажется, им и Россия сама не нужна, только бы не было у них царя. И то, что пишут они в газетах, так далеко от исконных русских представлений, как если бы два несхожих языка — и нет никаких переводов и нет пути объясниться. А в университетах полтора учебных года прошло спокойно — и вдруг, открывая XX век, в феврале 1901 студент застрелил министра народного просвещения!

Что́ должен делать монарх? Поклониться студентам? Просить ещё других выстрелов?

Суд был гражданский, он не имел прав покарать убийцу смертью (вскоре тот легко сбежал от наказания) — да за 6 лет царствования Николая ещё и не было ни одной политической казни, он никак не думал к ним прибегнуть. Тут собралась перед Казанским собором студенческая тысячная толпа. Были окружены, кое-где с дракой, и целыми толпами арестованы, восемьсот человек, так что не хватало места не только в тюрьмах, но и в полковых манежах. Одним внушали, других исключали, третьих рассылали по родным их местам. Надежда была, что теперь, без самых буй-

ных, утихомиряются. И назначил нового, мягкого, министра — не мстить за убитого. Тот начал с разрешения университетских сходок и с поисков, как улучшить уклад учебной жизни.

Но в тех же днях стреляли в Победоносцева (не попали). В ответ на мягкие меры вражда общества к власти только усилилась от месяца к месяцу и принимала формы беспощадные.

В начале следующего года, 1902, новым юношеским выстрелом был убит министр внутренних дел. И общество не скрывало ликования.

Вот тут Николай испытал уже — гнев. Это были выстрелы, по сути, в него самого. Ему — запрещали вести страну, требовали сдаваться. Но у него и колебания не было такого. Он назначил новым министром — сторонника подавлений Плеве.

Именно внутри страны, где все — свои русские, и должно бы идти наиболее гладко — вгонялись смертные эти занозы. Все и всё ждало от монарха решений — а как бы хотелось обойтись без них! Любя эту страну и желая ей только добра — почему нельзя было жить всем мирно, хорошо?

Апрельской ночью поехать на глухарей. Хоть и вовсе не спи — на другой день после охоты всегда бодрое состояние, а можно после министерских докладов завалиться спать. Объезжать казармы и благодарить войска за службу. Присутствовать на манёврах и потом на длинных интересных разборах. Посмотреть, как стрелковый батальон проделывает рассыпной строй. Поспеть верхом на обычное место прохода улан или егерей в свой лагерь (Аликс подъедет на шарабане). В чудную погоду, море как зеркало, покататься вдвоём на тузике. Или смотреть на гонку барж, вельботов, шестёрок. Вечером поехать на какую-нибудь весёлую пьесу, если летом — то в красносельский театр. (Красное Село всегда покидаешь с грустью — это центр всех воинских лагерей.) Но нет лучшего наслаждения и освобождения, чем поехать на обед в офицерское собрание и засидеться там до ужина и дальше, непринуждённо беседуя, слушая неистощимые военные рассказы, цыган или русский хор, вернуться в два часа ночи — и ещё на другой день подняться под прекрасным впечатлением проведённого вечера.

Как легко жить тем, кто несёт ответственность только за свою семью! Но молодой монарх отвечает ещё за несколько десятков великих князей и княгинь, за своих двоюродных братьев и даже тётей и дядей, намного старше его, за доходы их от удельных владений, занимаемые ими посты — и даже за поздние при-

вязанности их — дяди Михаила, потом дяди Павла, когда пренебрегая династической представительностью и не желая побороть свои страсти, они избирали позорный путь морганатического брака, и так были удаляемы со всех постов, лишаемы званий, высылаемы за границу — сколько это огорчений для всей династической семьи!

А наследник престола — вдумчивый кроткий брат Георгий, тихо истаял от чахотки, в уединении, в кавказских горах, мало пережив отца.

Трудность управлять — это трудность применить свою голову не к одному своему послушному телу, лёгкому на передвижения, и не только к своей семье, и не только к императорскому Дому, но осенить собою пространство, никак не свойственное отдельному человеку. Иногда, скалывая лёд в саду Зимнего или во время верховых прогулок под Царским, Николай так напрягал свой ум, сопоставляя противоречивые мнения собеседников и подчинённых, что передайся его напряжение в лом — тот бы заплясал как бешеный, а пройди и отзовись его усилие в лошади — она бы забрыкала, захрапела, понесла.

Трудность управлять — это и несносная трудность обращаться к управляемым. Легко — если это один-два-три собеседника в закрытой комнате или застольника за обеденным столом. Приятно, если это в военной, гвардейской среде — тогда легко раскрывается рот, привольно льётся речь (тут выпал юбилей Пажеского корпуса — его праздновали долго, шумно, во многих формах, и Николай с удовольствием много говорил). Но сжато и стеснительно, когда надо что-то вымолвить перед собранием штатских людей, да ещё сильно образованных и многомысленных — руки Николая как связывались, ни одного естественного жеста, вяз язык во рту, не способный продвинуться, чтобы произнести одно милостивое или любезное слово, и опасался император, что может быть даже краснеет, что смущение его видно — и не знал, как провалиться сквозь землю, скорее уйти. (Рядом с Пажеским выпали столетние юбилеи Государственного Совета и учреждения в России министерств — Николай вынужден был туда казнить ехать, но ни тем, ни другим не произнёс ни одного слова.) Послан был едва ли не каждому второму человеку этот дар — свободно держаться перед собраниями, но Николай костенел, леденел, и только надеялся, что его молчание выразится достаточно важно.

Трудность управлять — это мучительная трудность принять правильное решение и трудность выбрать верных людей, на ко-

торых бы положиться. Сколько раз казалось — вот, нашли решение! — но сопротивлением событий оно разваливалось, или значала же не находилось сил его выполнить. И сколько раз мнилось — нашёл правильного человека! Но хором других людей указывалось, что человек избран неверно. Да и все советники никогда не сходились едино, а все друг другу противоречили, из чего вытекало, что и сами они не знали, как будет верно. И год от года Николай стал всё меньше и меньше доверять советникам и даже не открываться им полностью, лишь выводывал их мнения, но в каждом заранее предполагал ошибку.

Все министры, кто скромней, кто развязней, выставляли положительность своих мнений и действий и постоянно настаивали кого-нибудь награждать или назначать на выгодную должность, в какой-нибудь опекунский совет или в почётную отставку в Государственный Совет. (И сам государь, внимая просьбе Кшесинской сложить с неё штраф за носку не того костюма, был вынужден пожертвовать директором театров.) Кто, как Витте, считал, что блистает талантами — внушал государю, что именно на таланты надо ему опираться. Напротив, другие доказывали, что нужна лишь верность и преданность, и царя должны окружать не гении, но средние люди, чистоплотные труженики. Многотруден был путь — выслушивать одного, другого и третьего в их противоречиях и прочитывать и прочитывать все стопы подкладываемых бумаг, а министры тем временем многое успевали делать сами, так что решение оказывалось уже и ненужным. От роя противоречий и несогласий между министрами стал Николай более всего не доверять именно министрам — чем дольше тот был на своём посту, тем больше — и снова начинал доверять им после отставки. Он приучался наружно выслушивать министра (чаще — скучая, иногда оживляясь, если доклад содержал забавное) и даже повышено-любезно, если предполагал от него вскоре отказаться или решить ему наперекор, приучался скрывать от министров свои чувства и свои мнения, а искать верного совета у кого-нибудь случайного, доброго проникательного человека, не занимающего никакого поста — и издавать важные акты без соответствующего министра или учреждения.

Если бы мог государь непосредственно узнавать мнение своего народа — вот это было бы решение. Но министры забором стояли между ним и народом.

А ещё происходили задержки и перемены решений оттого, что Аликс и Мамá оказывались почему-то разных мнений, тем бо-

лее — всё многолюдье великих князей (но многие из них претендовали повлиять на решения) да и всякие допускаемые на приём интересные лица. И сперва застенчивым, а потом всё более уверенным голосом научался говорить Николай:

— Я так желаю. И не хочу, чтобы со мной об этом дальше разговаривали.

Год от году он всё больше стал верить в самого себя, не более грешного и ошибочного, чем все они, но зато укреплённого Божьим помазанием. Он был — самодержец, и давно пора ему это понять, как ему и внушала Аликс. Он был — избранник от самого дня рождения, и уже поэтому мог управлять лучше их всех, только надо самому в себя поверить и следовать велениям совести, она никогда не обманет. Сердце царёво в руках Божиих. Николай ответствен за Россию перед престолом Всевышнего. Он ответствен ещё и перед историей, история поймёт его путь. А что его распоряжения не нравятся современникам — это не удивительно: люди, живущие в безверьи и в круге совсем других представлений о мире. Счастье, что с Аликс так хорошо понимали друг друга и поддерживали.

Правда, иногда, по грешному нетерпению, хотелось более отчётливо знать Божью волю через мистические связи, которые существуют для сведуших. Для этого можно найти и воспользоваться посредничеством тех таинственных людей, которые общаются с потусторонним миром — и через него многое безошибочно узнают. Как раз такой обаятельнейший человек — мсьё Филипп, оккультист из Лиона и доктор медицины, счастливо появился при петербургском дворе (через дядю Николашу и черногорских княжён). Он объяснил царю, что и не нужно никаких других советников кроме высших духовных сил. Он без труда стал вызывать духов, среди них и тень Александра III, который, выполняя упущенное при жизни, и стал теперь диктовать сыну приказания, как управлять отечеством. (Одно из первых было: назначить черногорскому князю пенсию в 3 миллиона.) Также обещал мсьё Филипп помочь в их семейном горе: Аликс родила уже четырёх девочек, а наследника всё не было. Он внушил Аликс, что она беременна мальчиком — и у царственной четы прошло несколько счастливых месяцев. (Затем оказалось горестно, что беременности вообще нет, и эта внезапная смена потянула сплетню высшего света, что рождён был урод с рогами и пришлось его придушить. Такая великосветская гадость оставила глубокий шрам на чувствах Аликс и Николая. Вот уж — кто от них был дальше всего в России — это

высший свет с его лицемерным раболепным преклонением и готовностью тут же предать. От чуждости к высшему свету, к напряжённому этикету и от любви к скромной жизни императорская чета прекратила устраивать придворные балы: их счастливые вечера были — в кругу семьи, их субботы были — у всенощных.

У всех на свете есть враги, нашлись они и у мсьё Филиппа и представили сведения, что он — не доктор медицины и преследовался во Франции за обман. Эта клевета на человека, ставшего ему и Аликс дорогим, разгневала Николая, он небывало вышел из себя, бросил бумаги на пол, топтал их ногами — и велел просить президента Франции выдать Филиппу недостающий диплом. Велись переговоры, французское правительство опасалось запросов в парламенте — тогда решено было дать Филиппу русский диплом, чин действительного статского советника, и пожаловать в русские дворяне. Тут наш главный полицейский агент во Франции, некий Рачковский, обязанность которого была следить за нашими там революционерами, полез не в своё дело и донёс, что мсьё Филипп будто бы простой мясник без образования, французская полиция запретила ему лечить больных и он обратился к гипнотизму. Создался тяжелый осадок, убрали Рачковского из Парижа.

Так разные несчастные обстоятельства отяготили светлые возможности мсьё Филиппа — и не более года тянулось это время полного освобождения от министерских мнений, когда Николай мог приказывать категорически, зная, что решение исходит от высших сил. К несчастью, не сумел Филипп получить и решающих указаний: как же Николаю единственно-правильно вести себя на Крайнем Востоке?

Но — он видел этот край! — в этом, очевидно, сказался Божий замысел. И тот же замысел в сопредельности восточных русских земель с китайскими. Дремлющий в упадке Восток нуждался в сильной руке со стороны — от кого ж, как не от России? Очевидно, грандиозно-замысленной задачей царствования Николая было — распространить русское влияние и власть далеко на Восток: взять для России богатую Манчжурию, идти к присоединению Кореи, может быть распростереть свою державу и на Тибет. И душка Аликс очень поддерживала. А чтобы при том не возникло никакой войны — лучшим залогом было мощное поведение России. Да никто там не посмеет против России.

И странно: величие и неотложность этих задач лучше всего разделяли с Николаем не естественные его помощники, русские

министры, но германский император. Это время они виделись с кузеном каждый год и переписывались дружественно, со стороны Вильгельма — нежно, почти любовно. Даже свой морской флот Вильгельм предназначал кажется только для того, чтобы помочь Николаю поддерживать в мире спокойствие. Даже берлин-багдадскую дорогу он строил кажется только для того, чтобы предоставить её для переброски русских войск против Англии. В Ревеле в 1902 Николай открылся преданному, даже покорному, кузену и другу во всей великой азиатской задаче своего правления. Вилли, отплывая, изящно попрощался, морскими флажными сигналами передал: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого!» А подписывался «всегда на страже, Вилли» и действительно сообщал многие секреты, узнанные его агентами в Азии о скрытой английской враждебности и о японской подготовке. Он снова и снова предупреждал Николая об опасной *крымской комбинации* врагов России: что демократические страны, управляемые суматошным парламентским большинством, всегда будут против устойчивых императорских монархий — и в своих азиатских шагах ещё увидит Николай и вражду Англии и Соединённых Штатов и безучастность плохой союзницы Франции. Он объяснял, что на европейском континенте всякий понимает: Россия, подчиняясь законам экспансии, должна стремиться выйти к морю и иметь незамерзающую гавань для своей торговли, а для того иметь и *Hinterland* в виде Манчжурии, иметь и Корею, чтоб она не стала угрозой и помехой в торговле. На континенте для всякого непредубеждённого человека ясно, что Корея должна быть и будет русской, а когда и как — до этого никому нет дела, а касается только русского императора и его страны.

Увы, российские министры не были так единодушны со своим государем — и только то было утешение, что они сами со временем противоречили себе прежним, как быстропеременчивый Витте, и постоянно противоречили друг другу. Витте, придумавший всю эту манчжурскую железную дорогу и требовавший сперва послать побольше русских войск, затем отшатнулся и настаивал убирать войска, чтоб зарубежное долгое содержание их не принесло бы финансового краха России. А военный министр Куропаткин, кто, кажется, более всех был обязан поддержать воинственные намерения своего государя, жаловался как баба, что мы слабы иметь войска одновременно и на Западе и на всём азиатском пространстве. Куропаткин советовал вовсе не касаться Кореи (между тем обещавшей нам очень большие выгоды в будущем), отказаться от

Порт-Артура и от южной Манчжурии, от Мукдена, священного китайского города, которых мы защищать всё равно не сможем, но настраиваем против себя весь мир, — а остаться только в северной Манчжурии, чем будет защищён Амур и железная дорога, и вдвое сокращена граница, и не будет столкновения с Японией. Этого столкновения особенно опасался Куропаткин из-за того, что ещё несколько лет нам необходимы для окончания Сибирской магистрали, а пока, из-за байкальского парома, только три пары поездов проходит в сутки по ней. (Он не понимал, что этого столкновения никогда не будет, Япония не осмелится.) Тут Витте, снова в противоречие себе, соглашался присоединять Манчжурию и даже открывать лесную концессию в Корее. Плеве, напротив, надеялся, что азиатское столкновение отвлечёт и успокоит внутреннее брожение в России. Куропаткин, напротив, пугал, что война с Японией была бы крайне непопулярна и внутренняя смута увеличится. Удерживаясь же в одной северной Манчжурии, мы наверняка избежим всякой войны.

Легче было бы не иметь ни единого советника, чем двух или четырёх. Разобраться, кто же тут прав, было бы просто невозможно, если бы Николай не превосходил их всех знанием Востока, а душой и сердцем не чувствовал бы лучше их славу и пользу России.

Тем временем смута образованных людей по всей России действительно не стихала, но необъяснимо разрасталась в какое-то общее сплошное круговое неудовольствие — делай ли так или наоборот — всё равно плохо. На газетные мерзости не было никакой управы, в газетах — ворох клеветы, оскорбительных фельетонов и возбуждение всех к беспорядкам. Пробовало правительство и не обращать никакого внимания — пропаганда разрасталась ещё наглей. И наказывать — где распустить земскую управу, где арестовать и сослать студентов, — разрасталось ещё хуже. В том был корень всех бед, что как только российский гражданин получал хоть начатки образования — он тут же непременно становился врагом правительства, и дальше уже ни лаской, ни таской его нельзя было от этого отклонить. Поручали им дело — статистическое изучение деревни на предмет подъёма её, — превращали статистику в пропаганду: поджигать помещиков. Отдавали политически неблагонадёжных на исправление в армию — портилась армия и не хотела выполнять своих обязанностей. В то время как всё японское общество строго и возбуждённо поддерживало своё правительство против России, было крепко в патрио-

тизме, — русское общество как сошло с ума: оно не хотело никакой славы России, никакой выгоды её торговле, никакого расширения её влияния и готово было освистать даже любой успех и победу. По поводу же Крайнего Востока висла одна только брань.

Так великий замысел об освоении азиатского Востока всё более тяготел на одиноких плечах государя. Однако смутой общества следовало пренебречь как помехой незаконной, незакономерной, временной.

А великий замысел и не может быть изъяснён даже самому себе в нескольких словах. Потому он и великий, что парит высокими облаками над просторами Азии — и в Тибете ли ему край, в Индии или в Персии — этого никто из живущих не знает. Начали с манчжурской железной дороги. А иметь дорогу — значит, иметь и незамерзающий порт в конце. Иметь дорогу, значит, нуждаться и в охране её, а разве может такую охрану обеспечить неустойчивая китайская власть, сама на развале? Китайские беспорядки 1900 года сами навели на то, чтобы русским войскам занять Манчжурию — временно, против собственного желания России, только ввиду этих тревожных событий. Однако, задержка там русских войск и после конца событий вызвала повсюду большое возбуждение. И в начале 1901 пришлось сделать публичное заявление, что мы, уважая неприкосновенность Китая, только и ищем способа скорей очистить Манчжурию — как только восстановится центральное правительство в Пекине и нормальное положение в Манчжурии. Однако — это частный вопрос между Китаем и Россией, и никто не смеет обсуждать его со стороны. А тут как раз Китай, запуганный Японией, не захотел подписать с нами соглашения об эвакуации — и это обстоятельство отныне развязывало нам руки! Отныне русское императорское правительство оставляло за собой полную свободу действий! О безусловном возвращении Китаю Манчжурии теперь не могло быть и речи — пока во всём Китае не восстановится вполне нормальный порядок. Но Япония была глубоко задета — и выступила теперь уже как союзник Китая, якобы в защиту его целостности против замыслов России. Она не хотела примириться, что 6 лет назад была вынуждена уступить то самое, что Россия теперь взяла. Наш посол в Токио всячески разъяснял, что Японии нечего опасаться: только западно-европейские державы преследуют в Китае цели колонизации, Россия же, как и Япония, — держава восточная, интересы её в Азии — чисто домашние, она не может желать присоединить Манчжурию. (Впрочем, на всякий случай мы и зондировали, к каким последствиям

привело бы официальное заявление России о намерении присоединить? Это было постоянное истомляющее колебание: возвращать Манчжурию или нет? Ясно было, что из западных великих держав ни одна не вступится прямо — но так ли выгодна Манчжурия, чтобы принять вызов Японии? А с другой стороны, Япония никак не может решиться на войну в одиночку против всемогущей России. А с третьей стороны: если уходить из Манчжурии, то как не допустить, чтобы её отдали разрабатывать другим державам?) Кроме Манчжурии был Порт-Артур — этот безусловно должен был остаться наш. А ещё была — Корея, вопрос наиболее сложный. По соглашению 1896 года японские и русские права в Корее должны были быть равными, по протоколу 1898 Корея должна была оставаться независимой. Но Япония так обнаглела за минувшие годы, что уже требовала себе там исключительных военных и политических прав. И тщетно русские представители разъясняли японским, что Россия не может безучастно относиться к состоянию маленького соседнего государства и допустить утверждение в ней чужой политической власти. В Петербург приехал недавний японский премьер-министр, весьма влиятельный маркиз Ито, Николай принял его и подтвердил разъяснения, а Ито высказывал японские подозрения о затаённых русских планах в Корее, тогда как Япония нуждается там в политических и военных правах. Маркиз предлагал новое соглашение: признать права Японии в Корее, ибо Корея слишком слаба, чтобы существовать самостоятельно, и ни слова о Манчжурии, Россия может свободно действовать в ней, — и ничто впредь не будет мешать тесной русско-японской дружбе, ибо Корея — единственный предмет раздора. Но Николай и сам без своих советчиков легко видел, что предложение маркиза — невыгодное, ничего нового не приносит России: Манчжурия — и без того в руках у России, она так и остаётся, а Япония ещё не опиралась ни на что на материке, и вот в Корее приобретёт права, загораживая такой же путь России. В Корею мы непременно должны также продвинуться в ходе своего естественного распространения — хозяйственными интересами и поддерживающими военными отрядами. Соглашение с Японией в декабре 1901 не состоялось.

Тотчас за этим Япония вступила в военный союз с Англией (дружественная поддержка при войне с одной державой и военная при войне с двумя) — Англия, еле вытянувшая ноги из Трансвааля, бралась поддерживать Японию, если вступится ещё или Франция, или Германия. Но Франция поспешила разъяснить, что

русско-французский союз относится только к европейским делам. Но Германия, за пределами нежных писем Вильгельма, не желала помогать слишком явно. И даже старые друзья — Американские Соединённые Штаты, за последние годы в своём настроении резко повернулись против России.

Велик был мир — а Россия в нём одинока.

Велика Россия — а император в ней одинок.

И тем не менее он не мог отказаться от великого и таинственного азиатского замысла. Сосредоточением воли должен был Николай провести Россию этим небывалым фарватером. Оказывались худы, неспособливы все назначенные министры — значит надо было действовать в обход министров, искать и использовать истинных верных помощников.

Таким был прежде всего Сандро — и дядя, и зять (женат на сестре Ксенье), и друг (почти по возрасту). Сандро горячо брался за дело — как усилить наш флот в Тихом океане и как устроить лесную концессию в Северной Корее, не считаясь с неразумным противодействием корейского правительства. Таков был и адмирал Алексеев, опасавшийся, что нашей чрезмерной уступчивостью мы только вызовем новые японские требования. (И вот с этим отважным человеком Николай вполне соглашался: ни в коем случае не уступать!) Уж если воевать с японцами, то лучше в Корее, чем в Манчжурии. Корея должна стать русской. И нельзя выводить войска из Мукденской провинции: останется необеспеченным Порт-Артур. Ещё был чудесный советник адмирал Абазá, сухопутный. Но более всех пришёлся желанным помощником через того же Сандро представленный Безобразов, отставной кавалергард и потому особенно хорошо понимавший военное дело также. Это был человек решительный и цельный, он обещал *одной мимикой* взять для России и всю Манчжурию и всю Корею. Государь сделал его своим личным разведчиком и уполномоченным на Востоке, возвёл в статс-секретари и дал сноситься с собою отдельным шифром, минуя нерешительных министров. Это было государево око, зорко наблюдающее, где что ещё не доделано для нашего величия, где ещё не исполнены веления государя. Безобразов, ознакомясь с секретными материалами генерального штаба, решил вопреки неуклюжему военному министру, что нам совсем не следует укрепляться на западной границе, но все средства бросить для восточного развития. К тому же, как объяснил он, наши экономические предприятия в Корее, лесная концессия, быстро

начнут приносить фантастические барыши, и Восток окупит сам себя. (Пока что он взял кредит в 2 миллиона.) Его энергия воодушевляла Николая! Безобразов повсюду на Востоке в окружении своей свиты распоряжался, не считаясь ни с русскими министрами, ни с обязательствами русских дипломатов, ни с ничтожным китайским правительством. Он действовал сам от себя, и только такая диктатура могла двинуть вперёд великий азиатский замысел. Николай не мог нарадоваться своему выбору и как он сам ловко отделался от опеки министров. Теперь, минуя слишком осторожного министра иностранных дел, Николай сносился прямо с адмиралом Алексеевым и Безобразовым, и только огорчался, что и между ними двумя тоже вспыхивают противоречия. Никогда не удавалось ему иметь одновременно двух одномысленных помощников.

Но он и сам впервые креп в себе по-настоящему и чувствовал себя воистину самодержцем.

Да дела на Востоке и шли хорошо, всё сопротивление придумывалось пугливыми советниками. Наше влияние неуклонно распространялось, только чересчур медленно.

Летом 1903 сбылась одна заветная мечта Николая: канонизировать и прославить русского святого. Это был преподобный Серафим Саровский, умерший ещё при прадеде. В июле Николай поехал участвовать в торжествах в лесные места Тамбовской губернии. Он не взял с собой ни государственных людей, ни государственных забот, ни придворной свиты. Он — как бежал от этого безверного, насмешливого, затхлого петербургского мира — бежал окунуться в святость и в свой народ. И ожидания его сбылись наилучше. На прославление святого, так забавное образованному обществу, во многих тысячах собрался простой народ, телегами из далёких мест. Не было потребности ни в дворцовых церемониях-местах, ни в полиции, ни в охране: распрягши коней по сторонам, бородатые паломники и в белых платках паломницы залили собою всё примонастырское пространство, и стекали к обеим сторонам лесной дороги поглядеть, как их царь несёт гроб святого. Четыре дня шли богослужения то в одном храме, то в другом, полна была молящимися монастырская ограда, и многие вне её стояли на коленях и молились, и зажжёнными свечами молящихся в безветренную густую ночь был обставлен пеший перенос гроба из монастыря в скит, и слитные церковные песнопения поднимались с разных сторон в ночное небо. Николай не помнил, когда был так светел и счастлив. Вот, он видел несомненный народ в его

жаркой вере и с несомненным совпадением его молитвенных чувств и своих — и отсюда, из центра поднебных богослужений, так дико было представить где-то в этой же стране — высший свет, ушедший от Бога, профессорскую смуту, студенческие крики, дерзости печати и злодейство революционеров. Из Царского Села, из Зимнего Дворца то всё казалось страшно, а отсюда, из гуши истинной России, — призрачно, как небывое. И что б сказали эти крестьяне, если б их посадить судьями над теми студентами, каким дано учиться, а они разгоняют лекции? Он радовался, что этой весной разорвал удерживающих советников — и вот этим самым добрым крестьянам отменил жестокую круговую поруку, ответственность невинных за виновных, послушных — за ослушников. Вот, без бумаг, канцелярий и высшего света он соприкасался со своим истинным народом и был истинным народным царём, какого и жаждет Россия. В народе — правда, и в царе правда, и как бы постоянно ощущать эту саровскую связь — и царскою волей выражать народную мысль?

«Не посрами нас от чаяния нашего...»

Николай вернулся из Сарова небывало утверждённый в себе. Ему совершенно ясно стало, что он должен быть неуклонен в своей царской воле и убирать препятствия. Тотчас по возвращении он пустил в почётную полуотставку Витте, извергавшего каждую неделю новый проект — такой, чтобы захватывать права других министерств. (Он же и поднёс указ об отдаче студентов в солдаты — и он же первый высторанился от этой меры.) И осуществил свою идею: полностью выделить дальневосточные дела из русских, учредил особое наместничество адмирала Алексеева — исключив весь Дальний Восток из ведения всех министерств, отдав адмиралу и командование войсками, и управление краем, и всю дипломатию с Китаем и Японией — вести дела, как он хочет и умеет. Государю так было и легче: получать лишь готовые доклады об успехах, не ломая перед тем голову. Осенью они с Аликс надолго поехали оплакивать безвременно умершую гессенскую принцессу (Аликс просто изрыдалась, не помнила другого такого горя). Теперь-то Япония должна была смириться, почувствовав русскую решимость! Но странно, нет! — на что она рассчитывала? В августе прислала предложения, — Николай не мог рассматривать их иначе, как нахальство. Наши агенты оттуда доносили, что Япония готовится к войне, это и вовсе было бы для неё самоубийственно. Войны возникнуть никак не могло, но, разумеется, следовало её избегать. Алексеев разговаривал с японцами достойно-

твёрдо. (Жаль, что они опять ссорились с Бозобразовым.) Пришлось занять снова Мукден и подослать войск в Корею. В ноябре совсем кажется успокаивалось. В декабре вдруг сообщил военный агент, что японское правительство решило начать войну. И Вильгельм откуда-то взял, предупредил, что Япония начнёт войну в середине января. Очень были возбуждены японские газеты. Вот, как сказали им «назад!» 8 лет тому — и они ушли, так решительно надо было и теперь — не отступать нигде и разговаривать твёрдо! Время — лучший союзник России, от каждого года мы станем только сильнее. В январе японцы дерзко предложили нам: совсем уступить им Корею, а по Манчжурии у них претензий не будет. Свой же министр иностранных дел настолько не помогал, а тормозил всякую активную политику, что пришлось Николаю изобретать и действовать втайне от него: двух предприимчивых донских калмыков послать в Тибет, разжигать его против англичан. (Ах, жаль, ах, жаль, не вмешался в Трансваальскую войну, ещё не было тогда решимости!) В конце концов создавалось положение, полное томительной неизвестности. Если, не приведи Бог, война, то надо оттянуть её ещё на полтора года, пока мы сомкнем Сибирскую магистраль вокруг Байкала. Но лучше всего, конечно, сохранить мир. Так обсуждал на совещании с министрами 26 января — и весь день стохранилось приподнятое состояние: превзойти японцев миролюбием, духом Гаагской конференции, и они тоже очнут-ся. Вечером был на «Русалке», пели очень хорошо, а воротясь, получил телеграмму от наместника, что ещё в минувшую полночь японцы коварно атаковали Порт-Артур, повредили два наших броненосца, один крейсер — и намного подорвали наш флот по сравнению с их.

Самые большие несчастья даже не воспринимаются нами сразу, мы не можем их охватить. В эти дни ещё было только негодование против дерзости и решимость нанести достойную кару за вероломство, перенести войну на японские острова и разбить их хоть вместе с Англией и Америкой. Богатырская Россия! — узнают её гнев. Лишь больно, что в России плохо подумают о нашем флоте.

Много других обычных чувств, забот и дел помещались в груди и в протяжённости дней. В эти недели сильно недомогала Аликс, теперь уже с несомненностью беременная — всё время лежала, лежала с мигренями, лишь иногда переключивалась на кушетку, совсем редко садилась к обеду. Не выходили, не выезжали вместе, без неё наслаждался «Сумерками богов», концер-

тами соединённых хоров или андреевских балалаек — тем более охотно в остальные вечера оставались одни и читал ей вслух. Дни всё так же были полны докладами, чередой представляющихся, чтением бумаг, чаями, завтраками, семейными обедами с Мама́ или многочисленными членами династии, иногда под музыку, рядовыми церковными службами, а нередкими панихидами, отпеваньями, молебнами освящения зданий, гулять доставалось только в саду Зимнего, посещал очередные караулы с их оживлённой сменой мундиров, раз вылезал на крышу. Зима в Петербурге стояла на одних оттепелях, все ездили на колёсах, и уже в марте неслась по улицам убийственная пыль. Только по воскресеньям можно было вырваться в пышноснегое Царское, насладиться милым парком и подолгу восхитительно гулять, со спутником или с собаками. Всего два раза за зиму охотились в Ропше, в фазаннике, правда очень удачно, убивал сам по сотне птиц за день. Смотрел, как строятся корабли — на Галерном острове, в Новом Адмиралтействе, на Балтийском заводе — работа кипела, и у рабочих были хорошие весёлые лица. Это залечивало обиду от тех сорока мерзавцев в Московском университете, телеграфически поздравивших микадо с победой над нами; от тех грузинских или тверских гимназистов, семинаристов, даже епархиалок, кричавших по улицам «да здравствует Япония, долой самодержавие!» (Что́ делать с такими?)

Надо было ждать и терпеть. Война на отдалённом театре требовала долгого снабжения, сосредоточения. Сибирская магистраль работала с байкальским перерывом. Балтийский флот ещё не скоро будет готов двигаться вокруг Африки и Азии. Франция в эти же месяцы объявила с Англией *сердечное согласие* и не помогала нам. (Прав был Вильгельм: они всегда сталкиются в «крымскую комбинацию».) Но именно обязательства перед Францией не давали нам убирать свои войска с западных границ. Только Вильгельм был как никогда сердечен, гордился и титулом русского адмирала, и доверенностью к нему Николая, призывал вместе ждать помощи неба и тактично утешал в неудачах, над которыми открыто насмехалась вся печать либеральной Европы, Америки и собственные домашние либералы.

Война пошла — какая-то роковая, японцы и не спешили как будто, но каждый их шаг был удача, а каждый наш — поражение, так что благословенны были дни, когда с Востока не приходили никакие телеграммы, потому что приходившие были всегда плохими. Николай хранил большую надежду на Алексева, писал ему долгие письма, получал от него благоприятные бодрые теле-

граммы — но они не подтверждались потом. Японцы трепали нас у Порт-Артура, не давали движения Владивостоку, на Пасху на японской mine взорвался первоклассный броненосец и несравненный адмирал Макаров на нём, другие русские корабли подрывались на собственных минах. Накопив войска на континенте, японцы стали наступать, а наши войска, не сомкнутые, при недостатке снаряжения и даже провианта, везомого из России, ёжились и пятились на неохватимых пространствах Манчжурии, теряя пушки (с Бородина мы не теряли их), разорванные отступали на север и отступали на юг к самому Порт-Артуру, не выдерживая выгодных рубежей. Еще вчера Россия виделась всему миру, сама себе и своему императору — державою несравненной мощи. И вдруг в несколько недель вся её мощь оказалась уязвимой, малочисленной и не на месте, роковым образом — не там: не там вся сухопутная армия, и не в том океане флот, и даже заперт не в том порту, и моряки, как подменные, мазали непростительные ошибки.

Своим высшим достоинством в такое позорное время счёл Николай — скрывать унижение и горе за полной невозмутимостью. Чтобы как будто ничем было не нарушено отправленье ежедневных обязанностей. В саду добывал исчезающий снег — и как всегда на свежем воздухе и от движения настроение улучшалось. Не пропускал ни одной церемонии, где его ждали: прибавку штандарта, церемониальное прохождение военных училищ (сам себя зная стройным и лёгким и ловким), парад с атакой на Дворцовой площади, юбилей кирасиров и парад их в конном строю, полковое учение лейб-гусаров или улан и многие другие смотры и полковые праздники, выпивал традиционную чарку перед фронтом парадов или в столовой нижних чинов, принимал закуски и завтраки в офицерских собраниях, принимал выпускников всех военных академий, присутствовал при надувании воздушного шара, осматривал военно-санитарный поезд имени Ея Императорского Величества, осматривал новую морскую походную аммуницию — и от того, как замечательно она продумана и прилажена, поднимался дух — и веселей представлялось всё будущее вооружённых сил и армии. А ещё укрепляла всякая беседа с контуженными или ранеными, прибывшими с Дальнего Востока и снова туда направлявшимися: от этих касаний Николаю казалось, что он и сам там побывал и поучаствовал. Но особенно поднялся дух, когда Петербург встречал героев «Варяга» и «Корейца», потопивших свои корабли у корейского берега, Николай угощал их в Зимнем.

Само собою шла чередá субботних и воскресных служб (и пасхальное большое христосование, 700 человек придворных и нижних чинов охраны), которые Николай не пропускал, и где в настойчивых молитвах прилагал те усилия, которых реально физически не мог простереть через Сибирь на далёкую действующую армию. Как и каждый год, не пропустил апрельский молебен в годовщину своего чудесного спасения в Оцу от японского убийцы: в этом году память того события приобретала символическое значение: в тот день явлена была ему милость Божья — и не без смысла же.

Само собою он принимал удачно-короткие или тяжеловесные доклады министров, иногда до одурения читал бумаги и писал на них, не упускал множество мелких дел и всяких распоряжений. А когда подолгу не было подбодряющих телеграмм от Алексева — отводил душу в беседах с генерал-адмиралом дядей Алексеем или с адмиралом Абазой, которого и держал для этого в Петербурге.

Не было оснований нарушить регулярный годичный круг, как жила и переезжала семья: от конца весеннего таяния — в Царское, при расцвете лета — в Петергоф, к морю (при въезде традиционно — весь уланский полк выстроен по Александровскому парку).

Регулярная смена любимых мест — одно из лучших наслаждений жизни. В Петербурге удобнее съездить в театр, посмотреть выставку исторических и драгоценных вещей или археологическую коллекцию, но гулять тесно и кататься только по набережным. В милом Царском чудные прогулки во всякую погоду, даже под проливным дождём или при сильном ветре, но особенно наслаждаешься солнечной мягкой; или верхом вокруг Павловска, или целой компанией в Гатчину к Венерину павильону и там чай пить и готовить блюда на воздухе. Этим летом ещё надумали кататься на железнодорожном моторе. Весной раза два охотился на глухарей на току, а то наладился охотиться на ворон: сперва убивал по одной в день, потом уже и по две. А в Петергофе — поездки на шлюпках, на электрическом катере до бакенов, или возиться с собаками у моря или просто баловаться в речке, ходя голыми ногами, — ото всего этого распорядка вносилось большое успокоение. Да ведь 36 лет, молодое тело всего просит. А уж по воскресеньям устраивали строго-замкнутый домашний отдых, никаких докладов — и окончательно легчало на душе, будто в мире ничего дурного и грозного не происходило. (Не ото всего спрячешься и на семейных обедах: дядя

Алексей, пожалуй, слишком много вмешательной власти забрал во всей азиатской истории и в этой войне, а устранить его от морского ведомства препятствовала Мама́. А для Кирилла, чудом спасшегося при взрыве броненосца, когда погибли все и Макаров, дядя Владимир теперь требовал отдыха и заграничного лечения, нисколько не стесняясь горькими событиями.)

В этом году отмечали между собой и 10 лет помолвки и 8 лет коронации (воспоминание об этом миге тоже подкрепляло, не могло быть помазание всуе). Но самое особенное было в этом году — беременность Аликс, и шестая вспышка надежды, что родится сын! Как берёт её Николай в этот год! — почти все дни катал и катал в кресле по царскосельским и петергофским аллеям, по милым паркам (иногда девочки рядом на велосипедах), когда могла — катал в шляпках по прудам, а то — она в коляске с детьми, а он верхом рядом. И невыносимо было один день не увидеть её — никогда и не отлучался, если бы не возникла счастливая большая мысль: что в руках монарха есть способ воздействия на войну вышший, нежели доступно генеральским штабам или зависит от снабжения, снаряжения, провианта.

Способ этот: прямо передать войскам ту благодать, которой обладает помазанник. Показать себя войскам — и благословить их — целыми полками, батареями, отрядами, и даже — отдельно каждого передачею ему от царя священного образа, например Серафима Саровского. Такое благословение и зримый вид царского лика воодушевлял солдат и многое исправят в упущениях подготовки и полководительства. Аликс одобрила эту мысль, вместе с ней выбирали для войск образы. Невозможно было достичь тех войск, которые уже воюют на Востоке, но можно было застичь отправляемые полки — и Николай решил ни одного из них не упустить своим благословением, распорядился так подстроить их готовность к прощальным парадам в разных местах, но по одной железной дороге, чтоб отлучаясь от Аликс не более, чем на неделю, мог бы объехать и благословить сразу многих. В первую такую поездку объехал Белгород, Харьков, Кременчуг, Полтаву, Орёл, Тулу, Калугу, Рязань. Полки и батареи представлялись отлично, чудно, повсюду был большой порядок, даже после ливней проходили замечательно (лето стояло со многими частыми ливнями и даже бурями, но в тепле, и благодатно сразу нагревался и возносился воздух). Нечего и говорить, как войска были воодушевлены, что сам царь провожает их на войну, никого не забыл, не обошёл благословением. Но так пусто и тяжело

без души. И какая радость под чудным впечатлением совершённой поездки быстро очутиться снова дома и увидеть родную Аликс. (И, увы, снова сесть за доклады, которые в поездку не посылались.) Второй раз объехал Коломну, Моршанск, Тамбов, Пензу, Сызрань, Уфу, Златоуст, Самару, и было поразительно радостно смотреть на представляющиеся полки, удивлялся равенению и тишине в строю при церемониальных маршах (особенно отличились тамбовские и моршанские полки), кое-где среди запасных нижних чинов узнавал знакомых, виденных при отбытии службы. На станциях представлялись многочисленные депутации, иногда население стояло вдоль железной дороги, в каждом городе непременно посещал соборную службу. Вернулся из поездки с умилённым благодарением Господу за его милости и с уверенностью, что он не оставит России. Тем более было отраднo возвратиться в лоно семьи и снова катать свою жёнушку в кресле по аллеям. В третью поездку побывал в Старой Руссе и Новгороде, и снова остался очень доволен смотрами и особенно — видом людей. Четвёртая поездка была на Дон — в казачий лагерь под Новочеркасском, правда очень жарко в вагоне. На платформе была встреча от Войска, дворянства и торгового сословия. Пропустил мимо себя донскую дивизию дважды, благословляя иконами. Казаки представились молодцами, на отличных лошадях, самое лучшее впечатление. Потом многие казаки скакали рядом с поездом и очень ловко джигитовали. По пути на станциях народу было масса, такие приветливые весёлые люди. Нет, непобедима Россия! Не оставит нас Бог никогда.

А между тем наступил незабвенный великий день, в который так явно посетила нас милость Божья: 30 июля днём в один час с четвертью у Аликс родился сын! Нет слов, чтоб уметь благодарить Бога за ниспосланное Им утешение в эту годину трудных испытаний. Поехали к молебну. Конечно, со всего света навалилась гора телеграмм, и пришлось три дня отвечать. Предложил Вильгельму быть заочно крестным отцом, он был очень польщён. (Во весь этот тяжкий год он — единственный верный внешний друг, сочувствовал погибшим и поражениям, обещал снабжать углем русскую Балтийскую эскадру в кругоафриканском плавании, давал советы, как черноморским флотом вырваться сквозь Дарданеллы, присылал агентурные сведения об Англии, как она помогает Японии, только очень настаивал на торговом договоре, тяжёлом для России. Послал к нему Витте.) На 12-й день состоялось крещение наследника — и вереница золотых карет выстроилась у моря, в окружении казачьего кон-

воя, гусар и атаманцев. В этот день отменил последние телесные наказания в России. А на 40-й возникло у маленького опасное кровотечение, но он был удивительно спокоен и весел. (Защемило сердце надолго.)

Перед рождением наследника японцы подошли к Порт-Артуру с суши и приступили к плотной осаде. Флот оказался в ловушке (несчастливая мысль была Алексеева держать его там). Николай велел флоту уходить во Владивосток, но прорыв не удался, и в первом эскадренном бою этой войны он почти перестал существовать. Терпел неудачи и владивостокский крейсерский отряд. (И посылать ли теперь туда Балтийский флот? ведь он не справится.) Полоса дождей ещё удерживала сухопутное сражение. В августе оно произошло под Ляояном при силах почти равных, но Куропаткин, едва только сосредоточивший свои силы, принял решение отступить, опасаясь окружения фланга. Тяжело и непредвиденно.

Какая-то бессмысленно-несчастливая война, без единой удачи. Как будто раскололось и гасло солнце России. Как будто рассыпалось в воздухе оружие, едва его подымал русский император — либо рассыпалась самая рука его.

После Ляояна что-то начало носиться в лицах и глазах, что мы можем — и не победить.

Не сами потери были так велики — в битвах прошлых войн Россия теряла и больше, но славно. А были они неожиданны, несоразмерны воюющим странам, нелепо-позорны, давая волю западным карикатуристам изображать, как маленькие макаки, спустив штаны с рослого великана, секут его и погоняют.

В это лето через два мерзких случая постигло две смерти: террористы убили сперва финляндского генерал-губернатора, затем — министра внутренних дел, когда он ехал в Петергоф с докладом. В лице Плеве Николай потерял незаменимого министра. Строг Господь, когда посещает нас своим гневом.

И — как разгадать нам гнев его? Это значит — мы сами не видим, где неверно ступаем. С простодушною радостью кричали царю «ура» все осмотренные им войска, вереницы сёл и уездов вдоль железных дорог махали руками, шляпами, бабьими платками — но может быть за всеми их миллионами не следовало забывать всё более рассерженного, необъяснимо злого образованного класса? Быть может, ему в чём-то надо было уступить? Плеве успешно держался линии — всякое внутреннее недовольство подавлять. Но может быть во время неудачной войны министр внутренних дел должен быть помягче? Николай назначил князя

Святополк-Мирского, зная, что его любят земцы, что и в нём самом либеральный дух, однако же не до конституции. Быть может правильно было — никакой борьбы ни с кем внутри страны не вести, но дружно сплотить усилия и правительства и общества. Это всегда был самый трудный вопрос: что делать с недовольным обществом? И подавлять без конца нельзя и уступать без конца неправильно. Самое верное было бы — увлечь их сердечной любовью к России. Но они не увлекались.

Хотелось сожмурить глаза, разожмурить — и нет недовольства общества, а то бы — и японской войны. Отдельные дни проходили спокойно — и если бы все так! Привычный распорядок укреплял душу. Искал с Мама́ грибы. Опять катал Аликс в кресле, как привыкли до родов, вечерами много читал ей вслух, а маленькое сокровище лежало в постельке. Возникли большие осложнения с англичанкой-няней, долгие колебания и обсуждения, уволить ли её. Иногда на красивом закате выходил в море на байдарке. Николай жил с природой как с главным живым существом. Первым событием его дня всегда было: какая сегодня погода? И весь день он ощущал её всякую, хорошую или дурную, от этого зависело настроение его, как принимал он собеседников и мысли их, в какую сторону склонялись его решения, и вечером над дневником первая мысль была — о погоде минувшего дня. После странного лета осень грянула неоправданно, обидно рано, с пронзительными ветрами, с налитым холодом даже солнечных сентябрьских дней, и на эту раность Николай мог так обидеться, что не шёл на прогулку. От моря переехали в Царское только в конце сентября. Охотились за Гатчиной и под Петергофом. Облавы были удачные, летела масса пера, убивал фазанов, тетеревей, куропаток, а беляков даже и по полсотни враз. В царскосельском парке набил руку стрелять по воронам, в один день убил три вороны, в другой даже пять. Всё так же посещал полки, парады, представлялись кавалергарды то шагом, то галопом, фотографировался с офицерами, пил за здоровье полков, ездил на освящение церкви драгун, на освящение суворовского музея, на праздник гусар в Экзерцирхаузе. Приезжал в гости греческий принц Джорджи, спаситель Николая тогда в Оцу, просил отобрать у Турции Крит и передать Греции. Вечно ему благодарный, Николай охотно бы взялся за посредничество, но, по тяжёлому году, лишь поддержал ходатайство принца перед европейскими правительствами: в самом деле, и передать, отчего бы нет?

Не сиделось на месте безучастно к войне, и Николай снова и снова ездил в дальние поездки — благословлять иконами отхо-

дящие на Восток войска, целые дивизии или стрелковые бригады, верхом выезжая в лагеря с ближних станций, где встречали его депутации дворян, депутации крестьян. Все войска были в блестящем виде, и лошади хорошие. Отправка на фронт захватывала всё новые, ещё нетронутые военные округа — и поездки были — под Варшаву, в Одессу (где после собора проехали по бульварам, приём был удивительный и порядок тоже). В такой дальней дороге много читал и несмотря на тряску ухитрялся на ходу писать Аликс.

Да если бы не Аликс, не маленький и вообще не обязанность руководить министрами и политикой — Николай может быть и сам бы отправился туда, на восток. Болело его сердце, что он не разделяет тяжкого дальнего жребия своей армии, ничто не было ему так по душе, как находиться при армии. Он не пропускал беседовать с приезжими из Манчжурии — слушал их всегда с интересом, радовался редким удачным рапортам — Стесселя об отбитых штурмах, Куропаткина — о взятых сопках, и принимал, напутствуя, новых командующих русскими армиями — Гриппенберга, Каульбарса. Адмирал Алексеев правильно настаивал — наступать и выручить Порт-Артур! А Куропаткин оттягивал, жалуясь на недостаток войск, на несобранность. Наконец пришло же время заставить японцев повиноваться нашей воле! В середине сентября он перешёл в большое наступление, но продвинулся на юг всего 20-30 вёрст, как встретили его японцы — и началось 9-дневное сражение на фронте в несколько десятков вёрст. На Покров Пресвятыя Богородицы уже стало ясно, что наша армия отходит и потери у нас, повидимому, большие. И после долгой внутренней борьбы, никому не открытой, решился Николай уволить славного адмирала Алексева с поста Главнокомандующего. Да этим и Наместничество как бы кончилось. Это было крушение года великих надежд, собственного сердечного выбора. И хотя Порт-Артур ещё отбивался (уже с тифом, цынгой, недостатком патронов) — но прояснялся и горький жребий Порт-Артура. И уже веяли в воздухе такие мысли, не миновали Николая: едва начавшаяся война — вот уже не кончилась ли? Еще как бы и не начатая, не развернулся флот, не доехали войска — не подошла ли к своему закату, не пора ли махнуть рукой и заключить мир?

В дни тяжёлых сомнений этой осени никто так не поддержал Николая, как кузен Вильгельм. Истинный друг, он просто и слышать не хотел о конце войны, и передавал через приставленного русского флигель-адъютанта: даже если падёт Порт-Артур — заклю-

чение немедленного мира будет ошибкой для России и торжеством для её врагов! Разве может Россия успокоиться, не одержав ни одного осязательного успеха?

С благодарностью ответил Николай, что Вильгельм может быть уверен: Россия доведёт войну до того конца, что последний японец будет выгнан из Манчжурии.

Чего касались сомнения ближе всего, это: посылать ли в кругосветное плавание из Балтийского моря на Тихий океан Вторую эскадру? Ей предстояло провести многомесячный путь, уязвимый со стороны Японии и Англии, — и придти на место втрое слабее японского флота. Из всех практических соображений выходило, что посылать не надо. Но: и как же было, имея большой флот, не послать его туда, где он нужен? Имея флот, отдать противнику море? Это и значило бы уже сейчас признать войну проигранной.

В эту осень одни душевные колебания накладывались на другие. Николай думал про себя, и беседовал, собирал мнения, собирал совещания — и несколько раз принимал решение — не посылать! И как гора сваливалась с плеч. И несколько раз решал: посылать! И снова воздвигалась гора на плечах, на сердце — неминуемая, необходимая.

Да все задачи его царствования были такие: и поднять нельзя, и обойти нельзя. Крест Господен.

Николай всегда любил свой флот — но эту Вторую эскадру с какой-то особенной нежностью, будто с раскаянием или с предчувствием. Он посещал её в Кронштадте, в конце её снаряжения. И опять посетил перед отплытием, обошёл все суда и — чудесная погода, хорошее предзнаменование — на яхте провожал её из Кронштадта. (Подняли штандарт Мамá — и вся эскадра из двух колонн произвела салют, торжественная и красивая картина.) И ещё через месяц нагнал её поездом на рейде Ревеля, и опять обошёл все суда, окончательно прощаясь, часть судов даже с Аликс. (Все эстляндские дамы потом на вокзале представлялись ей.) И думал об эскадре по часам, когда она выходила из Либавы в своё многотрудное плавание. (Благослови, Господи, путь её, дай ей придти целой!) И ещё отдельно ездил напутствовать два отставших крейсера. Ещё потом отдельно принимал команды подводных лодок. И тревожно следил за движением эскадры.

И всего через 10 дней произошла ужасная беда: близ Англии ночью эскадра увидела неизвестные четырёхтрубные миноносцы, открыла по ним огонь — а миноносцы куда-то исчезли, и подставились, как Дон-Кихоту мельницы вместо великанов, — англий-

ские рыбаки. Начался мировой скандал, Англия метала грозы, английские крейсера шли вдогонку русской эскадре, и нависла ещё как бы не война с нею, предлог был достаточный. Беды по одной не ходят.

Чем было умерить дерзость спесивых врагов? Правда: делай всегда добрые дела, они когда-нибудь скажутся. Предложил Николай и устроил когда-то Гаагский третейский суд, не предполагая сегодняшнего — а вот сегодня и пригодился, разбирательством вышли из конфликта.

Это было у десятилетия смерти отца. Боже, как за эти 10 лет всё стало в России труднее. Но смилостивится же Господь, наступят когда-нибудь спокойные времена!!!

Чем дальше продвигалась Вторая эскадра, тем отлегалась опасность английских помех или войны. Но всё движение зависело от угля, только Германия могла его дать — и тут-то высказал кузен Вильгельм, что снабжение нарушает нейтральность, становится всё опаснее, и Англия с Японией могут требованиями или силой его остановить. Германия с Россией способна встретить эту опасность — но какова же милая союзница Франция в её *сердечном согласии* с Англией? Не пора ли её проверить, предложив присоединиться к союзу континентальных держав? — и тогда нам не страшна никакая угроза, Япония погибла, Россия торжествует.

Да эта мысль Вильгельма была как будто исторгнута из головы самого Николая! Чья же заветная издавняя мысль эта и была, как не его! Он и начинал свои шаги, таща французскую эскадру на Кильские торжества, чтобы примирить непримиримых, свой двойственный союз протянуть в сплошной тройственный, — и избавить Европу от наглости высокомерной Англии! — а ныне осадить и нахальную Японию. И действительно: уже 12 лет союзница, что же Франция не спешила помочь в тяжкую минуту России? Тройственная коалиция принесёт мир и спокойствие всему миру. И Николай просил Вильгельма набросать план такого договора.

Вильгельм не заставил ждать, скоро прислал проект. Но проект ему не удался: там не столько были задачи войны с Японией, сколько Франция, если она не присоединится к двум. Исправили в Петербурге. Жаль, Вильгельм не соглашался, прислал новый проект и ещё зачем-то настаивал ничего не говорить Франции, пока не подпишут Россия с Германией, лишь тогда объявить, и она охотно присоединится, а при разгласке может

преждевременно вспыхнуть война с Англией. Как во всяких дипломатических переговорах здесь потянулись наросты, побочные предположения, ожидаемая реакция европейской печати, ответы и контрответы отсутствующих держав, опасения министра иностранных дел, что Германия хочет поссорить нас с Францией — и так эта полезная смелая мысль зависла и заглохла.

А между тем в самих русских столицах происходило потрясение. Поначалу новый министр внутренних дел прекрасный честный князь Святополк-Мирский был приветствован обществом и газетами, ему слали адреса, он обещал благожелательное доверие к обществу и, кажется, общество было готово отплатить доверием, и Николай тихо радовался, что вопреки советам своего строгого дяди Сергея он верно рискнул на это смягчение, для общего единства в стране. Вечно-трудный внутренний вопрос, кажется, был легко решён милосердием.

Но, увы, газеты не остановились на взаимном доверии, а поплыли, поплыли — о многолетнем искусственном сне России, о том, что все поражения идут от правительственного аппарата, — как прорвало: вдруг вся печать и все имеющие гласность стали требовать немедленных, во время войны, преобразований, разлития всяческой свободы — до полного оскопления государственной власти. (Из подававшихся предложений было когда-то такое: создать «царскую газету», свою официальную, и там объяснять точку зрения и решения Верховной Власти. Никогда не собрались.) Об ограничении монарха заговорили сразу почти открыто, вслух — а революционные партии кликали России военное поражение и террор. И либералы не погнушались съехаться в Париже вместе с террористами и требовать уничтожения монархии.

Тут ещё и Святополк упустил, не имел сразу твёрдости отказать самозванному съезду в Петербурге никем на то не избранных, самоявившихся земцев. Николай даже бы согласился на съезд подлинных уполномоченных, истинных представителей всероссийского земства, как бы представителей народа, послушать стоило, царское ухо не должно быть к ним закрыто, — но выборы таких потребовали бы 4-х месяцев, а самозванные уже и собрались в Петербург. Святополк не решился им препятствовать, и они, заседаая неразрешённо, а вместе с тем открыто, выработали свои п у н к т ы, по которым правительство не имело бы никакой власти — и тотчас распространили пункты по всей России. И точас же, как бы завершив свои задачи, Святополк стал просить отставки (очень рассердив Николая), а дядя Сергей —

отставки себе, ибо не брался дальше быть московским генерал-губернатором при таком сахарном министре. И действительно получалось, что кому-то из них надо уйти, они не были совместимы. Мучительно труден выбор направления. И удивляя сам себя, Николай согласился со Святополком созвать совещание для обсуждения возможных немедленных реформ.

А между тем по всей России как зараза распространились какие-то *банкеты* — все, кто мог и не мог, собирали вскладчину стол и произносили речи: ограничить царские права, ввести конституцию! Стало ясно, что общество использует *взаимное доверие* не для объединения с правительством, а — переменить государственный строй.

И вот на Невском толпы молодёжи свободно ходили с красными флагами и кричали «долой самодержавие!». А московская городская дума дерзко потребовала подчинить всю государственную администрацию контролю выборных людей — и позорили по всей Москве своих членов, отказавшихся подписать. Молодёжь и на концертах кричала «долой царя!» и сбивала концерт революционными песнями. Где-то печатались и повсюду раздавались прокламации. На Страстную площадь однажды вывалили тысячи людей и опять красные флаги. Дядя Сергей не велел полиции стрелять, она разгоняла ножами и тупеём сабель, а демонстранты били её палками, кистенями, железными прутьями.

Эта междуусобица больно оскорбляла, и Николай всё менее понимал, что же правильно делать. (Ещё какие-то и дни стояли: серая оттепель с резким ветром и темнота в воздухе ужасная!)

В начале декабря собрали раз и два совещание о мерах, как прекратить смуту реформами — главных несколько дядей, главных несколько министров и сановников. Сперва склонялись: собрать ото всех сословий Земский Собор, но дядя Сергей решительно отговорил, что мера не вызвана состоянием дел, и не для военного времени. Тогда решили: от местных учреждений выборных представителей привлечь к первоначальному обсуждению государственных дел. Но сильно заколебался Николай и насчёт этого пункта. Дядя Сергей уговаривал — выбросить, Витте уговаривал — оставить, иначе в указе повиснут одни торжественные слова, которые никого не успокоят. Витте настаивал, что к представительному образу правления единообразно идут все страны мира, и так же надлежит России. О, Боже! за что ты взвалил на мою голову эти решения — как идти России целыми веками? Нет, как шла Россия из глуби: полезен народный глас, но решение должно быть единолично царское. Нет, для Божьего народа

парламентский образ правления не может привести к добру, а только к злой сумятице сердец. Всё это — усиленные попытки направить Россию по пути, чуждому для ее народного духа. Вычеркнули пункт.

Ещё потому так был подавлен Николай всё это время, ноябрь и декабрь, что жил не в привычной для этих месяцев ласковой крымской обстановке, но, по серьёзности положения, остался в сгущённой петербургской полутьме, и сердце его занывало, стеснялось, и все решения давались ему ещё труднее обычного. Он не мог уступить требованиям! И не смел им сопротивляться, если б за ними стояла истина, но — кто это знает? И при всём том достоинство монарха обязывало не показать своего смятения наружу, — для всех на вид оставаясь всегда спокойным, даже равнодушным: свои заветные чувства и тревоги не дать трепать языкам. В эти недели он часто посещал Мамá в Гатчине, пил чай и засиживался до обеда, подолгу беседуя, ища у неё совета и руководства.

Ещё ж и большой охоты он был лишён в эту осень! — в этот год не поехали и в Беловеж. Лишь несколько раз по одному дню охотились то в фазаннике под Петергофом (убил полтора фазанов), то под Ропшей (взяли хороший загон), то в Царско-славянском лесу на лосей (один раз лоси ушли из круга, другой — убил лося с хорошими рогами, но всего четырьмя отростками). Но даже и в дни охоты нельзя было освободить душу от докладов — с утра отсиживал их, следя, чтоб не опоздать с поездкой, а воротясь, весь утомлённый и свежий, ещё выслушивал.

А и зимой оставалась на Николае добровольно взятая, но святая обязанность: не пропустить благословить все уходящие на Восток войска. И сумрачным этим декабрём, так или не так окончив совещание указом, Николай (с Мишей и обычными спутниками) поехал в Киевскую губернию. Во вьюгах зимы как должно было это видеться войскам — почти чудом внезапным — появление вездесущего царя перед ними на замёрзших полях! Пехотные полки, стрелковые бригады, конно-горные дивизионы, сапёрные и понтонные батальоны выстраивались далеко за городами, бодро представлялись, вид людей был отличный. Один день, около Жмеринки, мороз с сильнейшим ветром был такой ужасный, что у Николая при объезде строя чуть не отмёрзли пальцы на левой руке, и он торопился благословить все части в каких-нибудь полтора часа. (А с Мишей сделалось от холода дурно.) После этого как приятно было сесть в тёплый поезд!

На другой день близ Барановичей из-за мороза не решился ехать в открытое поле, приказал привести войска к вокзалу.

А в ночь под Бобруйском, получил потрясающее известие о сдаче Порт-Артура. Громадные потери, болезненность состава, израсходование снарядов, всё так, предвиделось — а всё время хотелось верить, что защитники устоят. Но, значит, на то воля Божья! Плакал и молился.

Неделю проездил — как счастлив был увидеть дорогую Аликс и детей здоровыми! (Конечно, не обошлось сейчас же без докладов.) Только и отдохновение — быть дома, завтракать семейно, ужинать вдвоём. То рассматривать альбомы фотографий, то смотреть сцены кинематографа, то разбирать вазы, пришедшие с фарфорового завода. То принимать от уральского войска икону для маленького сокровища. Читать вслух, иногда с кем-нибудь поиграть на рояле в четыре руки — да только в семейной обстановке и может найти успокоение душа человека! И мнится: всё худое минует.

Тут подступило и Рождество. Сперва ёлка для детей, потом ёлка для всех, потом в манеж на ёлку конвоя и туда же на ёлку второй очереди. Приезжал в царскосельский дворец митрополит славить Христа, завтракали. Посещал госпиталь вернувшихся с войны, для них тоже ёлка. Аликс, бедняжка, катаясь с горы с детьми, ушиблась.

Под Новый Год принимал Святополка, одно расстройство, банкеты продолжались по всей стране — и как же их запретить? Принимал Абазу — как же быть теперь на Востоке? Усиленно читал и подписывал всякого рода указы, указы. В царскосельском соборе отслужили панихиду по погибшим в Порт-Артуре.

Да благословит Господь наступающий 1905 год, да дарует в нём России победоносное окончание войны, прочный мир и тихое безмятежное житие! Поехали к обедне, после завтрака отвечал на поздравительные телеграммы. Провели вечер вдвоём. Так рады остаться на зиму в родном Царском Селе, в этом году не переезжать в Зимний. На святках была и офицерская ёлка, присутствовали все дети, даже «сокровище», вело себя очень хорошо. С Нового Года пришлось принять отставку дяди Сергея, он согласился перейти на военную должность, на командование войсками Московского округа. Приезжал, сделали с ним хорошую прогулку. Он не предвещал доброго при новом курсе. Вон, уже в Трепова стрелял ученик торговой школы. На другой день Николай имел крупный разговор со Святополком —

а ему что ж, он и сам просится в отставку. Принимал Абазу, отводил душу.

На Крещение поехали к водосвятию в Петербург. После службы в церкви Зимнего крестный ход спустился к Неве на иордань — и тут во время салюта гвардейской конной батареи от Биржи одно из орудий выстрелило настоящей картечью и обдало ею рядом с водосвятием, ранило городского, пробило знамя, пули разбивали стёкла в нижнем этаже Зимнего и даже на помост митрополита упали несколько на излёте.

Салют еще и затем продолжался до 101 выстрела — царь не пошевельнулся, и не побежал никто, хоть могла прилететь и опять картечь.

Было ли это покушение или случайность? среди холостых попался один боевой? Или опять — дурной знак? Угодили бы точнее — перебили бы несколько сот человек. Осталось тяжёлое чувство. Обедали вдвоём и легли спать рано.

На следующий день решали вопрос о покупке военных судов в Чили и в Аргентине: флот пошёл недостаточный, надо его на ходу укрепить. День выдался беспокойный, пришлось одного за другим принять девятерых. (А такой чудный иней стоял на деревьях!) Дело в том, что за минувшую неделю в Петербурге разыгралась изрядная стачка. Началось с Путиловского, из-за какого-то местного случая, а вот уже, говорят, дошло до 100 тысяч человек. И требовали чего-то неосуществимого, и какой-то почему-то священник с домогательствами для всех заводов — такими, что полностью упала бы вся отечественная промышленность. Да наверно, подали им соблазн, что легко уступили стачке в Баку. Большие толпы бастующих ходили от завода к заводу, фабрике, мастерским, требуя, чтоб и там прекращали работу и грозя насилем. И чтоб избежать ненужного побоища иногда и сама полиция велела рабочим оставлять работу. Так и все типографии прекратили, и в Петербурге не вышла ни одна газета, и от этой мнимой пустоты (на самом деле — отдыха) очевидно и было у всех такое ощущение, что опасность беспорядков сильно преувеличивали. У кого-то была мысль об аресте вожakov, но не доставало чинов полиции, занятой на охране порядка, да и не оправдывалась такая мера нынешней общей тяготой положения, на всех распространённой. Сходили вдвоём приложиться к иконе Знаменья Божьей Матери.

А на другой день забастовали уже, кажется, все рабочие Петербурга, странно и неблагоприятно для них же самих: если все будут не работать, то еды никак не добавится (или кто-то

платил им?). В этот день стало известно, что завтра в воскресенье намеревается вся рабочая толпа собираться к Зимнему Дворцу, чтоб о нуждах своих говорить с батюшкой царём. Никто из подчинённых разумеется не высказал вслух, но у всех стоял вопрос в глазах: как же это будет? поедет ли государь в город и в Зимний, где думают его найти, и будет ли говорить? А Николай никогда и с отдельным рабочим не говорил о его нуждах, он не знал такого разговора, — как же сразу со ста тысячами или больше? Он мог бы выйти перед такой толпой, но если б она составляла несколько дивизий, поставленных по порядку, при своих офицерах и ожидала бы простых команд и простых приветствий. Но выйти одному к толпе не оформленной, не возглавленной — даже опускалось нутро: как же вести себя? что сказать? что произойдёт? Да горло пересохнет, да глаз не поднимешь. Это было бы даже счастье — царю поговорить прямо со своим народом, это рисовалось ему в представлениях, — но не теперь же сразу, без подготовки, и о чём? Занятый тяжкою войною и раздором с образованным обществом, Николай и позабыл придавать значение ещё заводам, эти навалились вдруг неожиданно. Нет, он склонялся — не поехать, и Аликс вполне его поддержала, уж её сердце не ошибётся. Это был какой-то грубый вызов каких-то подозрительных вожakov, священник-социалист, там действовали революционеры несомненно. Когда к вечеру стала известна подготовленная ими петиция, это подтвердилось вполне: просьбы подменили. Простые немудрёные рабочие из своих нужд не могли бы такого придумать: что главная просьба их — всеобщие, прямые, равные, тайные выборы в учредительное собрание, затем свобода печати и ответственность министров не перед царём, а перед народом. И сам тон был дерзок: поклянись исполнить, нето мы все умрём здесь на площади, перед твоим дворцом! Пропустили, как эта петиция появилась в последний момент, читали её рабочим или они не знали даже? Вся программа там была социал-демократов. Приезжал в Царское с докладом о принятых мерах совсем потерянный растерянный Святополк, он уже еле влёк свой пост, и Николай уже еле терпел этого министра, да не было подходящего дня для отставки. По слабости полиции, никак не подготовленной к массовому передвижению, и малочислию гарнизона вызывались на завтра в Петербург из окрестностей войска — чтоб удерживать порядок, а ко дворцу не допускать. Сделал градоначальник печатное объявление по городу: чтоб не происходило скопления народу, а то с толпой будут поступать по закону. Верно, на каждом посту свой ответственный

генерал, и он знает, что делать, не о каждом шаге заботиться царю. (Только по забастовке типографий напечатали объявлений мало, маленькие и расклеили далеко не везде.)

Вечеру Николай долго молился, почему-то была страшна ему эта выросшая внезапность — не социалистические те требования, а что двести тысяч, не управляемые, вдруг пойдут по городу. И с утра на обедне он молился между надеждой и боязнью. Он надеялся, что всё обойдётся по-хорошему. И остался в успокаивающем окружении царскосельского парка, в солнечном дне. Здесь его глаза не увидели этих неведомых рабочих лиц и уши не услышали роковых залпов. Боже, какой тяжкий день! Ужасно, но войска должны были стрелять, потому что ни увещаниями, ни предупреждениями, ни угрозами, ни даже холостыми залпами они не могли остановить нападающих толп, все стремились к центру города, даже и с «ура» бросались на войско. (А попадавшиеся в рабочей толпе студенты — насмехались, оскорбляли войска бранными словами, бросали камни и даже стреляли из пистолетов.) Пришлось применить огнестрельное оружие у Нарвской заставы, на Троицкой площади, на Васильевском (там и баррикада была), даже — у Адмиралтейства, на Певческом и Полицейском мосту, потому что и сюда просочились многие. И вот — было до ста убитых и ещё умирали раненые.

Господи, как больно и тяжело! Откуда же это навалилось, и так внезапно, и чем заслужено? И как это всё было предотвратить? У царской власти не было таких сотен молодых помощников, которые бы шли туда, в самую толпу, где эти шествия готовились, и объясняли бы, напротив, что петицию им подменили злые, чужие, что царь-батюшка знает об их нуждах, но не доходят руки за тяжкой войною.

А потом думал: а всё-таки — шли ведь без красных флагов. А со стороны Путиловского — даже с хоругвями, с иконами, как на крестный ход, и даже полиция была смущена, пошла впереди шествия, с обнажёнными головами. И могли не понять сигнала армейского рожка. И не могли знать, что царя нет в Петербурге. Шли-то ведь они — не к градоначальнику, не к министрам, а к н е м у, и значит с доверием. Шли — чтоб непременно дойти, впусте не возвращаться. Да ведь *просто* движение по улицам — не запрещено? Не сказано, скольким можно идти, а скольким нельзя? Как-то это всё неподготовлено навалилось, на докладах не успели достаточно обсудить — ч т о же именно надо делать? Не уговорено было именно неотклонно стрелять.

Но если двести тысяч идут по улицам, так это что ж — революция? Вот так просто в один день и начинается?

Молился и плакал. О, Господи, почему Ты не даёшь помощи? Почему же так мрачно обставилось всё вокруг? О, просвети, что же надо делать? Что же надо было делать!?

И это же могло теперь повториться завтра и послезавтра? Так и ждали. Пользуясь отсутствием и смятением полиции, по Петербургу разбивали фонари, стёкла в магазинах, грабили товар, частные дома, один оружейный склад. Вечерами перерезали электричество. Отдельных военных на улицах оскорбляли словами и действиями. Что ж это было, если не начало революции? Войска ещё два дня должны были нарядами стоять на улицах. Святополк совсем разваливался. Нужен был крепкий человек у власти. Как раз Дмитрий Трепов, покинувший Москву вместе с дядей Сергеем, теперь был в Петербурге, собираясь в Манчжурию воевать. Его и решил Николай назначить генерал-губернатором столицы и губернии, отобрав их обе у министра внутренних дел.

И не раскаялся. Это решение было счастливое. Твёрдый решительный человек и знающий, что делать. Всё успокаивалось, столкновений больше не было. Там и здесь начались попытки рабочих вернуться на работу, кем-то противодействуемые.

Успокаивалось — но и что-то переменилось, не возвращалось к старому. Отчасти волнения перебрасывались теперь в Москву. Министры докладывали: ни полиция, ни военная сила на самом деле уже не могут восстановить положения; после того как улицы столицы обгарились кровью — голос министров уже не может быть услышан, необходимо державное слово.

Державное слово? Да, наверное. Царь и народ должны быть едины. Но как это слово перекинуть через всё разделение? Кому, где и когда сказать его, если не пользоваться привычными канцеляриями, Сенатом, указами, рескриптами и должностными лицами, поставленными на то? Николай не умел.

Министры настаивали, что государь должен что-то сказать. Они выработали такой манифест: выразить скорбь и ужас от случившегося, но события не были известны государю своевременно и (предлагал Витте) войска действовали не по его повелению.

Но — он не мог так сказать о своих войсках! Свои войска предать — он не мог! И хотя события действительно были ему не вполне известны и поняты не вполне — но и другим ведь так же, всех застигло врасплох.

Выручил Трепов: он предложил собрать делегацию благонамеренных рабочих от разных заводов. Только немного! — ну, человек 30, — это ещё можно преодолеть. Привёз их в Царское, через десять дней после события, и Николай сказал им (прочёл заготовленные) слова твёрдые, но сказал мягко, сострадая:

— Вас поднимали на бунт против меня. Стачки и мятежные сборища всегда будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает неповинные жертвы. Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Но имейте терпение. Мятежную толпой заявлять мне о своих нуждах — преступно.

Но — он не гневался на них. Даже больше:

— Я верю в честные чувства рабочих людей, в непоколебимую их преданность мне, а потому прощаю им вину их.

Но даже и после этого прощения — не устоялась, не вернулась в прежнее общественная обстановка. В эти самые дни ещё начал наступление Куропаткин, однако в несколько дней свершилась опять неудача, отошли с потерями. Что-то надо было предпринять государю, но не дано было прочесть волю небес: что же именно?

В эти недели совсем не безучастным остался Вилли, он вмешался, и очень горячо, как нельзя бы никому простить, но он был — верный друг и равный монарх, и смел поставить себя на место Ники. Сперва через приставленного русского флигель-адъютанта, потом большим, страстным, даже резким письмом Николаю, вскоре, не успокаиваясь, еще и через Мамá, Вильгельм нарисовал план, как должен был Николай действовать, и даже настаивал, со своей неудержимой пылкостью почти понуждал. Он стучался прямо в сердце: напряги силы! Россия переворачивает страницу своей истории. Режим Святополк-Мирского слишком быстро отпустил поводá, отсюда и поток неслыханных дерзких статей, умаляющих уважение к власти. Доверчивыми рабочими завладела революционная партия — и они стали категорически требовать, о чём понятия не имели. Но ты должен был с балкона Зимнего принять некоторое количество этих невежественных людей и поговорить как отец. Это слово внушило бы массам благоговение — и было бы поражением агитаторов. Ведь мысли царя неизвестны массам. При самодержавном режиме сам правитель должен давать программу, а без этого любые реформы — пыль видимости от министров, все будут с беспокойством ощущать недостаток твёрдой руки. Когда монарх скрыт — уже и благонамеренные толкуют вкривь и вкось и начинают

валить недовольство на царя. Самодержец должен обладать сильным умом и ясно сознавать результаты своих действий. Так, все в Европе согласны, что именно царь лично всецело ответствен за войну: и за её внезапность и за очевидную неготовность России. Запасные неохотно едут воевать в страну, которой даже названия не знали до сих пор. Страшно вести непопулярную войну, когда огонь патриотизма не возожжён. Все ждут от царя какого-то великого деяния, при котором он не пощадил бы себя самого, может быть — принятия верховного командования, чтобы вернуть уверенность своим солдатам. В прежние времена твои же предки, прежде чем отправляться на войну, молились в старых церквах, собирали народ во дворе Кремля. Такого призыва Москва и ждала от тебя вслед за нападением японцев — и не дождалась. Глубоко отразилось, что эта война не объявлена с кремлёвских стен. Но ещё и теперь не поздно царю вновь овладеть Москвой, а с нею и всей Россией. Конечно, никакого соглашения с мятежниками, сохрани Бог от какой-либо уступки бунтующей черни, малейшая будет иметь последствия губительные. Анархию надо давить самыми энергичными действиями, но обставив их с подходящей торжественностью. Ты должен выявить свою монаршую волю, привлечь внимание народа и воодушевить армию. Невозможно вести одновременно два таких сложных дела, как большую войну и реформы внутреннего управления. А кончить войну с Японией нельзя без существенных успехов. Значит, всякие реформы надо отложить. Но это бесповоротное решение надо объявить во всеуслышанье и твёрдо. Наиболее подходящее место для такого объявления — московский Кремль. Появиться с блестящей свитой из высшего духовенства, дворянства, собрать благомыслящих представителей всех сословий. С хоругвями и иконами выйти на балкон и прочесть манифест верноподданым. Слушали бы, затаив дыхание. Царская воля: прекратить обсуждения внутренней политики, все устремленья — к победе! После войны будут реформы — но каких ты сам пожелаешь, *habeas corpus act*, расширение прав Государственного Совета — но никаких учредительных собраний, никаких распущенных свобод. (Только не доверяй внутреннего переустройства таким изворотливым, как Витте: у него скрытые намерения, он помнит все уколы, нанесенные его самолюбию когда-либо, и он не воодушевлён старыми дворянскими традициями.) Если нужно — скажи, что ты отправишься делить тяготы войны с их братьями (царь не может постоянно оставаться в Царском или в Петер-

гофе!) — и весь народ упадёт на колени и будет молиться за тебя!!! И потекут народные приношения на войну.

Говорят, у каждого человека есть свой роковой человек, к которому тянет необъяснимо и с которым потом окажется неизбежно связана главная судьба. Таким человеком для Николая проступал Вильгельм.

Было и обидно, и стыдно, и благодарно. Да, с этим человеком сообща, никогда не порушив их дружбы, можно было удерживать от краха и Россию с Германией и весь мир!

Но не испытывал Николай в себе решимости на крупные шаги, на резкие действия. И в Кремле выступить уже упущено (да вообразив перед собой в толпе насмешливых либералов, коими Москва роилась). И решиться на многие месяцы уехать на неприятный край света — а душу Аликс, а маленькое сокровище — оставить?..

Нет уж, пусть всё идёт, как на то воля Божья.

Да всего несколько дней прошло — и в той самой Москве, в том самом Кремле, в пустом его дворе был разорван бомбами дядя Сергей! Не жил и минуты, от тела почти ничего не осталось (а кучер, получивши 80 осколков, ещё мучился). Это — громовой был взрыв. Злодеи (рощённые где-то же в России! хотя Вильгельм уверен был, что в Женеве) пристращались ко вкусу мяса, шли от убийства к убийству, от министров — теперь к великим князьям. Убивали по одному именно тех, кто стоял и удерживал смуту. И вполне могло быть, что их намерение — известить весь царствующий дом. Оттого и на похороны не мог теперь поехать сам Николай, но согласились, чтоб не ездили и великие князья и княгини, даже на панихиды в петербургские соборы, никуда, где заранее могут ожидать, — служили по своим домашним церквам. Вся династия вмиг оказалась как в плену по своим дворцам. Особенно травили дядю Владимира, посылая угрожающие письма. В эти же дни изловили дюжину революционеров со складом взрывчатых веществ. Небезопасно становилось и в самом Царском с его раскинутыми просторами прогулок. А уж из него — никуда. Николай отменил все парады и внешние обязанности, с того несчастного крещенского водосвятия никуда больше не выезжали из Царского. Страх перед покушением не было в нём никакого, однако самодержец не имел права себя подставлять.

Но с 9 января случилось что-то и худшее, не в один день это понялось. Петербургские рабочие как будто улеглись (хотя

вспыхивали опасные слухи и ещё раз два вводили в город войска) — но забастовки передались в Москву, на железные дороги, в Прибалтийский край, а в Польше дороги вообще оставались. И по русским городам (даже в Ялту) перебрасывались грабежи, убийства, таинственные поджоги, малые бунты, так что в иных городах становилось опасно вечерами из дому выходить, и недоумевалось может быть: да есть ли в этой стране царь? А войск на охрану не было, они всё более, теперь уже четырнадцатью поездами в сутки, перетекали на поддержку манчжурской армии. Как будто тайным каким-то способом, безо всякого видимого сведения, передалось лихим людям повсюду, что пришло время безнаказанно баловать, что их царь не применит больше силу и, гуляя по своим аллеям, сам не знает, что делать ему.

А душе всякого простого народа, с 9 января рассердился образованный класс, он как будто сам на себя рассердился, что упустил первую линию — и теперь нагонял. Вот объявляли протесты и забастовки адвокаты, профессоры и даже академики, писали письма по триста человек, отказывались преподавать (но не отказывались от казённого жалования). Объявили забастовку до осени и студенты почти всех учебных заведений (тоже не отказываясь от казённых стипендий), а кто хотел учиться — тем нечем было оградить от насилий забастовщиков. Да что, бастовали даже гимназисты, реалисты, даже в самом Царском Селе в реальном училище родители решили, чтобы дети их бастовали. Всё русское общество било как истерикой. Все газеты писали о Земском Соборе как о вопросе решённом. В петербургском университете состоялись разрешённые студенческие сходки. На одной постановили, что не желают никакого Земского Собора, а желают Учредительного Собрания, то есть устанавливать власть понову, как если б в России ныне не было никакой власти. А на другой сходке сорвали портрет государя, разорвали в клочки, топтали — и разошлись.

И — что же было с ними поделать? Не арестовывать же. Решено было — не заметить, как бы — не случилось ничего.

В эти серенькие мягкие февральские деньки Николай гулял по снежным аллеям — со сжатым сердцем, как съёженный, — и не мог решиться, что предпринять. Как будто развязали какой-то чёрный мешок — и из него посыпалось. Он всё более с ужасом думал об этой расхидившейся, разъяренной образованной публике, которая плевала в него насмешками и проклятьями. Он совершенно терялся — что же можно поделать? Как пригласить их слушаться властей?

И никто не мог ему помочь. И советчики — разноречили. Едва он обрадовался, что нашёл единственного решительного прямодушного Трепова, не боящегося за свою жизнь, — как все министры дружно возненавидели его, более всех — Витте, и говорили, что Трепов погубит всё своей непримиримостью. И пути-то было всего два, как всегда: твёрдость или уступчивость? А выбрать между ними окончательно — не было душевного жара.

Николай стал теперь собирать в Царском Селе всех министров одновременно, под своим председательством, думая столкновением их мнений установить истину. Они все предлагали идти на уступки; собирать общественных представителей, не то разрушатся финансы, не будут верить иностранные державы и разразится революция, — но всё ещё может быть спасено, если в 4 месяца соберётся Земский Собор.

Однако горел в сердце и совет Вильгельма — что надо самому обратиться к народу прямо. Но если не выговорить этого самому, то надо издать манифест. Сердце подсказывало, что Вилли прав: война, какие могут быть реформы? что Святополк был ошибкой. из-за тех уступок всё и развязалось. И вот, втайне от министров, с помощью других стойких людей, Николай приготовил и издал манифест: что призывает всех верноподанных на искоренение крамолы и одоление внешнего врага; что мы призваны на Тихом океане защищать интересы всех христианских держав; что основы русского государства, освящённые церковью, должны остаться незыблемы.

Проявил твёрдость, подписал — и ощутил довольственную устойчивость. Но и сразу же — раскаяние, но и сразу же — сочувствие: а ведь многие добрые хотят подать добрые благоразумные советы — разве государь намерен отвратить слух свой от народного голоса? Он только не смеет порвать с историческим прошлым страны, он только не согласен отдать судьбы страны в руки выборных, предать борьбе партий, — а советам благоразумия он очень рад, он даже жаждет их! Воля царя и должна выражать народную мысль. И подвигся государь наряду с тем непреклонным манифестом издать и щедрый широкодушный указ: что предоставляется всем подданным право открыто и свободно высказываться по вопросам совершенствования государственного порядка, а совету министров поручено принимать и изучать все проекты реформ, кем бы они ни были составлены.

И теперь, ощутив прекрасное равновесие того и другого шага, Николай без совета министров распорядился: опубликовать и манифест и указ в одно и то же утро, 18 апреля.

Но в то самое утро собрались к назначенному заседанию и министры. Указа они как и не заметили, но откровенно высказывали свою поражённость манифестом, без них созданным. И только что поднявшееся сердце Николая снова упало. А министры принесли составленный — да по его же распоряжению, он не помнил, — проект рескрипта о подготовке созыва местных представителей для участия в выработке законопроектов, — и тут уже ничего не говорилось о подавлении крамолы и о задачах внешней войны, а так получалось, что, не глядя на войну, начинаются реформы. Этот рескрипт был прямо противоположен только что опубликованному манифесту и шёл совсем не туда, куда указ, — не к добрым советам, а к вынужденному парламентарству. Государя опять толкали на невыносимые уступки дружным согласием их всех — и никак невозможно было отклониться, отстояться от их настойчивых речей. Николай всегда боялся сам себя — что не выдержит характера. Вот и теперь, протомаясь безвыходно среди министров, он подписал тем же числом и рескрипт. Благослови Бог манифест и указ, пошли, Господи, успеха и рескрипту.

А с заседания выйдя — так гадко себя почувствовал. И у Аликс разрыдался.

Все эти дни служили панихиды по дяде Сергею. Отвечал на массу телеграмм соболезнования — из-за границы конечно, а у нас ликовали смерти его. Тем временем у маленького сокровища прорезался первый зубок. Упаковывали подарки санитарному поезду Аликс. Приехал освобождённый японцами Стессель, герой Порт-Артура. Завтракали, много говорили с ним про осаду.

Что одно могло сейчас спасти Россию и перевернуть всё общественное настроение — это блестящая победа в Манчжурии. Общество за своим развлекательным бунтом почти и забыло о той войне, но Николай горячо помнил, горячо молился, и — ждал. Он знал, что там стянулось друг против друга до 600 тысяч войск, невиданно. И когда он подписывал патристический манифест, сердечный указ и злосчастный рескрипт — в эти самые дни Куропаткин начинал сражение под Мукденом.

О, Господи! Да есть ли мера испытаний Твоих! За что же гнев Твой на нас так бесконечен? Опять поражение, да какое! Избегая полного охвата, Куропаткин отступал под напором с трёх сторон, бросил до 100 орудий, даже знамёна, отдал 30 тысяч пленных и 60 тысяч потерял, — почти бегство.

Из того развязанного чёрного мешка летели и летели беды на Россию.

Этой весной удерживался в Царском, вынужденно оберегаясь от террористов, любимое место оборотилось тюрьмою, было такое ощущение, что больше нет в его руках подлинной власти, что уже не от него зависит, как пойдут или не пойдут события. Но не было власти и у либералов. А всё качалось как на перевесе, кто прежде достанет до твёрдого. Вся Россия — на перевесе.

Они создавали какие-то союзы. Потом Союз союзов. Беспрепятственно теперь собирали земский съезд, и более всего тянулись к своему самому сладкому — всеобщему-прямому-равному-тайному голосованию, как будто этим всё будет спасено. Николай надеялся, что съезд не будет допущен, уже довольно наболтались они, — но он был допущен. А указ всем радеющим о нуждах государственных подавать свои благие соображения был разнузданно истолкован так, что во многих местах собирались и громко, развязно предлагали — всё упразднить, вплоть до императорского трона и самой России. И общество и газеты открыто обсуждали, не заключить ли мир, как будто им, а не государю, предстояло это решить. И — что и сколько можно отдать Японии.

А май стоял — дивный, великолепный! И в такие дни потянуло как низким холодным: стали доноситься сперва противоречивые, а потом всё более тяжёлые вести о бое в Цусимском проливе — и всё больше о потерях наших и ничего об их, — и в три дня обнажилась сотрясающая картина гибели почти всей эскадры! — и от радостной весны ещё острее чувствовался мрак. Грозно же являет наш Господь свой гнев! Такого удара еще не приносила вся война. Нет, видно это всё было написано на небесах — и так тому быть.

Много ездил верхом, развеивался, иногда катался на байдарке, на велосипеде, иногда в парке подстреливал ворон. Принимал артиллеристов, выпускников академии. Однажды приняли вдвоём симпатичного москвича Гучкова, приехал из армии, много интересного рассказывал. Дядя Алексей после цусимского боя решил уходить с морского ведомства, больно и тяжело за него, бедного. Но он прав.

Что делать теперь с войной? По 8-й частной мобилизации (всеобщей так и не было в России) составилось ещё 150 тысяч молодых солдат, которых за три месяца можно было довести до Маньчжурии и иметь армию в полмиллиона. Можно было объявить ещё и 9-ю частную мобилизацию, хотя тогда уже — затронуть опасно-возбужденный Западный край. Однако, море во власти Японии, нечем защитить Камчатку, Сахалин, устье Амура, и не

готов к обороне Владивосток — ни войсками, ни снарядами, ни провиантом. Дух войск подорван и особенно после Цусимы. Многие советовали Николаю искать путей к миру (и любимый адмирал Алексеев, зачинатель всего движения, более всех упал духом), другие — хотя б узнать японские условия. Николай и сам этим проникся: конечно, нам важнее всего благосостояние внутреннее, и для него надо снести позор. Вернув России внешний мир, мы вернём ей и внутренний, и так благополучно разрешится всё, не разрешимое теперь. И надо спешить, пока японцы ещё не заняли ни куска русской территории. Даже само начало переговоров уже благотворно отразится на настроении населения. Уж не знал Николай, как избавиться от этой несчастной войны. Какой он был счастливый, сам того не ведая, и как легко было управлять страной, пока война не начиналась!

А другие говорили: напротив, внутренний разлад никак не уляжется, если кончить войну без победы: вернётся угнетённая армия — разве настроение улучшится? И от Японии, как только она узнает, что мы ищем мира, возникнут новые унижения.

Получалось заколдованное кольцо: от худости внутреннего положения нужен мир, — но мир ещё ухудшит внутреннее положение. О, как не просто всё на свете: громоздились и громоздились противоречия, не разрешимые человеческим умом. И возлагались все — на голову Николая.

А Вильгельм писал: твоя война непопулярна в твоём народе. Во имя своего понимания национальной чести нельзя посылать далее на смерть, Царь царей потребует ответа. Располагай мною для подготовки мира. Японцы чтут Америку, а мы с президентом Рузвельтом большие приятели, могу частным образом снестись.

Ну, так тому и быть, само складывается. Он большой разумник, Вильгельм, как он всё видит!

Через несколько дней американский президент предложил посредничество, и переговоры начались. Николай ещё держался как мог, отвечал в телеграммах патриотам, что никогда не заключит недостойного России мира, — а между тем посылал на переговоры вездесильного Витте. И даже знал, что Витте не пожалеет расплачиваться за счёт России, но надо было послать кого-то самостоятельного, умного, а, оглядываясь, таких людей вокруг русского трона не было.

Он послал Витте на переговоры, а сам жил двойною надеждой: и что они удадутся и что они не удадутся. И то и другое приносило своё облегчение: или освободиться от войны или избежать позора. Или будет разбита вера в отечество — или крово-

пролитие. Он не знал, чего желать. Это был один из непосильных выборов жизни, только вера приносила бальзам. Внутри страны всё как разваливалось дальше: было восстание с баррикадами в Лодзи, смута в Одессе, ошеломляющий необъяснимый мятеж на броненосцах Черноморского флота с убиением офицеров, просто не верилось, какая срамная история! — а с другой стороны мирно прошли две следующих частных мобилизации на войну, подкрепления в Манчжурию текли и текли, армия сильно укреплялась, финансы страны были незыблемы, хозяйство не затронуто, старшие возрасты не призывались, и Россия могла воевать хоть ещё 10 лет, если бы не общество — и в таком положении до слёз досадно было просить об унижительном мире. Поначалу японцы требовали с России весь Сахалин и большую контрибуцию, но уж тут решил Николай — ни копейки, и начал надеяться, что переговоры на этом сорвутся, и общество оценит, что не он, а Япония сорвала, и больше не будет бунтовать. Но Япония вполне внезапно вдруг отказалась и от контрибуции, брала Сахалин только южный, Порт-Артур, Ляо-Дун — и Витте подписал. Согласие Японии грянуло так неожиданно, мир был подписан так мгновенно — Николай воспринял как новое поражение и горе, целый день ходил как в дурмане, лишь постепенно сильный холодный ветер продувал жаркий воздух и голову: может быть, и хорошо, что подписали. Вероятно, так и должно быть. Служили молебен во дворце, но радостного настроения не ощущал.

И началась война как во сне и кончалась как во сне.

Лето жили, как всегда, в Петергофе, здесь и безопаснее, на ограниченном пространстве. Некоторые недели стояла здоровая жара, много купались, и Аликс с детьми ходила в воде. Катались на электрическом катере. Играли в теннис.

В эти тяжёлые дни Вилли предложил повидаться, и Николай охотно согласился, так нуждалась душа поделиться с близким, а вместе с тем — равным. По напряжённости русских обстоятельств согласились сойтись шхунами в Бьёрке, тут близко, в Финском заливе. Николай ждал поддержки и дружеских советов относительно японских переговоров, да и внутренних неурядиц, где Вилли так завидно видел выход. А Вильгельм приехал весёлый, но и очень озабоченный: он говорил, что именно теперь, когда Россия выходит из японской войны, особенно опасно нападение на неё Англии и особенно зрелым и нужным стал их несостоявшийся оборонительный договор, в который затем они втянут и Францию. За многими беспокойствами минувших месяцев Николай как-то потерял мысль, сейчас не мог собраться:

почему именно теперь, именно к концу войны — нет, даже только со дня заключения японского мира (не вступать же Германии теперь против Японии) — Вильгельм считал таким необходимым этот договор? Вилли озабоченно, дружески и категорически настаивал — да оказывается, он привёз и весь договор готовым! Но ведь было условие сперва советоваться с Францией? Ни в коем случае, именно это нельзя, сразу станет известно Англии, и Англия успеет объявить войну. Надо подписать теперь же (вот, он уже подписывал!), а тогда Франции легче будет и присоединиться, если у неё есть совесть. И прямо ручку протягивал — подписывать. Николай никак не охватывал этого смысла до конца, не тем была занята его голова. И правда, Франция все эти годы войны и бедствий была чужая, совсем не союзница, и даже сердечный друг врагов. А Вилли был тот друг, который не покидает в беде, именно в японскую войну они и стали друзья, как никогда. Он называл Ники милым братом и только одну надежду имел: видеть Ники достигающим успеха. Он говорил, что этот союз особенно полезен именно для России, потому он и предлагает его. Там дальше Двойственный Союз сольётся с Тройственным, образуется Пятерной — кто против него устоит? А уж все мелкие государства естественно притянутся, доверчиво следуя за нами. Весьма возможно, со временем и Япония пожелает присоединиться к нам. Нынешний день начнёт новую страницу истории. И Николай — подписал. Сколько было дружеской радости, обнимались. Теперь, говорил Вильгельм, надо поддержать договор в глубокой тайне, пожалуйста не говори даже министру иностранных дел, а то — разойдётся. Даже министру иностранных дел? Даже! Но нужно чьи-то подписи для скрепления наших. Ну вот, с тобой морской министр. Пусть подпишет, только не читая. А от меня — адъютант. Простились с Вильгельмом сердечно. Николай вернулся домой под самым лучшим впечатлением этих часов. (Радостно было увидеть детей, но не министров.) Теперь, в тройственном союзе с Германией и Францией ото дня договора с Японией Россия будет снова непобедима.

Но что делалось внутри? Съезды собирались, какие хотели — и соревновались друг со другом дерзостью резолюций. Съезд городов и земств захотел послать депутацию к государю — и уже не во власти государя было отказать: как школьник, он был обязан глаз на глаз выйти к своим врагам, конституционалистам. Стоял против них, рассматривал лица — обыкновенных состоятельных людей, да почти все дворяне, и даже князья — и ждал, чем они выстрелят в него. Однако слова были произнесены почти-

тельные (или снисходительные?), но предрекали бессилие власти, пока не будут собраны избранники народа, как он и обещал. Всё же Николай был тронут их неожиданной сдержанностью и ответил им тепло (да неужели же русские люди не могут между собой сговориться?). Это правда, он обещал, да что-то тянулось, никак не вырабатывался этот Земский Собор или по-современному лучше назвать Государственной Думой, да и разное они вкладывали в неё: государь представлял совещательным собранием умеренных положительных людей, чьи советы помогают не упустить какие-то пути, а мятежные дворяне представляли буйной ассамблеей: перехватить власть от царя — себе в многоголосье.

Через месяц эти же земцы собрали новый съезд и объявили уже не то, с чем приезжали в Петергоф: но что реформ ждать пустое, а революция — уже факт, и надо обращаться не к трону, а к народу. Никем не приглашённые, они одобряли самовольный проект конституции и отвергали государеву совещательную Думу. Многоголовые, они не давали следа, кому же верить: вчерашним или сегодняшним. Вот и обнаружилось, что все их просьбы о народном представительстве были ловушкой, захватить власть. А интеллигентский Союз Союзов — в заседаниях открыто называл нынешнюю государственную власть разбойничьей шайкой. Интеллигенты умели выражаться хуже революционеров.

От государя ждали Думы всенациональной и не сословной, а Николай всё более склонялся: как бы набрать туда почти одних крестьян — неветренных, некипучих, обдумчивых, даже предпочтительнее неграмотных, кто не повторяет газетных задов, не поддаётся проидам, а всю эту горластую наглую городскую публику вообще от участия устранить? О, как бы правда, установить единение и понимание между царём и Русью, между царём и земскими людьми? Ведь было же встарь! Открыв молебном летние совещания с людьми сановными и сведущими, Николай старался сам вникнуть в каждую статью и определить её редакцию. Он понимал, что идёт на шаг небывалый, чего, может быть, не простили бы ему отец, дед и прадед.

Лето было жаркое, со многими эффектными грозами. Из-за докладов и этих совещаний иные дни были заняты необыкновенно: по 5 и по 6 часов. А ещё надо было принимать многих раненых. Отдыхал, играя с офицерами и с Мишей в теннис, катаясь на моторе, на катере. Пили чай под зонтиком, на балконе, в китайском павильоне. Но ничто так не подбадривает, как посещение военной части и долгий приятный обед в полковой офицерской

семье. Или дать тревогу в Конной Гвардии — а самому ехать верхом на военное поле смотреть, как собираются.

В эти же дни пришла горестная весть о кончине мсьё Филиппа.

На Преображение (и в день парада Преображенского полка), через полгода подготовительной работы, опубликовали закон о Думе, и уязвлённая городская рвань и с нею князья из линии Рюриков стали тут же кричать, что это обман. А Вильгельм, всё время торопивший публиковать, теперь поздравлял, но снова торопил: избирать депутатов как можно скорей, пусть условия ожидаемого мира отклонят или одобряют народные представители, тогда на них ляжет и ответственность решения, оппозиция смолкнет, а император освободится от нападков во всех случаях, ни один смертный властитель не может брать на себя такого решения без помощи своего народа.

Все советы Вильгельма всегда были пронзительно-уверенны. Но Николай знал, что истинный народ всегда верит в своего государя — и не спешил уклониться от тяжести одиночных решений. За 11 лет он к ним уже и привык.

Только вот: другая часть народа, но более подвижная, творила в стране что-то невообразимое — и не наказавши поначалу раз, и не удержавши два и три — уже ни в одном случае не было сил управить и остановить. Многие места империи, а особенно Польша, Финляндия и Прибалтийский край, сотрясались забастовками, взрывами, убийствами и грабежами. Бастующие устраивали уличные шествия. В Баку — на две трети были сожжены нефтяные промыслы, и вспыхнула армяно-татарская резня. Такое же побоище произошло и в Тифлисе. Большими массами в Россию, видимо, везлось оружие. Когда садился на мель пароход с двумя тысячами швейцарских винтовок — случай становился известен. Уступая студентам, чтоб им после забастовки легче было начать новый учебный год, объявили автономию университетов, выборность ректоров, неприкосновенность их территории для полиции — но студенты вместо благодарности и успокоения собирали там невозбранные митинги с поджигательными анархическими речами.

Всего этого просто выдержать не могла душа. И Николая давно занимала мысль: как бы от этих всех неприятностей уехать на несколько дней и дать себе отдохнуть? порадоваться и понаслаждаться жизнью немного для себя самого? Заключение мира с Японией сделало эту мечту осуществимой. На милой яхте «Поллярная звезда» со всеми детьми поехали в финские шхеры, стали

на рейде военного отряда. Дети всячески радовались и возились с офицерами и матросами, и сам Николай как молодое дитя был счастлив этой свободой и отдыхом. Надеялся он, что и маленький наследник полюбит море. Совершали прогулки, устраивали гонки шлюпок и парусные, вместе с Аликс посещали суда, кое-где производил тревогу — водяную, боевую, пожарную, остался доволен. Но больше всего забавлялись охотой, устраивали облавы на островах, загонщиками матросы. Убивал тетеревей, зайцев, а то большую лисицу. Вечерами устраивали фейерверки для детей или играли в дутьё, или на инструментах. Устроили обед с мичманами и офицерами, много смеялись. А как спалось! Счастливые две недели. Как будто чувствовалось, что такая беззаботность повторится у них нескоро. В эти дни спешил представиться Витте, воротившийся с переговоров, Николай позвал его сюда в шхеры, пожаловал ему графа, тот был потрясён, три раза старался поцеловать руку. Наверно, ещё бы остались, но падал барометр, задувало, пришлось возвращаться в Петергоф — и снова доклады, снова приёмы. Скучали ужасно по милой яхте.

Надеялся Николай, что теперь, после заключения мира, успокоится всё само. Но не только не успокаивалось, а возжигалось ещё сильнее. На студенческих сходках по 5-7 тысяч, вместе с посторонней толпой, в разрешённых теперь местах и без всяких помех от полиции, горланили по целым неделям — расходились домой, а на утро собирались продолжать, и постановления делали: если отменить забастовку, то как пассивную слабую форму борьбы, а перейти к активной агитации, университеты обращать в политические школы и революционные очаги. «Зачем учиться, когда вся Россия в крови? Да здравствует коммунизм!» Обидно было такое узнать и негде, некому возразить, такого голоса нет у царя, и студенты неведомы, невидимы, да и сокровенно слишком, этого и близким не выскажешь: кровью, пролитой так несчастно 9 января, Николай был как обожжён, и теперь все движения правительства умерял осторожно, чтоб это не повторилось. Но разгул только шёл дальше. Журналистика была совершенно распушенная, и никто не обращался в судебную власть за применением законов к ней. Начиная бастовать одна типография — её молодые наборщики в перемеси с какой-то подозрительной толпой шли выбивать стёкла в остальных типографиях — и останавливались все. Иногда убивали, ранили городского, жандарма. (Только никого не арестовывать, ни даже зачинщиков, не разжигать недовольства!) Пока не бастовала почта — приходили бранные гнусные письма великим князьям. Потом — басто-

вала почта, за ней и телеграф, бастовали почему-то присяжные поверенные, гимназисты, пекари, перекидывалось от заведения к заведению. Даже духовная академия! — и митрополит, являсь их усовестить, не был допущен внутрь студентами со свистом и революционными песнями. Некоторые священники отказывались читать послание митрополита об умиротворении. Москва не вытягивалась из забастовок и уличных столкновений весь сентябрь и на октябрь. Забастовщики требовали иметь на заводах неувольняемых, неарестуемых депутатов, а чтоб сами депутаты могли увольнять администрацию. Собирались самозванные съезды, депутаты выбраны сами собою. (Странно, но местные власти бездействовали.) Распространялись прокламации со многими обещаниями. Собирались уже и уличные сходки, и ораторы требовали не земцев, не думцев, а только — свержения самодержавия и учредительного собрания. Стрелять было не велено, а разгонять. Агентские телеграммы только и сообщали об убийствах городских, казаков, солдат, о волнениях и возмущениях. Но судебные власти не преследовали политических преступников, судебные следователи не обнаруживали виновных, и все они, и прокуроры, симпатизировали им.

А что ж, может и пусть текут эти все беспорядки: Россия сама убедится в их гибельности и сама от них отворачивается?

Самообразовался революционный железнодорожный союз и стал принуждать к забастовке всю массу железнодорожных служащих. Это быстро у них пошло, с 7 по 10 октября забастовали почти все дороги, выходящие из Москвы. У них был план: вызвать всеобщую голодовку и помешать движению войск, если бы правительство хотело подавить. Студенты приказывали закрывать лавки. Пользуясь несообщением, злоумышленники пустили по Москве слух, что государь «отказался и уехал за границу». Тут же Москва осталась без воды, без электричества, и забастовали все аптеки. В Петербурге же Николай отдал все войска гарнизона Трепову, тот предупредил, что всякий беспорядок будет подавлен, и здесь держалось спокойно. Тем временем постановили делать всеобщую по стране забастовку, ужасно. Да может быть в рабочих требованиях и много справедливого, но никто не хотел подождать, когда всё бы решилось постепенно.

И надо же! — в самое такое грозное время двоюродный брат Кирилл, позоря династию, зажелал пожениться на разведённой двоюродной сестре Виктории — и упрямо не хотел подчиниться запрету государя, так что пришлось и этого высылать за границу,

и даже так разгневался Николай, что хотел небывало лишить его звания великого князя.

Однако, что же делать? Затягивалось едва ли не хуже, чем в январе. Прервался всякий телеграф и телефон с Москвой. У министров не было никакой решимости и ясности плана, а все эти тревожные дни только обсуждали, ставить ли пост первого министра (хотел таким Витте стать) и подчинять ли ему остальные министерства? Нервы были натянуты до невозможности, да у всех. Было чувство, как перед жуткой грозой.

В эти ужасные дни попросил отдельной аудиенции Витте — и Николай с надеждой позвал и ждал его. Когда все звенья власти по стране ослабились, не подчинялись или совершали ненужное или вредное — на ком ещё можно было повиснуть надеждой, как не на этом выручателе из несчастной войны, вечно смелом и вечно знающем человеке? Витте стал приезжать в Петергоф с утра, а уезжал чуть не вечером. Один день он полностью всё докладывал Николаю, другой раз вместе с Аликс и представил записку. В этом сложном положении мог помочь только выдающийся ум, вот он и был. Он умел мыслить как-то высоко, выше повседневных задач простого правительства — на уровне всей человеческой истории или самой научной теории. И говорил охотно, долго, воодушевлённо — заслушаться. Он говорил, что в России ныне проявляется поступательное развитие человеческого духа, что всякому общественному организму присуще стремление к свободе — вот оно закономерно и проявляется в движении русского общества к гражданским правам. А чтоб движение это, теперь подошедшее ко взрыву, не вызвало бы анархии — надо, чтобы государство смело и открыто само стало во главе этого движения. Свобода всё равно скоро восторжествует, но страшно, если при помощи революции — социалистические попытки, разрушение семьи и религии, иностранные державы разорвут на части, — но ото всего этого можно легко спастись, если лозунгом правительственной деятельности станет, как и у общества, лозунг полной свободы — и тотчас правительство приобретёт опору и введёт движение в границы. (И Витте брался лично твёрдо такую политику провести.) Совещательная Дума предложена слишком поздно и уже не удовлетворяет общественных идеалов, которые передвинулись в область крайних идей. Не следует опираться и на верность крестьянства, как-то выделять его, а надо удовлетворить передовую общественную мысль и идти ко всеобщему-равному-тайному голосованию как идеалу будущего. И не надо бояться слова «конституция», что значит

разделить законодательную царскую власть с выборными, надо готовиться к этому исходу. Главное — это выбор министров, пользующихся общественным уважением. (А кто же пользовался им больше Витте!) Да, Витте не скрывал: это будет резкий поворот в политике целых веков России. Но в исключительно опасную минуту невозможно дальше цепляться за традиции. Выбора нет: или монарху стать во главе освободительного движения или отдать страну на растерзание стихийности.

Аргументами Николай не мог противостоять этой неумолимой логике, и положение действительно вдруг представилось страшно загубленным (как это случилось? когда?!). Но сердце его сопротивлялось и не хотело так сразу отдать — и свою власть, и традиции веков, и крестьянство. Как будто что-то было немножко не то — а не с кем больше посоветоваться с таким умным.

Ни один из министров в общем в советчики не годился, ни даже покладистый заботливый министр двора Фредерикс. Как-то так оказалось, что в близости трона, да и во всей имперской столице настоящих умных советчиков — не было. И Мамá была в отъезде, в Дании. Но Мамá всегда очень советовала в тяжёлые минуты держаться за Витте.

Был — немудрёный преданный Трепов, но он не умел рассуждать столь широко, высоко и убедительно, а упирался только, что в такой смуте никакой реформы делать нельзя. Надо военной силой подавить беспорядки, тогда реформы не будут выглядеть уступками.

Но с т о г о дня Николаю чересильно стало применить войска против толпы.

После виттевских обольстительных убеждений, не найдя решения и в Аликс, Николай день и ещё день советовался так, кое с кем, и томился, не находя и ниоткуда не видя решения. За эти дни сплошных обсуждений он сильно устал головою. А тут приезжали совсем посторонние посетители, то уральские казаки с икрой, то трогательная депутация, непременно желающая видеть маленького, то иностранцы. Вечерами по привычке играли в ду-тьё или на биллиарде, но утром, даже поздно встав, некуда было деться от проблемы.

А тем временем забастовки на железных дорогах не только дошли до Петербурга, но захватили и дорогу в Петергоф, так что нужные вызываемые люди не могли теперь приехать поездом, но — на колясках или на пароходах. Милые времена. (И погода была сквернейшая: холодные ветер и дождь.)

Тут почудилось, что может быть Витте преувеличивает и можно вообще избежать большого решения, принять простое небольшое. И Николай дал об этом Витте телеграмму: объединить действия всех министров (до сих пор разрозненные, так как каждый из них относился с докладами к государю) — и восстановить порядок на железных дорогах и повсеместно вообще. А начнётся спокойная жизнь — там естественно будет и призвать выборных.

Но это оказалось как бы программа Трепова, и Витте, враг Трепова, принять её не мог. На следующее утро он приплыл в Петергоф и снова представлял, что путь подавления теоретически возможен, хотя вряд ли будет успешен, но не он, Витте, способен его осуществить. К тому же для охраны российских дорог нет достаточно войск, напротив все они находятся за Байкалом и удерживаются дорогами же. Витте теперь привёз свои мысли облечёнными во всеподданнейший доклад, который государю достаточно лишь утвердить и будет избрана новая линия: излечивать Россию широким дарованием свобод, сперва и немедленно — печати, собраний, союзов, а затем постепенно выяснится политическая идея благоразумного большинства и соответственно устроится правовой порядок, хотя и в течение долгих лет, ибо у населения нескоро возникнет гражданский навык.

Беседовали утром и ещё беседовали к вечеру. Было много странного в том, что Витте предлагал, но и никто же не предложил и не у кого было спросить ничего другого. Так что приходилось как будто и согласиться. Только страшно было отдаться сразу в одни руки. А не хотел бы Витте взять к себе министром внутренних дел человека другого направления — Горемыкина? Нет, настаивал Витте, он не должен быть стеснён в самостоятельном выборе сотрудников, и — не надо пугаться — даже из общественных деятелей.

Нет! утвердить такого доклада Николай не мог. И потом: должно же что-то исходить лично от государя, какой-то манифест. Дарственный манифест, который оглашается в церквях прямо к ушам и сердцам народа, жаждущего этих свобод. Для Николая весь смысл уступок только и мог быть в форме такого манифеста. Да, вот что, пусть Витте составит и завтра же привезёт проект.

Ни во что в этот вечер не играли. А с утра примчался дядя Николаша — обходя забастовки, на перекладных прямо из-под Тулы, из своего имения. Вот приезд, вот и кстати! Если уж твёрдую руку назначать, диктатора — так кого же лучше? С тех

пор как Николай был в гусарском полку эскадронным, а Николаша у него полковым — остался для него Николаша большим военным авторитетом. И с приезде, с пыху Николаша даже соглашался. Но тут опять приплыл Витте, полил свои сладкие увещевания — и Николай опять размягчел, растерялся, а Николаша совсем был переубеждён, стал горой за Витте и за свободы и даже говорил, что застрелится, если Ники не подпишет свобод. Дело в том, убедил их Витте, что если энергичный военный человек и подавит сейчас крамолу, то это будет стоить потоков крови, а передышку принесёт лишь временную. По программе же Витте успокоение будет прочным. Только настаивал Витте публиковать его доклад — чтобы не государь брал на себя ответственность (а пожалуй, хотел сам лучше показаться обществу?), да и трудно изложить в манифесте. Впрочем, и манифест у него готовился: на пароходе составляли, сейчас на пристани там сотрудники добатывали. Послали за манифестом.

В нём были замечательные слова: «Благо российского государя неразрывно с благом народным и печаль народная — Его печаль.» Это было так, как Николай истинно понимал и постоянно хотел бы выражать, да не было умелых посредников. Он искренно недоумевал, отчего не утихали злобные смуты, отчего не установится взаимное миролюбие и терпение, при которых жилось бы хорошо всем мирным людям и в деревне, и в городе, и множеству верных чиновников, и множеству симпатичных сановников, гражданских и военных, а также императорскому Двору и императорскому Дому, всем великим князьям и княгиням, — и никому не надо было бы ничем поступаться или менять образ жизни. (Особенно, всегда настаивала Мама́, чтоб никто не касался вопроса о кабинетских и удельных землях, которые эти свиньи хотят отобрать по программам разных партий.)

А ещё в Манифесте были: все свободы, на которых настаивал Витте, и расширение избирателей уже объявленной Думы, и как будущий идеал — всеобщее избирательное право, а также — бессилие впредь каждого закона, не одобренного Государственной Думой.

Да ведь не совсем это получалась и конституция, если шла от царского сердца и его добрым движением была дана?

Все присутствующие оказались согласны — но из осторожности Николай не подписал и тут, оставил у себя, помолиться и подумать.

И посоветоваться с Аликс. И посоветоваться же ещё с кем-нибудь, с Горемыкиным, с Будбергом. Составилось ещё два про-

екта манифеста. Однако Витте предупредил, уезжая, чтобы с ним согласовали каждое изменение, иначе он не берётся осуществлять. В воскресенье ночью послали старого Фредерикса в Петербург к Витте. Тот не принял ни единой поправки, увидел в этом недоверие к себе и уже отказывался от поста первого министра.

А решительно иного выхода — никто за эти дни не предложил: кроме верного Трепова, все во главе с Николашей убедились в необходимости дарования свобод и ограничения царской власти.

Решение было страшное, Николай это сознавал. Такие же муки и недоумение, как с японским миром: хорошо ли это получилось? или плохо? Ведь он изменял пределы царской власти, неущербно полученные от предков. Это было — как государственный переворот против самого себя. Он чувствовал, что как бы теряет корону. Но утешение было, что такова воля Божья, что Россия хотя бы выйдет из невыносимого хаотического состояния, в котором она уже год. Что этим Манифестом государь умиротворяет свою страну, укрепляет умеренных против всяких крайних.

И благоугодно стало ему — даровать свободы.

Пришлось это — на понедельник 17 октября, как раз 17-ю годовщину от железнодорожного крушения, где едва не погибла династия (тоже поминали каждый год). Посетил праздник Сводно-Гвардейского батальона. Отслужили молебен. Потом сидели ждали приезда Витте. Николаша был что-то слишком весёлый. И ещё убеждал, что всё равно все войска в Манчжурии, устанавливать диктатуру нечем. А у Николая голова стала совсем тяжёлой и мысли путались, как в чаду.

Ещё помолясь и перекрестясь — подписал. И сразу — улучшилось состояние духа, как всегда, когда решение уже состоялось и пережито. Да теперь-то, после Манифеста, всё должно было быстро успокоиться.

И следующее утро было солнечное, радостное — хорошее предзнаменование. Уже в этот день Николай ожидал первых волн народного ликования и благодарности. Но к изумлению его всё вышло не так. Те, кто ликовали, те не благодарили императора, но рвали его портреты публично, поносили его оставшуюся власть, ничтожность уступок и требовали вместо Государственной Думы — учредительного собрания. В Петербурге не было кровопролития только благодаря Трепову, он запретил всякие шествия вообще (пресса настаивала уволить его), но в Москве и по всем остальным городам они были — с красными знамёнами, торжеством победы, насмешками над царём, только не благодарностью.

А когда через день в ответ также по всем городам поднялся никем не возглавленный встревоженный верующий народ с иконами, портретами государя, национальными флагами, гимном, то и в них была не благодарность, и не ликование, а — тревога. Тщетно Синод пытался остановить второе движение, что царь могуч и справится сам — два движения, красное и трёхцветное, по всем городам не могли не прийти в столкновение, междуусобицу толп, а напуганных властей как не было при этом. И поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех городах России и Сибири: народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров. Толпа местами так рассвирепела, что поджигала казённые здания, где заперлись революционеры, и убивала всякого выходящего. (В Англии, конечно, писали, что эти беспорядки были организованы полицией.) Теперь, через несколько дней, Николай получал отовсюду много трогательных телеграмм с ясным указанием, что желают сохранения самодержавия. Прорвалось одиночество народной поддержкой — но зачем же не в предыдущие дни, зачем же они раньше молчали, добрые люди, когда и деятельный Николаша и преданный Горемыкин соглашались, что надо уступать? Самодержавие! — считать ли, что его уже нет? Или в высшем смысле оно осталось?

Тут ещё ведь так случилось, что кроме Манифеста и витевского доклада не было выработано ни одного более документа, не успели: враз как бы отменялись все старые законы, но не составил ни один новый закон, ни одно новое правило. Получилась дезорганизация всего управления страной. Но милосердный Бог должен был помочь, Николай чувствовал в себе Его поддержку, и это не давало упасть духом.

Вите обратился за помощью к газетам и через газеты к обществу: дать ему несколько недель передышки, и он организует правительство. Но общество потребовало начать успокоение с отмены усиленной охраны и военного положения, с увольнения Трепова, с отмены смертной казни за грабежи, поджоги и убийства, с увода из столицы войск и казаков (в войсках они видели главную причину беспорядков) и отмены последних сдерживающих законов о печати, так чтобы печать не несла уже ответственности ни за какое вообще высказывание. И Вите в несколько дней растерялся, не находя поддержки: как он ни звал, никто из земцев и либералов не пошёл к нему в правительство *возглавить свободу*. И хотя он сменил половину министров и 34 губернатора, уволил Трепова и многих чинов полиции — но не добился успокоения, а только худшего разора. Странно,

что такой опытный умный человек ошибся в расчётах. Также и новое правительство, как все прежние, боялось действовать и ждало приказаний. Теперь и Николаша очень разочаровался в Витте.

Только теперь, с опозданием, выяснилось, что московская забастовка уже накануне Манифеста переломилась к утишению: заработал снова водопровод, конка, бойни, сдались студенты университета, городская дума уже не требовала республики, Казанская, Ярославская, Нижегородская дороги уже постановили стать на работу — ах, если б это знать в те дни! — уже всё начинало стихать, и никакого Манифеста не надо было — а он поддал керосину в огонь, и опять вся Москва забурилась, и даже генерал-губернатор Дурново снимал шапку при марсельезе и приветствовал красные флаги, на похороны какого-то фельдшера вышло чуть не сто тысяч, произносились речи не верить Манифесту и низвергать царя, из университета раздавали новенькие револьверы (не все пароходы садились на мель, морская граница длинная, её всю не охранишь). А в Петербурге из Технологического института студенты бросили бомбу в семёновцев.

Ах, кто же тогда бы прискакал и сказал, что уже утихает?!.. Или почему, правда, летом не послушал Вильгельма, не поспешил избрать и собрать эту совещательную Думу? — ещё верней бы всё остановили! А теперь — запылало только сильнее. С красными флагами ринулись освобождать тюрьмы. Национальные флаги везде срывали. Прежние забастовщики требовали содержания за дни забастовки — а тем временем объявлялись новые стачки. Печать достигла разнузданной наглости — любые извращения о власти, ложь и грязь, а всякая цензура совсем отпала, и уже открыто появлялись революционные газеты. Сходки в высших учебных заведениях растягивались по неделям. Снова останавливалось движение на железных дорогах, а Сибирь — вся прервалась, восточней Омска — полная анархия, в Иркутске — республика, от Владивостока разгорался бунт запасных, не отправляемых на родину. Возникло возмущение в одном из гренадерских полков в Москве, солдатские волнения в Воронеже и Киеве. Кронштадт два дня был во власти перепившейся матросской толпы (и даже подробности нельзя было узнать, не действовал телефон), а флотский экипаж буйствовал в Петербурге. На московских улицах — ночные грабежи. На юге и востоке России разгуливали вооружённые банды и предводительствовали в уничтожении имений. Городские агитаторы подбивали крестьян грабить помещиков — и некому было сдержать. Крестьянские

беспорядки перебрасывались из одной местности в другую. Революционные партии открыто обсуждали, как вести пропаганду в войсках и поднимать вооружённое восстание. Самозванный совет рабочих депутатов захватывал типографии, требовал денег. Польша была вся в мятежном движении, балтийские губернии и Финляндия — в подлинном восстании (взрывали мосты, захватывали целые уезды), генерал-губернатор сбежал на броненосец (Николай уступил финнам во всём, подписал ещё один манифест). Тут произошёл морской бунт в Севастополе. Опять во флоте! (Удивительно, как этих мерзавцев совсем не заботила честь России и как они своей присяги не помнили!) А тут объявилась всероссийская почтово-телеграфная забастовка, — ещё хуже не стало ни движения, ни сообщения. Иногда из Царского Села разговаривали с Петербургом только по беспроволочному телеграфу. Узнать было невозможно, как за один месяц упала Россия! — вся жизнь её, деятельность, хозяйство, финансы, не говоря уже о внешних отношениях. Ах, если бы власти исполняли свой долг честно и не страшась ничего! Но не было видно людей с гражданским мужеством.

А Витте, так и не возглавивший «естественное движение прогресса», теперь предлагал расстреливать и вешать, только у самого сил не было.

Да, подходило всё равно кровопролитие, только ещё горшее. И больно и страшно подумать, что все убитые и все раненые — это же свои люди. Стыдно за Россию, что она вынуждена переживать такой кризис на глазах всего мира.

Николай мучился, изводился отчаянием — одиноким и запертым, потому что опасался да и не привык отлучаться из Петергофа, из Царского. (Стыдно за нашу родину, до чего довели её в такой короткий срок!) Да скоро все эти дворцы и милая мама Гатчина могли исчезнуть. (Стала выдвигать требования уже и придворная прислуга.) Со смирением надо нести возложенный тяжёлый крест. Может быть вот крестьянство войдёт в Думу — и потребует возврата самодержавия? Пошли Бог силы трудиться и спокойствия духа. В эти дни познакомился с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии, подлинным простым народным человеком. Помиловал Стесселя (против него, бедного, затеяли следствие и суд за сдачу Порт-Артура).

В эти горькие дни чего более всего не хватало душевно — это общения с гвардией, глотнуть их военного духа. Унизительная необходимость оберегаться от террористов не давала возможности ездить прямо в расположение частей. Но Николаю пришла

замечательная мысль: приглашать целые полки к себе в Царское Село. Так и сделали! По два раза в неделю стали приходить то семёновцы, то преображенцы, московцы, конная гвардия, лейб-казаки. В первый день полк вступал в Царское, располагался в казармах, а все офицеры обедали у императорской четы — долго разговаривали, как приятно было их видеть, освежалась душа! А на другой день на площадке перед большим дворцом или в экзерциргаузе, по погоде, полки представлялись парадом и всегда великолепно, блестяще. Кавалергардов пропустил три раза — шагом, рысью и галопом, замечательно хорошо! А мимо строя финляндцев пронёс маленького Алексея, их шефа, он привлёк всеобщее внимание. После каждого парада — обед у офицеров и засиживался до ужина и далеко после него. И полкам — какая бодрость, и с плеч Николая как бы слагалось государственное бремя, и вести Россию уже не казалось так тяжело. Это хорошо понял Вильгельм, отозвался: да, самый лучший способ облегчить заботы и огорчения — это заниматься своей прекрасной гвардией, делая ей смотры.

Однако, с Вильгельмом эта осень тоже выдалась очень тяжёлой. Николай не удержался и открылся министру иностранных дел насчёт договора в Бьёрке, тот пришёл в ужас: да показать Франции такой готовый договор — значит, против к о г о же он заключён? Это — коварный приём Вильгельма, чтобы расстроить нашу дружбу с Францией, самой Германии выйти из изоляции, а Россию привязать к ней! Тут неблагоприятное противоречие с русско-французским договором: у Франции единственная цель — реванш от Германии, для чего же бы и для кого она вступила в т а к о й договор?!

Николай так не думал, он этого не видел прежде, теперь усумнился. С одной стороны и Франция не была нам верная союзница, покинула нас в войне, а теперь вот не давала нового займа. А с другой стороны и Германия в торговом договоре использовала нашу связанность войной, пришлось пожертвовать русским зерном. Действительно, нет у России верных друзей. И теперь — неужели такое лукавство со стороны лучшего друга Вильгельма? Никак не ожидал Николай. Всё же, полагал он: если *ловко* взяться за дело — может быть, ещё можно от договора в Бьёрке освободиться? Стали пытаться.

Написал Николай Вильгельму так: наше соглашение — в высшей степени ценное, но пока Франция не присоединится, а большие встретились трудности, никак нельзя пускать его в ход. Иначе можно толкнуть Францию в объятия противника.

Вильгельм не уловился, но ответил очень строгой телеграммой: все обязательства России по отношению к Франции могли бы иметь значение лишь постольку, поскольку она заслуживала бы их. Но во время японской войны она оставила Россию, тогда как Германия поддерживала всячески. Это налагает на Россию нравственные обязательства. Мы подали друг другу руки и дали свои подписи п е р е д Б о г о м, который слышал наши обеты. Что подписано — то подписано, договор должен исполняться нами как есть. И невероятно, чтобы Франция отказалась подписать.

Какое-то защемлённое положение, не хватало головы сообразить, как высочить. Тогда придумали с министром так: в Бьёрке Николай не имел при себе документов, подписанных его отцом с Францией, — а те исключают всё, что могло бы привести к столкновению с ней. Вот почему договор в Бьёрке условен, и пока не может войти в силу.

Но Вильгельм резко настаивал, что договор подписан, и надо выполнять. И что Александр III, хотя и подписывал там что-то с Францией, но лично Вильгельму высказывал отвращение к французскому республиканскому строю.

И это конечно была правда. И такое же отвращение испытывал к нему Николай. И такое же отвращение испытывал французский республиканский строй к монархической России. Но вот: зачем-то же подписал отец, и не сын его имел право разрушить. А зачем перед тем Германия не продолжила дружеского договора с Россией?.. Всё это запутывалось узлами неведомыми, постичь и исправить их было нельзя. А зачем Вильгельм поступил так коварно в Бьёрке и так настаивал теперь?

Вот это властное насилие особенно оскорбляло Николая и порождало желание вырваться из объятий. Он же не ребёнок был!

Увы, таких сердечных отношений, как до Пятого года и в Пятом, — уже не было у них никогда. Слова о дружбе повторялись, но уже без прежнего значения.

Послеяпонская слабость России заставила искать соглашения с Англией, уладить, чтоб не беспокоиться о среднеазиатских границах. Приезжал дядя Эдуард на свидание в Ревель. Никак это единственное свидание не могло перевесить дюжины таких свиданий с Вилли — но вдруг стало как бы перевешивать. Вот уж никогда не задумывал Николай вступить в союз или в дружбу

с Англией — но в глазах Вилли и всего мира стало так получаться: Россия как будто вползала в ненужный для неё союз с Англией.

И всё это сказалось через год, в 1908, когда Австрия захватила Боснию и Герцеговину (да ещё так лукаво выбрала время, Николай плавал на любимой яхте, долго не имел связи и ничего не знал). Все в Европе вели себя так, что с Россией не надо более считаться как с величиной. (И доклады военного министра о состоянии армии убеждали Николая, что следует терпеть и терпеть.) Теперь Николай слал Вильгельму его прежние слова: о тесном единении России и Германии как оплота монархических учреждений, что он всю жизнь будет стремиться укреплять эти узы — а Вильгельм, уже не личным письмом и не через личного адъютанта, но грубым правительственным приёмом заставил Россию не просто смолчать, а унижительно поклониться Австрии за её захват Боснии. Всё русское общество, от правых до кадетов, всегда нервно-единое по славянскому вопросу, негодовало, еще по-новому презирало своё правительство — но и сам император не находил выхода из унижения. Дал себе слово Николай не забыть этого (не забыть — скорее Австрии, чем Германии).

И — ещё же продолжались их встречи. Ездил в Потсдам. Ездил на столетие освобождения Германии с русской помощью. И повторяли оба о честном сотрудничестве, о преданной дружбе, о братстве по оружию, возникшем так давно, — да никогда не имел и цели Николай вооружаться против Германии или воевать с нею!

Жила Россия свои лучшие годы отдыха, расцвета, благосостояния. Жила — укреплялась. Но вдруг, как в замороженном каком-то колесе, стала история повторяться, как она обычно никогда не повторяется — как ещё раз бы насмешливо просила всех актёров переиграть, попытаться лучше, — через 6 лет снова так же нависала Австрия над Сербией, только ещё несправедливее, — и снова держал в руках Николай телеграмму Вильгельма...

И Ю Л Ь 1 9 1 4

...о сердечной и нежной дружбе, связывающей их столько лет.

В телеграмме было и отчуждение этих последних годов, но и — ясными буквами проставлена сердечная нежная дружба!

Вильгельм был застигнут событиями в норвежских фьордах, он ещё шёл по морю домой — а вот с пути телеграфировал Николаю, как мог делать только друг, а не посторонний государственный деятель. Какое счастье, что они установили эти отношения — прямые, честные, тесные и мгновенные. Насколько было бы медлительней, запутанней, а в тревожные часы и беспокойней сноситься через двух министров, двух послов: никто не отзывчив как струна, и в той же лысоватой подвижной голове Сазонова — своё сопротивление, свои возражения и побочные соображения, на всём теряется и время, и точность слов и прямота линии, ничто не может заменить прямой межимператорской связи.

И в том, что Вильгельм застигнут во фьордах, тоже было свидетельство, что нет тайного замысла с Австрией. Теперь ещё более убедился Николай, что Вильгельм, правда, и о захвате Боснии не знал в своё время. Это всё исподлобная австрийская манера, как и сейчас: послать ультиматум Сербии так, чтоб ещё не узналось, пока Пуанкаре давал на броненосце прощальный ужин Николаю.

С пятницы Николай разрешил уже принять некоторые подготовительные меры: возвращать войска из лагерей на зимние квартиры, офицеров из отпусков, насторожить крепости, флоты, чтобы не повторился Порт-Артур, — но даже частичной, смежно Австрии, мобилизации ещё не было надобности производить. А теперь, в понедельник 14 июля, с телеграммой Вильгельма Николаю и вовсе успокоился и написал Сазонову: не теряя времени, побудить Сербию обратиться с жалобой в Гаагскую конференцию — исключительно подходящий был случай для суда и разбора. Пусть Австрия представляет аргументы! Убийство эрцгерцога подготовлено в Австрии и австрийским подданным, она пожинала плоды своего боснийского захвата — причём тут бедная Сербия?

А погода была — чудная! Поиграли в теннис. Весь вечер читал.

И такая же чудная — во вторник. С обычным регулярным докладом приехали военный министр Сухомлинов и начальник генерального штаба Янушкевич.

Николай всегда очень уважал старого Сухомлинова, это был блистательно-остроумный военный, он когда-то и лекции читал ему, молодому. И Янушкевич — умница, очень положительный, самообладательный, знающий генерал, ровесник государя. Ничего нового не было у них, так что всё оставалось, как и в субботу: вести подготовительные меры для частичной мобилизации, если

она понадобится — и ничего резче. Да в руках таких опытных невозмутимых генералов всё было покойно. Сухомлинов повторял, что нам никакая война теперь не страшна, выиграем всякую.

В этот день, кроме обязанностей, успел и в теннис поиграть и съездить в Стрельну к тётке Ольге, там у неё пили чай, когда Сазонов сообщил по телефону, что Австрия сегодня днём объявила войну Сербии!

Это — как громом поразило! Позорная война, слабой стране! Не наученная раз, не наученная два по лапам, лезла старая шкодливая кошка на чужое молоко.

Неурочно вечером принял Сазонова в Петергофе. Тот явился воинственный, сверкал тёмными глазами во впадинах и настаивал объявить немедленно частичную мобилизацию. У Николая у самого дрожало нутро, так хотелось проучить Австрию! Невыносимо было бы еще раз снести боснийское унижение, не осмелиться помочь славянам! И всё же нельзя было терять голову, это повлекло бы слишком многое, и еще не поздно было — обращаться в Гаагу. Но Сазонов настаивал, как не смел бы никогда, тряс своей маленькой лысой головой, в пределах приличного даже бегал — и потрясал руками, что вся общественная Россия не может снести такого унижения. Вот это небывалое единство чувств государя с обществом, всегда дружным к славянам, придавало Николаю и решительность. Да и трудно было не уступить этому напорному уговариванию. Нехотя-нехотя дал Николай согласие на частичную мобилизацию — смежных с Австрией округов. Но в уме торопился к другому: телеграфировать Вилли. Только это уже делается без министра.

Его рука дрожала, когда он писал (по-английски), исправлял, перечитывал, потом дал шифровать. Ночью телеграмма пошла в Берлин. Николай писал, что прибегает к помощи Вилли. Что боится вскоре уступить давлению со стороны всей безмерно возмущённой России — и во имя старой дружбы умолял не дать австрийцам зайти слишком далеко, не допустить до бедствия Европейской войны!

Он представлял десятки их встреч, обеды и ужины вдвоём, дружеские обнимки, шутки, подарки, столько раз они были друг другу открыты — слава Богу, это не могло теперь не выручить!

Следующий день, среда 16-го, выдался необычайно беспокойный. Началось с приёма Янушкевича, который уже с утра поверг государя в недоумение и страдание: оказалось, что частная мобилизация, на которую Николай с таким трудом дал согла-

сие вчера, была практически невозможна: в генеральном штабе такой проект, оказывается, никогда не разрабатывался! Тут не было бы границ достаточно рассердиться, но абсолютно невозможно было рассердиться на бархатного Янушкевича — и голосом, и обходительностью, и мягкостью наружности обаятельного человека (и знавшего своё обаяние). Да и был он начальником генерального штаба всего 4 месяца, не с него следовало спрашивать. Но — так ли? Проверить бы надо у генерал-квартирмейстера Данилова, он всё знает! Проверено, Данилов прибыл из отпуска: такого проекта в генеральном штабе никогда не существовало. Как странно, такая естественная мысль — частичная мобилизация против Австрии — и никому никогда не пришла в голову? Но Сухомлинов? Он-то уже 5 лет военным министром?! Янушкевич застенялся, стушевался, он никак не хотел подвести своего благодетеля Сухомлинова. И Сазонов, значит, когда вчера выпрашивал частичную мобилизацию — ну да, тем более не знал. И на совете министров они никогда этого не обсудили, странно.

А может быть, это и к лучшему? Даже освобождались плечи Николая: значит, можно и никакой мобилизации пока не объявлять. Обождать? (Да вероятно же всё хорошо обойдётся: друг Вильгельм не оставит, всё уладим переговорами. Наконец, есть и запасный козырь: Англия до сих пор никак себя не проявила, и Германия считает, что та останется нейтральной. Но надо будет попросить Англию, та вовремя твёрдо заявит — и все опасности останутся.) Так хорошо, тогда не объявляем никакой.

О, нет, о нет! — страдал чувствительный Янушкевич не менее своего государя. Во-первых, уже трое суток, как ему поручено и он уже составляет план такой частичной мобилизации. Гм-м... Достаточно понимал Николай военное дело, что план мобилизации и в три месяца нельзя вполне составить и распространить. А во-вторых, во-вторых... Переход от частичной затем ко всеобщей может вызвать большую путаницу, сорвётся весь график назначенных воинских поездов и маршруты мобилизованных команд... Бархатный голос и бархатные глаза Янушкевича выстилались уговаривающим ковром... Нам удобно в случае тревоги сразу объявить всеобщую... нам удобней было бы сразу готовить и всеобщую...

И такой указ — о всеобщей мобилизации — вот, у него уже был приготовлен, привезен, ждал подписи государя.

Николая даже отшатнуло. На всеобщую он не был согласен ни за что! (В Европе это будет воспринято грандиозно, грозно.)

Да какая необходимость? Он и на частичную-то вчера так неохотно согласился.

Но ведь невозможно совсем не готовиться ни к какой. Само собой будет разрабатываться частичная, конечно. А само собой пусть наготове лежит и всеобщая... Упали мягкие веки Янушкевича от ужаса, что можно упустить... Да ведь подпись государя это ж ещё не мобилизация, это только начало пути: ещё нужно получить подписи трёх министров, ещё нужно передать в Сенат для опубликования... Это — только заблаговременная мера.

Ну, если заблаговременная, правда... Ещё же министры, а они не подпишут сами... так настойчиво, так уговорчиво Янушкевич просил! В самом деле, раз частичной нет, а совсем никакой нельзя же не готовить.

— Но только, вы же не подведёте, голубчик? Вы же будете советоваться с Сазоновым?.. сноситься со мной?

О, никакого сомнения!

Подписал.

(А заодно ещё — подписал, не читая, уже и так беседа затянулась, положение о полевом управлении войск.)

Но этим утренним разговором не кончились, а только начались волнения беспокойнейшего дня. Всё было достигаемо через телефон: по чрезвычайности обстоятельств подчинённые смели теперь вызывать государя к телефону, и целый день то один, то другой, то третий, — ощущение приколотости звенящей булавкой, вот сейчас позовут — и для каждого разговора надо идти в комнату камердинера. И самому Николаю для скорости приходилось вызывать их таким же путём. А что может быть неприятней, неестественней важного разговора — да по телефону, когда не видишь собеседника и нет простора оглядеться, пройтись по комнате, подумать, помолчать?

Николай оставался приколотый в Петергофе, лишь произвёл гардемарины в мичманы да поиграл в теннис, чудная опять была погода, — а в Петербурге, Вене, Белграде, Берлине и всех других столицах происходили события, и все друг другу писали и телеграфировали. (А бедный Пуанкаре после гошенья у Николая ещё и до Парижа не успел доехать.)

Утром же к Сазонову явился германский посол с обнадеживающей вестью, что Германия будет всячески склонять венский кабинет к уступкам (этого Николай и ждал!), но просит не создавать препятствий преждевременной мобилизацией (этого Николай и не собирался!). Сазонов отвечал, что частичная мобилизация

предстоит, но ещё не приступили к ней (и правда). Но наши военные меры никак не направлены против Германии и даже не предпрещают наступления против Австрии. И Совет министров, собравшись в полдень, постановил: к частичной не приступать.

Пришло и другое: что Австрия отказалась от всякого обмена мнениями с Россией — непосредственно или через конференции.

Вот, что значит — уступили тогда, в 1908. Австрия рассчитывает — мы опять побоимся заступиться.

А не заступимся сейчас, они, взявши Сербию, ещё следующий наглый шаг потом сделают.

Тут германский посол попросил у Сазонова второго приёма и прочёл телеграмму канцлера: если Россия будет продолжать свои военные приготовления, х о т я б ы и н е п р и с т у п а я к м о б и л и з а ц и и , Германия сочтёт себя вынужденной мобилизоваться — и тогда с её стороны п о с л е д у е т н е м е д л е н н о е н а п а д е н и е !

День был ясный — а на душе темно. В Петергофе — мирный простор, а деться некуда. С нами разговаривали как с Сербией, не как с великой державой. Даже простых предупредительных мер не разрешали.

Душило унижение! Одна надежда оставалась: Сазонов просил Англию выступить наконец и объявить свою позицию!

И тут принеслась спасительная телеграмма от Вильгельма — ну, конечно же, Вилли не изменился и не изменил! Он обещал свою помощь, всё сгладить — и только убедительно просил не доводить до войны.

Николай был снова окрылён. Их дружба всё спасёт! Он кинулся звонить, чтобы Сазонов с Сухомлиновым и Янушкевичем не принимали никаких бесповоротных мер.

Он составлял теперь ответ Вильгельму. Их телеграммы так зачастили, что опережали одна другую, разминались и не были ответами.

Как согласить, спрашивал теперь Николай, твою примирительную дружественную телеграмму и совершенно другого тона заявление посла? Выясни это разногласие! Давай передадим весь австро-сербский вопрос в Гаагскую конференцию! Избежим кровопролития! Я доверяюсь твоей мудрости и дружбе!

А тут пришло известие, что австрийцы уже бомбардировали Белград.

Вот почему они были так несговорчивы. Вот для чего выигрывали часы!

Тем временем Сазонов и Сухомлинов совещались в генеральном штабе у Янушкевича о частичной мобилизации, как было это им разрешено. И по телефону доложили государю, что невозможно рисковать сорвать всеобщую мобилизацию проведением частичной. Только спутается всё. Они просили санкционировать всеобщую.

И решение надо было принимать в глупой прикованности, держа трубку у уха — все мысли угнетены, не соберёшься. Уже бомбардируют мирных жителей Белграда. Что-то надо делать. А к частичной — мы оказались позорно не готовы. (Деликатность мешала сказать им в трубку: вы же сами во всём виноваты!..) Н-ну, что ж... Н-ну, может быть... пока предварительные шаги, ещё не утверждается окончательно... Н-ну, хорошо.

Тем и тяжело решение, что принимается не под явными бомбами, не верхом на честном коне перед строем войск, — а в какую-то трубку с мелкими дырочками, в пустоту и немоту. Но от трудного слова с сопротивительным придыханием вдруг начинают двигаться и обращаться миллионы.

Печальные одинокие вечерние часы — уже никто не приезжает с докладами, уже никаких внешних обязанностей, от обеда к чаю, своя семья, душка Аликс — а где-то в неизвестности совершается непоправимое — и как же с этим лечь спать?

И вдруг — облегчающая телеграмма, опять от дорогого Вилли! опять вразмин, ответ на предыдущую. Ну, конечно же! — он разделяет желание сохранить мир! Конечно, Россия может остаться только зрителем и не вовлекать Европу в самую ужасную войну, какую ей приходилось когда-либо видеть. Непосредственное соглашение Петербурга и Вены и возможно и желательно, и Вильгельм прилагает все усилия для того. Но, конечно, военные приготовления со стороны России помешали бы его посредничеству и ускорили бы катастрофу.

О, спасибо! Счастливое освобождение, всё ещё можно спасти! А может быть наши уже всё пустили в ход? Нет, их задержат подписи министров, сенат.

В десять вечера Николай в который раз спустился в комнату камердинера и велел соединить себя с военным министерством и с генеральным штабом. И металлическая трубка голосом сильным, не похожим на изумительный бархат Янушкевича и даже в манере уже не такой предупредительной, стала упрямо возражать, что мобилизация — это не коляска, которую можно по желанию то останавливать, то двигать вперёд, что начальник

штаба не может взять на себя ответственность за подобную меру...

— Тогда я беру на себя! — воскликнул Николай.

...что уже, может быть, и ничего остановить нельзя, посланы мобилизационные телеграммы в военные округа...

— Но как это возможно? Когда это могло произойти? А подписи министров?

Не мог же он их собрать за эти полтора часа?!.. Трубка нехотя и с перхотой выдавала, что подписи всех министров уже собраны в течение дня как предупредительная мера. Что уже и Париж и Лондон оповещены Сазоновым о начале нашей всеобщей мобилизации. Что в данный момент, вот сейчас, уже посылаются телеграммы в округа... И отступить уже никак невозможно!

Остановить! Остановить! Слава Богу, он был не какой-нибудь выборный связанный президент, но монарх в своём отечестве! Остановить! Только частичная — и дальнейших объяснений не хотел слышать государь.

И как сразу опять полегчало!

Стояла тихая тёплая звёздная ночь. Так тихо было на море, что не доносился плеск.

Но прежде чем заснуть успокоенно, предстоял ещё приятный долг ответить Вильгельму. Благодарить его сердечно за скорые его ответы. Военные приготовления — не помеха, они уже 5 дней как приняты, просто для защиты. От всего сердца надежда на посредничество Вилли. Да что телеграммы! — завтра же с подробным письмом поедет к Вильгельму генерал-адъютант.

Сейчас же вызвать и генерал-адъютанта, поговорить.

Зашифрованная телеграмма пошла уже в час ночи. Тяжёлый день государя кончился. (И только на завтра предстояло ему узнать, что в этот самый час ночи германский посол телефоном будил Сазонова и просил немедленно его принять.)

Слава Богу, утро четверга начиналось поспокойнее: не было тревожных телефонных сообщений. Лишь морской министр просил разрешения ставить минные заграждения в Балтийском море — и Николай не разрешил: на такое действие будет особое его повеление.

Если уж доверять — так доверять, надо рискнуть.

Да некстати звонил, добивался срочного приёма министр земледелия Кривошеин, просто смех, как некстати. (Только потом узналось, что его побуждал Сазонов — умолять о всеобщей мобилизации.) Было отказано, чересчур занят.

Николай и правда был занят, но не той чередой малозначительных приёмов, которые шли по прежней записи, само собою. А — надо было до середины дня написать ответственное письмо Вильгельму, письмо, которое сегодня же пойдёт с генерал-адъютантом и поможет окончательно расчистить горизонт между ними.

Но ещё не сел он за письмо, как снова его позвали к телефону. Это звонили из генерального штаба Сухомлинов и Янушкевич: недовольные вчерашней отменой, они снова просили разрешить им приступить ко всеобщей мобилизации. Николай рассердился — такой назойливости он не помнил ни от кого из подчинённых никогда. Заботила ли их немецкая угроза — или просто они покрывали свою неготовность к частичной мобилизации? Решительным тоном отверг домогания их и просто прекратил разговор.

Прекратил — но ещё какой-то миг почему-то не положил трубки. И Янушкевич успел вставить, что с ним рядом в комнате Сазонов и просит взять трубку.

Счастливое это качество, у кого оно есть — отрубать так отрубать, до конца и сразу. А Николай, когда и сердился — отрубить не мог. Помолчал. Ну, пусть возьмёт.

Сазонов проворно выговорил в трубку, что просит принять его сегодня для неотложного доклада о политическом положении.

В такие дни не принять министра иностранных дел — невозможно, тогда зачем его и держать? Но чтобы стеснить его и чтобы всё одно к одному вместе и кончалось, назначил ему тот же час, когда должен был явиться за письмом свой генерал-адъютант.

И — сел беседовать с Вилли. Во всеобщем колыхании опасений и угроз — только и была надёжна одна струна между их сердцами. Не стеснён телеграфным языком и шифровкой, Николай писал теперь. Конечно, убийство эрцгерцога — ужасное преступление. (Чем эти террористы были лучше тех, кто убили дядю Сергея, Столыпина, ещё десятки генералов и сотни правительственных лиц в России?) Но где доказательства, что к тому причастно сербское правительство? А сколько бывает ошибок в судебных следствиях? Почему Австрия не откроет результатов следствия всей Европе — а вместо этого предъявляет короткий ультиматум и войну? Сербия и так уже пошла на невозможные для независимого государства уступки, но Австрия добивается карательной экспедиции, как в колонию. Успокоить воинственное настроение в России будет очень трудной задачей. И Николай обращается к Вильгельму...

Вчера вечером при получении телеграммы от Вилли и сегодня при пробуждении нынешнее письмо представлялось Николаю каким-то особо-убедительным изливом души. Но — вот за разными ничтожными приёмами, телефонами, завтраком — утеряна замысленная свежесть, и уже нейдут лучшие слова. И вряд ли это письмо, дойдя до Вильгельма через два дня, решительно исправит ход европейских событий.

А между тем уже и приехал за ним генерал-адъютант. Вместе с Сазоновым.

Так и принял их вместе, как собирался. Недовольно смотрел на пожилого Сазонова с утомлённым, несколько кавказским лицом, мрачно-глубокими впадинами глаз. А тот, пренебрегая этикетом и может быть производимым впечатлением, стал говорить возбуждённо, непрерывно, долго. И иногда, правда, высказывал страшные фразы. Что наступил трагический час, который предрешит участь России и участь династии. Что война, давно созревавшая, стала теперь неизбежной. Что она вполне решена и даже уже начата Веной, а в Берлине не хотят произнести слова вразумления — а требуют снова капитуляции, снова от нас, срамом покрыть имя России — чего уже и Россия не простит потом своему государю. Совершенно явно, что Германия решила довести дело до столкновения — и мы обязаны встретить его во всеоружии. Если мы не начнём всеобщей мобилизации тотчас же — она позже станет бесполезной, Россия попадёт в катастрофу, мы проиграем войну раньше, чем вытащим шашки из ножен. Несравненно лучше стать во всеоружии — мы же не начинаем войны! — чем из страха вызвать войну — оказаться застигнутыми врасплох. Да мы произведём мобилизацию как-нибудь тайно, в Европе даже не узнают.

Николай заходил, заходил по комнате как раненый, еле скрывая, что ломает пальцы. Его изводило, тянуло в разные стороны, разрывало. Он должен был вот сейчас, вот сейчас принять величайшее решение! — и ни присутствующие, ни отсутствующие, никто не мог помочь ему советом, а голос Господа не слышен был явно. Сколько было у него министров, генералов, великих князей, статс-секретарей — а решать он всегда обречён был сам, колеблющейся, измученной душой! Не было такого одного — твёрдого, умного, превосходящего человека, который взял бы на себя и ответственность и решение, сказал бы, нет, сразу бы сделал: т а к , а не иначе!

Столыпин! — был такой человек. Вот кого не хватало ему сейчас, сию минуту здесь — Столыпина!..

В чём было острие всей тяжести? Если Германия обманывает нас, то мы — попадаемся, да. (Хотя при наших необъятных границах насколько уж так попадаемся? на какую полосу?) А если Германия искренна — то мы своим шагом вызовем войну, величины которой даже не может охватить разум...

Всё время молчавший генерал-адъютант, видя муки государя, протянул сочувственно:

— Да, трудно...

Как от удара по натянутым нервам, Николай вздрогнул и резко отсек:

— Решать буду я!

Да, — вспомнил он Сазонову, — что же ваша Англия? Что же стоило ей во все эти дни — сделать одно недвусмысленное заявление? И не было бы никакой задачи.

Да! вспомнил и Сазонов, уже он ехал сюда, в последнюю минуту ему подали свежее сведение: несколько часов назад германский флот вышел из Киля и на всех парах идёт в Балтийское море для внезапного нападения!

Как?? А он — не разрешил минировать.

И — как лопнули последние перенатянутые нервы! Урок Порт-Артура невозможно было забыть:

— Хорошо. Я согласен.

И наступило облегчение.

Как всегда, когда уступишь.

Когда освободишься от решения.

Сазонов попросил дозволения сейчас же, по телефону из Петергофа, сообщить Янушкевичу, что всеобщая мобилизация начинается сегодня с полночи.

Хорошо.

А день был — такой тёплый. Море отсвечивало так ласково — неужели в другом месте его уже бороздила германская эскадра, крадась на новый Порт-Артур?

Да так ли? Сведения могут быть и фальшивы.

Пошёл — и выкупался. С наслаждением.

Но облегчение от уступки и облегчение от купания как-то очень быстро соскользнули. А на душу и на голову — опять давило.

То ли предчувствием? В 6 часов принесли телеграмму от Вильгельма.

Уже не было ласковости в ней. Никакого противоречия с демаршем посла; твоя мобилизация вызовет опасные серьёзные последствия. Ведь у Австрии до сих пор нет всеобщей мобилиза-

ции. Принятие решения ложится теперь всей своей тяжестью исключительно на тебя, и ты несёшь ответственность за войну или за мир.

О, Боже, как затеснило, защемило! О, Боже, как страшно! О, помоги мне снести нечеловеческое это бремя!..

И первое движение было — позвонить Янушкевичу и отметить.

Но — стыдно было перед своими же подчинёнными.

Николай живо представлял Вильгельма — его горящие глаза, его живую страстную манеру разговора — и пытался вообразить его окончательным врагом, и не мог: он никогда за 20 лет не выступал врагом, это какое-то жуткое недоразумение, какая-то роковая недоговоренность, как 8 января 1905 года: задержать толпу, но не сказано было, к а к задержать.

И — неловко было звонить отмену. (Он не знал, что телефон Янушкевича отныне сутки будет сломан.)

А с другой стороны — уже так много и так позорно уступали Австрии — когда-то же надо проявить в поступках разнообразие, проявить и твёрдость! Теперь-то и можно разговаривать твёрже, — когда бес революции навсегда из России исторгнут!

И как это Сазонов обещал произвести мобилизацию тайно? С утра 18-го на всех улицах Петербурга висели объявления на красной почему-то бумаге — или уже залитые будущей кровью? или красный флаг прокрался в императорский стан? Все иностранцы заметили, а красный цвет особенно почему-то действовал. И германский посол, затем австрийский бросились к Сазонову — телефонными звонками вослед эти визиты отдавались государю. Германского заверял Сазонов, что со стороны России не будет сделано ничего непоправимого. А тот принёс записку, что Германия делает какие-то шаги, что Австрия не будет посягать на неприкосновенность Сербии, но Россия должна признать локализацию конфликта.

Локализацию? — значит, дать душить в одиночку?

Но ещё всё могло уладиться с Божьей помощью? О, если бы! О, Господи! Жалость какая — почему не объявил частичную? Не подготовили частичную, неверные слуги. О, если бы обошлось!

Посол австрийский сообщил о согласии вступить в прямое с Россией обсуждение ультиматума.

И надо было начать обсуждение! А Сазонов почему-то — не вставивши помощникам своей головы, не вмешавшись вовремя

сам! — отправил Австрию на переговоры в Лондон. И пусть прекратит военные действия. (Это — правильно, она же одна воевала тем временем.)

А день стоял — гнетуще серый, и такое же угнетённое похоронное было настроение. Томила тоска: зачем согласился на всеобщую?? Но всё-таки, история же знает и демобилизации, не каждая мобилизация переходит в войну.

В одиннадцать все министры съехались на совещание в Петергоф. Обсуждали вопрос Верховного Главнокомандования. Кому же, как не самому государю, всю жизнь между штатскими только пленнику, всё счастье и воздух — в смотрах, парадах, манёврах, разговорах с офицерами? Нет! Все министры дружно возражали: нельзя, чтобы тень военных неудач могла пасть на императора.

И как будто всё заключалось в его собственном решении — а вот, не мог он противостоять соединению министров.

Тут — Сазонова позвал к телефону германский посол. Надежда!

И тут же, на заседании, стал Николай набрасывать просветившуюся ему новую телеграмму Вильгельму — как ещё можно объяснить и исправить. Благодарность за посредничество! Оно начинает подавать надежды на мирный исход! Остановить наши военные приготовления невозможно по *техническим* условиям. Но мы далеки от того, чтобы желать войны! Мои войска не предпримут никаких вызывающих действий, даю тебе в этом моё слово! Верю в Божье милосердие. Преданный тебе...

И отправил зашифровывать.

И принял графа Пурталеса, германского посла. Вот если б тут сейчас между ними зависела война или мир — был бы решён мир. Пурталес был едва не сокрушён грозным ходом событий. Он умолял государя — остановить мобилизацию и дать простор посредничеству императора Вильгельма.

Но, граф, вы военный человек. Кто и как может остановить разогнанную мобилизационную машину?

Только ещё тоскливей и безысходней стало от этой встречи. Как ждал ответа от Вильгельма!

Погулял с дочерьми. Усилием сел заниматься над бумагами.

И вдруг — принесли телеграмму Вильгельма. Но — опять разминувшуюся. Они — перестали успевать. Они — перестали друг друга слышать, как слышали 20 лет...

Писал Вильгельм, что из-за русской мобилизации его посредничество становится призрачным. Что дружба его к Николаю и

к России, завещанная дедом на смертном одре, всегда была для него священна, но теперь вся вина за бедствия цивилизованного мира падёт не на него. Однако от Николая будто бы ещё зависит всё предотвратить — если Россия остановит военные приготовления.

Но Николай не видел — к а к .

Разверзалась несдержимая, никем не управляемая бездна — и разносила их на разных обрывах.

Долго, в одиночестве, с головой, опущенной над телеграммой, он сидел и плакал над концом их дружбы.

Он уже не мог различить, кто и сколько сделал для её конца.

А вечером получил донесение от нашего посла в Берлине, что через час после отсылки этой телеграммы Вильгельм торжественно въехал в столицу и произнёс с балкона, что его вынуждают вести войну. И уже раздавались на улицах листки с германским ультиматумом России, которого так и не дождавшись в этот день, Николай лёг спать.

Пурталес принёс ультиматум Сазонову в полночь — и сроком всего в 12 часов и с требованием остановить военные приготовления России.

Вечером же пришли сведения о всеобщей мобилизации в Австрии.

Утром 19-го проснулся Николай в тревоге, не началась ли война. Нет, не началась.

А, значит, сохранялась надежда?

Была годовщина открытия мощей преподобного Серафима, день кончины его.

Текли обычные рутинные доклады, давно назначенные, как будто ничего большого нигде не совершалось — и не было сил хоть их-то прервать, освободить голову.

Предложил Сухомлинову стать Верховным главнокомандующим. Неожиданно он отказался. Но очень советовал Янушкевича на штаб Верховного.

Тогда — объявил назначение Николаше. Тот с гордостью принял.

А Николай отдавал главнокомандование с ослезёнными глазами. Но это он — временно назначал, он, конечно, потом поедет в армию сам.

Истек срок германского ультиматума. И текли дальше часы. И ничего не случилось.

Надо было ещё попытаться, ещё!

И снова он писал телеграмму Вилли. Понимаю, что ты должен мобилизовать свои войска. Но обещай и ты мне, что это не означает войны, что мы будем продолжать переговоры. Наша долго испытанная дружба должна же с Божьей помощью предотвратить кровопролитие! Жду твоего ответа с нетерпением и надеждой.

Надо — молиться! Милостив Бог, минует.

Поехали с Аликс в Дивеевскую обитель.

Погуляли с детьми.

А там дальше — и всенощная, сегодня ведь суббота. Поехали ко всенощной, ещё молиться.

Воротился умиротворённый.

И тут настиг телефонный звонок Сазонова: Германия объявила нам войну! — приходил граф Пурталес.

Это было так. Старик приехал, глубоко волнуясь, и спросил, может ли императорское правительство дать благоприятный ответ на ультиматум. Сазонов ответил, что общая мобилизация не может быть отменена. Граф Пурталес, всё более волнуясь, вынул из кармана сложенную бумагу и, как не слышавши ответа, повторил всё тот же вопрос. Удивлённый Сазонов повторил ответ. И снова, как в безумии, дрожа бумагою в руке, Пурталес в третий раз задал неизменно всё тот же вопрос. А после третьего ответа Сазонова, задыхаясь, протянул ноту с объявлением войны, отошёл к окну и взявшись за голову, заплакал: «Никогда бы я не поверил, что покину Петербург при таких обстоятельствах.» Обнял министра и, не способный о чём-либо думать, просил за него распорядиться, как быть посольству.

Слёзы стояли у Николая на глазах. Это шло — как разрушение семьи.

Но надо было жить. Обедали. Потом с английским послом составляли телеграмму английскому королю.

Это был — как переход в другую семью.

Лёг спать — больной.

А в воскресенье проснулся с оздоравливающим чувством. Путь жизни был выбран, и надо было жить им, не поддаваясь унынию. Уныние — тяжёлый грех.

И день был опять солнечный. Дух всё поднимался и очищался.

С двумя дочерьми поехал к обедне. Там — ещё успокоился, ещё утвердился.

Завтракали — одни, никого не было.

Весь мир вокруг Петергофа был безгранично тих.

Ещё со вчерашнего дня у всех одновременно возникла мысль, что надо появиться перед народом. Народ, как сирота, потянется к безлюдному Зимнему, — и никто не выйдет?

Днём по сверкающему морю поехали на яхте в Петербург — и катером подошли прямо к набережной у Зимнего. В Николаевской зале прочтён был манифест, отслужен молебен. Вся зала пела «Спаси, Господи, люди твоя» и «Многая лета». Потом кинулись многие дамы целовать руки Николаю и Аликс.

А тогда — вышли на балкон Дворцовой площади.

И что поднялось! Какие клики! Сколько видно было пространства, замкнутого дугою Главного Штаба — всё было море голов и царских портретов, и знамён, и хоругвей.

И Николай кланялся, кланялся на все стороны. А те пели — и становились на колени перед Дворцом.

Вот, он стоял перед своим народом, над своим народом — благословляюще, открыто и царственно — так, как мечтал всегда, — отчего же вышел только впервые с коронации?

(В мыслях тут же настиг его опять Вильгельм, и не враждебно. Ведь вот, сбылось его давнишнее предсказание: ты — выйди на балкон, и народ на площади падёт на колени перед своим царём).

Отчего он не выходил так и часто? Пели церковно, молились, кланялись — и по сверкающей глади воспоминаний лишь слегка проморщились неприятные годы — лет пять их было, или десять или пятнадцать? — со своими огорчениями, страхами — всё мимолётными, как видно теперь. Двадцати лет его царствования как не бывало, он ещё не совершал ошибок, он никогда не ссорился со своим народом, он сегодня был юно-коронованный царь, только начинающий славное царствие.

World © Alexandre Soljénitzyne, 1978. Tout droit de reproduction, même partielle, interdit en tous pays.

Вышли из печати и поступили в продажу книги :

- ◆ **ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ** Юрий ДОМБРОВСКИЙ
Ю. Домбровский прославился романом «Хранитель древностей». Новая книга продолжает и углубляет первую. Место действия: Алма-Ата. Год: 1937. Герой вовлечен в волну арестов, но, благодаря вере в «ненужные» высшие ценности, отказывается признаться в ложных обвинениях и побеждает следователей. Роман переходит в религиозно-философское размышление над системой террора и доносительства.
480 стр. цена: 75 фр./ \$ 15,60
- ◆ **Я УВОЖУ К ОТВЕРЖЕННЫМ СЕЛЕНИЯМ...** Г. М. АЛЕКСАНДРОВ
Дантовский стих дал название этому лагерному роману, который уводит нас в последние круги ГУЛаговского ада. 80 страниц читаются с захватывающим интересом. Это не воспоминания, а народный эпос, почти что устный рассказ о жизни в ГУЛаге простых русских людей
Т. 1 376 стр. цена: 48 фр./ \$ 10,—
Т. 2 392 стр. цена: 48 фр./ \$ 10,—
оба тома на тонкой бумаге в одной книге цена: 100 фр./ \$ 21,—
- ◆ **ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ (Стихи)** Лидия ЧУКОВСКАЯ
Стихи Л. Чуковской не громкие: это интимный дневник чувств от трудных лет арестов и гибели близких вплоть до недавних отъездов друзей на чужбину.
136 стр. цена: 30 фр./ \$ 7,—
- ◆ **НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ - Библиография**
Полная библиография произведений Н. А. Бердяева на русском языке и в переводах. Составлена Т. Ф. Клепониной. Введение П. Паскаля и биография на французском языке.
160 стр. цена: 80 фр./ \$ 16,70
- № 10 Юрий Самарин и его время (с изд. Париж 1926)** Борис НОЛЬДЕ
Единственная книга о младшем славянофиле, крупном мыслителе и неутомимом общественном деятеле.
248 стр. цена: 36 фр./ \$ 8,—
- № 11 О религии Льва Толстого** (Булгаков, Бердяев, Зеньковский, Эрн и др.)
Сборник статей виднейших русских мыслителей, изданный в 1911 г., едва ли не самое глубокое, что было когда либо написано о Толстом.
260 стр. цена: 42 фр./ \$ 9,—
- № 12 Муза и мода (защита основ музык. искусства)** Николай МЕТНЕР
(с изд. Париж 1935) Умная и тонкая книга известного русского композитора о тайнах искусства, о его происхождении свыше, направленная одновременно против бескрылого реализма и принципиального модернизма.
160 стр. цена: 39 фр./ \$ 8,30
- № 13 Saligia (с изд. Петроград 1919)** Лев КАРСАВИН
«Размышление о добродетелях и о смерти смертельных грехах»
Одна из самых острых и общедоступных книг крупнейшего русского мыслителя, погибшего в ГУЛаге в 1952 году.
80 стр. цена: 21 фр./ \$ 4,50
- № 14 Душа Петербурга (с изд. 1922)** Николай АНЦЫФЕРОВ
Петербург в творчестве русских писателей: Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Блок, Белый.
232 стр. цена: 42 фр./ \$ 9,—
- № 15 Памяти Блока (с изд. 1922)** 112 стр. цена: 24 фр./ \$ 5,—
- № 16 Быт и бытие (с изд. 1924)** Сергей ВОЛКОНСКИЙ
Из прошлого, настоящего и вечного. Книга посвящается М. Цветаевой.
215 стр. цена: 42 фр./ \$ 9,—

Заказы просим посылать по адресу: **LES EDITIONS REUNIS**
11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 - PARIS — France

ПАМЯТИ Е. МИЛЛИОР

Движение духовного и культурного Возрождения в Советском Союзе понесло тяжелую утрату. 12 января 1978 года на 77 году жизни в Ленинграде скончалась Елена Александровна Миллиор.



Елена Александровна родилась в 1900 году. Сформировавшись еще до революции, она с раннего детства восприняла благороднейшие традиции русской культуры. Юность Е. А. провела в Баку, где, поступив в Университет, оказалась среди учеников Вячеслава Ивановича Иванова, занимавшего там тогда кафедру классической филологии.

Эта судьбоносная встреча оказала серьезное воздействие на личность и мировоззрение Е. А., до конца своих дней глубоко чтившей память своего учителя. После отъезда Вячеслава Иванова за границу Е. А. переезжает в Ленинград и, решив специализи-

роваться по истории античности, проходит аспирантуру на кафедре истории древней Греции и древнего Рима исторического факультета Ленинградского Университета под руководством вначале акад. С. А. Жебелёва, а затем проф. С. Я. Лурье. Гонения, которым подвергся последний, не могли не сказаться на судьбе его учеников. Вместо ожидаемого преподавания на той же кафедре блестящая специалистка попадает в город Ижевск (Удм. АССР), где в чрезвычайно неблагоприятных академических условиях начинает тем не менее не только педагогическую карьеру, но и защищает диссертацию, став первоначально доцентом, а потом заведующей кафедрой истории местного Пединститута (ныне — Университета).

Труды Е. А. по истории древней Греции, несмотря на их незначительный объем, выделяются тонкостью научного анализа и актуальностью подхода. В середине шестидесятых годов Е. А. переезжает в Ленинград, где отдаётся творчеству, обретя предмет, достойный её энтузиазма. В течение нескольких лет она пишет ряд эссе, посвященных оригинальному и проникновенному разбору философской проблематики романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Эти статьи быстро приобрели популярность в широких кругах мыслящей интеллигенции и вызвали самую высокую оценку крупнейших специалистов, в их числе покойного М. М. Бахтина. Две из них — к сожалению, в неокончательной редакции — были опубликованы в 119 выпуске «Вестника РХД» под инициалами.

Являясь великолепным исследованием Булгаковского романа, статьи Е. А. представляют собой одновременно ярчайший документ эпохи, посвященный самым животрепещущим проблемам истории, психологии и культуры.

Будем надеяться, что книга Е. А. «Размышления о романе «Мастер и Маргарита» вскоре будет опубликована на Западе.

В последние годы жизни Е. А. работала также над философско-историческим романом из эпохи классической Греции, к несчастью, оставшимся незавершенным. Идея романа лежала в осмыслении конфронтации созидательных и разрушительных исторических сил и колоссальной ответственности тех, кто совершает выбор.

Человек огромных дарований, редкостной эрудиции, смелого творческого ума и душевной молодости, сохраненной ею до последней минуты, мудрый наставник и преданный друг, Елена Алек-

сандровна Миллиор навсегда останется в памяти тех, кто её знал и любил.

Её подвижническая жизнь стала воплощением завета её великого учителя — вопреки всем препятствиям высоко пронести факел гуманизма.

Сохранение и развитие лучших духовных традиций России — главный смысл её нелегкого пути. Е. А. могла бы сказать о себе словами Владислава Ходасевича:

Но всё ж я — прочное звено:
Мне это знание дано.

Перед смертью Елена Александровна пережила религиозное преображение, и кончина её была удивительно просветлённой.

И да будет ей Царствие Небесное!

**О. Дешарт, Л. В. Иванова, Д. В. Иванов,
Н. Тамарченко, В. Рудич, Е. Эткинд.**

Искусство и жизнь

Г. ЧЕСТЕРТОН

РАЗБИТАЯ РАДУГА

Сегодня я поговорю о цвете; это — хороший пример и хороший символ. Реалисты — люди чувствительные — вечно твердят нам о серых улицах и серой жизни бедняков. Чего-чего, но серого на бедных улицах немного; они яркие, пестры, многоцветны, пятнисты, как лоскутное одеяло. Для одноцветности бедному кварталу нехватает тонкого вкуса; в нем и не пахнет изысканной прелестью кельтских сумерек. Честно говоря, лондонский мальчишка то и дело попадает из огня в полымя ярчайших цветов. Представьте, что он идет вдоль стен, увешанных рекламными щитами; вот он на ярко-зеленом фоне, словно путешественник в тропиках; вот — на ослепительно-синем, словно птица на южном небе; вот — на густо-багровом, как золотые леопарды герба. Вероятно, он понял бы полубезумный вопль Стивена Филлипса¹: «иссиня-синь, иззелено-зелен». Нет на свете сини и зелени, подобной сини и зелени реклам; нет желтизны желтее «Кольмановой Горчицы». Уличный мальчишка — в хаосе красок, он бродит среди обломков радуги; если же его душа не пропитана тонким вкусом, виноваты не серые улицы, не цветовой голод. Беда — в другом: он видит цвета не в той связи, не в той пропорции, не в тех значениях. Мальчишке нехватает не красок, а философии цвета. Синий или черный цвет рекламы плох только тем, что лазурь и чернь принадлежат по праву не плакату, а небу и бездне. Даже самая лучшая реклама говорит очень громко об очень маловажных вещах. Потому нас особенно раздражают бесконечные и огромные рекламы горчицы; ведь горчица — приправа, роскошь, ее, по самой сути, должно быть мало. Поистине злая насмешка — голодные улицы, где почти не знают мяса, увешаны восхваленьями горчице. Желтое — красивый и пронзительный цвет, горчица — вкусная и острая приправа. Но видеть ярко-желтое в таком количестве — все равно, что есть горчицу ложками. Или умрешь, или навсегда ее разлюбишь.

¹ Филиппс, Стивен (1868-1915) — английский поэт.

Теперь сравните огромные и пошлые рекламы с крохотными картинками, в которых люди средневековья пытались воплотить свои мечты. Небо на этих картинках — не больше сапфира, адское пламя — мазок золота. Разница не в том, что рекламы пишут не так тщательно, как миниатюры; и даже не в том, что миниатюрист служил Господу, а современный плакатист — господам. Старые мастера умудрялись убедить нас, что цвета драгоценны, как золото или сапфиры. Художник мог сам выбрать цвет, но цвет что-то значил. Птица могла быть голубой, дерево — золотым, рыба — серебряной, облако — алым; но художник убеждал нас в том, как важны и почти до боли напряжены эти цвета. Все красное было раскалено докрасна, все золотое — закалено в пламени. Именно такое отношение к цвету надо вернуть и взлелеять, если мы хотим, чтобы дети умели ценить цвета. Для человека, который так чувствует, зеленое поле щита очерчено резко, словно поле в деревне; листок позолоты ценен, как золотой дублон; а растратить зря хоть каплю алого или пурпура — все равно, что вылить вино или пролить кровь. Надо не упиваться цветом, а — если уж говорить образами — восторженно экономить его. Тем, кто воспитывает теперь детей, предстоит нелегкое дело — они должны научить смаковать цвета, должны превратить пьяниц в истинных ценителей вина. Если двадцатому веку это удастся, он почти догонит двенадцатый.

То, о чем я говорю, касается всей нашей жизни. Моррис и другие эстеты, поклонники средневековья, вечно говорили, что толпа в эпоху Чосера была одета много ярче, чем в эпоху Виктории. Я не совсем уверен, что разница — в яркости. В XIV веке мы увидели бы бурые рясы миноритов, в XIX — бурые котелки клерков. Лиловые одежды кающихся сменились лиловыми перьями работниц; белизна горностая — белизмой манишек; золотые львы — золотыми цепочками от часов. Разница в другом. Бурая, как земля, одежда нищенствующего монаха символизировала, пусть бессознательно, смирение и тяжкий труд; бурый котелок не символизирует ничего. Францисканец сообщал, что облекся в прах; честное слово, клерк не сообщает, что посыпал голову землей или пеплом. Глубина и печаль лилового цвета связывается со скорбью, на время прикрывшей радость. Но работница в шляпке с перьями и не думает о скорби, прикрывшей радость — поверьте, совсем не думает. Белизна горностая олицетворяла чистоту души; белизна манишки ее не олицетворяет. Золотые львы напоминали о пламенном благородстве; о часовой цепочке этого не скажешь. Наша

беда не в том, что мы утратили цвета — цвета есть, мы просто забыли, как ими пользоваться. Если прибегнуть к сравнению, мы не дети, потерявшие палитру и вынужденные довольствоваться простым карандашом, а дети, смешавшие все краски и потерявшие инструкцию. Что ж, даже в такой ситуации есть забавные стороны.

БАШНЯ

Я стоял там, где стоят все — перед Часовой Башней в Брюгге,² и думал, как думают все (хотя обычно не пишут), что ее строители презрели всяческую архитектурную пристойность. Они намеренно нарушили пропорции, только б она поражала высотой. Это — колокольня на ходулях. Именно в таком прекрасном уродстве — вся прелесть и сила фламандских городов. Земли там — скучнее некуда, здания — поразительны и ни на что не похожи. Природа во Фландрии — ручная, цивилизация — дикая. Поля — плоские, словно мостовые; улицы и крыши — буйные, как лес в бурю. Реки и ручьи текут неторопливо, как вода в лондонских трубах; а водокачки украшены десятками дичайших существ. Конечно, отчасти это относится к любому искусству. Мы называем зверей дикими, но нет на свете зверя столь дикого, как человек. Звуки музыки бывают страшней и первородней, чем вой волка в ночи. Точно так же бывают нелепые и могучие здания, которые вздымаются медленно, словно чудища из древней трясины; бывают шпили, которые взлетают в небо, словно вспугнутая птица.



Люди способны сделать яростным даже камень. Такое уж оно, человечество. Все звери полевые ведут себя пристойно; только человек сорвался с цепи. Все животные — приручены, кроме нас, людей. Странная, дикая сила присуща всякому искусству — но больше всего она присуща искусству христианскому. Именно это имеют в виду, когда говорят, что христианство — это варварство, и возникло оно во тьме невежества. Исторически это не так; христианство возникло в одну из самых просвещенных эпох.

Однако, в нем действительно есть что-то, взрывающее привычные каноны красоты. От него действительно вспыхнули бы гневом пустые глаза Аполлона и понеслись вскачь мраморные кони

² Часовая Башня — колокольня с курантами, около 100 м высотой, построенная примерно в конце XIII века. Стоит на рыночной площади в Брюгге, главном городе фламандских земель.

Элджина³. Христианство — дикое, в том смысле, что оно — первородно, почти как негритянский гимн. Помню, в одном споре я защищал бравурную музыку, и кто-то меня спросил, могу ли я представить Христа во главе духового оркестра. Я ответил, что могу без всякого труда — Христос недвусмысленно признал, что в торжественные минуты можно сотрясать воздух звуками. Когда уличные мальчишки кричали слишком громко «Осанна!» кое-кто из учеников повоспитанней стал, во имя хорошего вкуса, призывать к порядку. «Если они умолкнут, — сказал Иисус, — то камни возопят». Этой фразой Он вызвал к жизни всю мощь христианского искусства. Этой фразой он основал готическую архитектуру. В городе типа Брюгге, который плодит готику, как дерево плодит листья, любой кирпич, любая плита могут показаться разверстым в крике ртом. Фасады домов и храмов кишат лицами ангелов, славящих Бога, и бесов, хулящих Его. Камень так истерзан и скручен, что кажется, он сам кричит. Чудесное пророчество исполнилось, камни возопили.

Эта ярость воображения присуща из всех зверей — человеку, из всех стилей — христианской готике, из всех готических стран — Фландрии. Все готические здания покрыты поразительными сценами; но Часовая башня поразительна сама. Все мало-мальски хорошие церкви усеяны химерами; но Башня сама — химера. Она — истое чудовище, нелепое, как жираф. Это чувство преувеличения, нелепицы, гротеска не покидает вас ни в одном уголке фламандской столицы. И если вас спросят: «Почему жители этих плоских земель строили такие несообразно высокие здания?», ответить можно только одно: «Потому, что они живут на плоской земле». Если спросят: «Почему граждане Брюгге жертвовали даже красотой во имя головокружительной, поистине небесной высоты?», отвечайте — «Потому, что природа их этому не учила».



Я смотрю на Башню и думаю не без усмешки о моих лондонских знакомых, которые доподлинно знают, что выйдет, если вы окружите детей «правильной» средой. Сложная это штука, среда; она может действовать и так, и этак, а чаще всего — ни так, ни сяк. Окружите ребенка красотой, и он может полюбить ее, может возненавидеть, а скорей всего — любовь и ненависть нейтрализуют

³ Томас Брюс, граф Элджин (1766-1841) — английский дипломат, привез из Греции в Англию большую коллекцию статуй. В 1816 г. он продал ее государству, и с тех пор она хранится в Британском музее.

друг друга. Короче, среда редко что-нибудь меняет. Когда мы играли в ученых историков (сейчас это уже не мода, а пустая условность), у нас всегда был под рукой перечень стран, обязанных среде своим своеобразием. Нам говорили, что испанцы пылки, потому что у них жарко; скандинавы смелы, потому что у них холодно; англичане любят море, потому что живут на острове; швейцарцы любят свободу, потому что живут в горах. Все это очень мило. Только вот жаль, что совсем нетрудно составить другой список, где свойства наций я объясню противодействием среде. Испанцы, скажу я, открыли так много земель, потому что жара располагает к лени. Голландцы боролись за свободу не хуже швейцарцев, потому что них нет гор. Античные греки и римляне терпеть не могли моря, потому что у них под боком было лучшее из морей. Приводить такие примеры можно без конца. Первый: швейцарцы живут среди пропастей и снежных пиков — однако, они не создали никаких искусств и стали самым трезвым, здравым и деловым из европейских народов. Второй: бельгийцы живут на землях плоских, как ковер, — однако они вознесли свои башни до самых звезд.

Да, нелегко решить, положительно или отрицательно влияет среда, и мне, как ни жаль, не утешиться мыслями о пользе современных дискуссий. Лучше не буду о них писать, а посмотрю еще на Башню. Я бы занялся ими серьезней, если бы не был так уверен, что все они исчезнут много раньше, чем она.

ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ

Над Эдинбургом нависла туманная, пурпурная мгла. Тучи совсем низко, как им здесь и положено; и дождь идет — это тоже положено здесь. Не знаю, кто выдумал фразу «ну и ветер — как из пушки палят»; но имел он в виду, конечно, такой самый ветер, как сейчас: порывы ветра грохочут, один за другим, словно артиллерийский обстрел. В дожде и ветре, и великой радости (хотя и не совсем ясном уме) я иду по крутым, холодным улицам, любимым столькими романтиками. Небо надо мной темно, но еще темнее башня, подобная колокольне затонувшего храма, воздвигнутая в честь Скотта⁴. Под его сводами свищет ветер, окутывая меня плащом того мокрого, злого воздуха, который дал Стивенсону и

⁴ Памятник поставлен в 1846 г. Это — высокое здание, почти башня, украшенная мраморной статуей Вальтера Скотта и сценами из его книг.

силу, и смерть. Красота Эдинбурга — особенная; нет города, подобного ему по духу и по свойству. Дух этот лучше всего определить словом «обрывистый» — город весь из пропастей, он как бы обрывается вниз. На самом деле, конечно, холмы не так высоки, долины — неглубоки, но склоны их обрывисты и круты, высота и глубина здесь чередуются. Иногда, карабкаясь по тротуару, свернешь за угол — и перехватит дыхание, словно ты и впрямь у края бездны. Проходишь по людной, торговой улице — и кажется, что ты в Альпах. Да, другого слова не сыщешь: Эдинбург — незапен. Дороги несутся вниз, как в половодье. Дома взлетают вверх, как ракеты. Но это не все — резкая смена уровней вызывает еще более странное, сложное ощущение. Быть может, дело тут в том, что город, как я уже говорил, стоит на холмах. Быть может, в слоистости воздуха, благодаря которой сама земля — словно небо, и город парит в небесах, как Новый Иерусалим.

Как бы то ни было, ощущение — странное и даже страшное. Нелегко отделаться от чувства, что каждая дорога — мост, словно ты и впрямь идешь все время с горы на гору. Кажется, что поднимаешься в небо по ступеням улиц. Больше того, — кажется, что, вынув плиту тротуара, ты взглянешь вниз и увидишь луну. Часто, бредя в непогоду по городу, я чувствовал себя на лестнице к звездам и думал, не потому ли выбрали старейшины для своей столицы столь удивительный девиз. Ни у одного города на свете нет такого точного девиза. Его мог выдумать поэт, я чуть не сказал: «его мог выдумать художник». Вы можете увидеть этот девиз на воротах Эдинбургского замка: «*Sic itur ad astra*» — «Так идут к звездам».

Эти свойства Эдинбурга — не просто местная достопримечательность. Крутая торжественность, резкая и решительная сила — неотъемлемые качества всякого истинного города. В наше время почти никто не понимает, чем хорош город. Надеюсь, это поймут раньше, чем власти окончательно управятся с Лондоном. Когда мы сетуем, что город уродлив или скучен по сравнению с природой, мы судим очень поверхностно, основываясь на самых плохих, совсем не типичных примерах. Косматая чаща лучше некоторых городов; но ведь и косматая обезьяна лучше, чем памятник общественному деятелю. Однако, думая о статуях, мы имеем в виду совсем другое. Когда же мы думаем теперь о городе, мы почти всегда имеем в виду Бирмингем или Манчестер. К несчастью, бывает уродливый город, как бывает уродливая статуя; Бирмингем и Манчестер — ошибки рук человеческих, и, глядя на них, мы

вправе испытывать то мучительное чувство поражения, которое поэты называют кельтской скорбью.

Но не всякий город — Бирмингам, воплощение неудачи. Есть города — воплощение победы; те, кто их строил, твердо и прочно добились своего. Они, как прекрасная статуя, говорят нам о божественной силе человека, которая много выше дикой природы, грубых гор и заурадных звезд. Бесспорно, городские радости Брикстона⁵ безрадостней скучнейшей деревенской лужи. Но грохоту и сверканью морей или водопадов не сравняться с истинным городом. Бирмингам плох не потому, что он город, а потому, что он не город. Современные города уродливы не потому, что они — города, а потому что они кишат злыми, чисто-материальными силами; короче говоря, потому, что они в высшей степени похожи на дикую природу.

Оттуда, где я стою, мне видны темные колонны памятника Скотту, а за ними и между ними, как сквозь дубовую рощу, — Артуров Трон⁶. И памятник, и холм темны и резко очерчены; но я знаю, в чем их различие, в чем вообще отличается природа от человека. Холм кажется решительным и гордым, памятник — таков и есть. Если я поднимусь на вершину холма (не думайте, я не собираюсь), я увижу нечеткие глыбы земли и пятна травы — словом все то, что мои современники зовут эволюцией, а я — пустотой и развалом. Но если я вскарабкаюсь на памятник, я увижу линии скульптуры и резьбы, которые были задуманы как четкие и четкими стали. Словом, я увижу твердость, веру, догму, доступные только человеку; отнимите их — и вряд ли мы останемся людьми. Все наше дело в этом мире — отрицать расползание, ставить границы, обводить пером неназванные действия; проводить карандашом ту черту, которой нет в природе — и которой обводят на рисунке человеческое лицо. Повторю: равный Богу человеческий разум призван оберегать нас от того расползания, которое смешивает в общий котел все и вся на свете. Быть может, именно так надо понимать текст об Адаме, нарекающем имена.

Я вернулся под арку, и ветер взвыл снова, словно великий Вальтер Скотт вскрикнул во сне. Не могу сказать почему, — но знаю, что я прав, подумав о нем в ту минуту. Ведь Скотт отличается одним от Диккенса, Теккерея, Джейн Остин, Джорджа Эллиота и всех равных себе: читая его, мы узнаем хоть ненадолго, что каждый человек — король в изгнании.

⁵ Брикстон — один из юговосточных окраинных районов Лондона.

⁶ Артуров Трон — холм к востоку от города, меньше 300 м высотой.

ДОСТОЕВСКИЙ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖНИКА

1.

Нет, пожалуй, другого искусства, которое развивалось бы в современной России так успешно, как книжная графика. Иллюстрирование книг — русской и зарубежной классики, прозы и поэзии, детской литературы — за последние два десятилетия достигло высокого уровня.

Своими истоками русская книжная графика уходит в далекое прошлое — к гравюре XVII века, лубку; на протяжении всей своей истории этот вид изобразительного искусства претерпевал различные изменения. К книжной графике обращались крупнейшие художники XIX века, особое внимание уделяли ей мастера «Мира искусства».

Тем не менее, было бы неверно объяснять интерес к иллюстрации в наше время только традицией. Изменилась концепция и подход к этому виду искусства. Для художников «Мира искусства» иллюстраторская деятельность представлялась частью общего дела, направленного на возрождение утраченного чувства стиля, красоты; футуристы и представители более поздних художественных течений, связавших себя с революцией, пытались вложить в книжную графику (как и в другие жанры) пропагандистский элемент (Маяковский, Родченко, Лисицкий); скудные, духовно нищие 40 — 50-е годы наложили на творчество художников книги свой отпечаток: повысился интерес к деталям, бытовой и исторической обстановке (подчас за счет уменьшения внимания к стиливым особенностям текста); не многим настоящим мастерам удалось отстоять свое индивидуальное отношение к тексту (Фаворский, Гончаров).

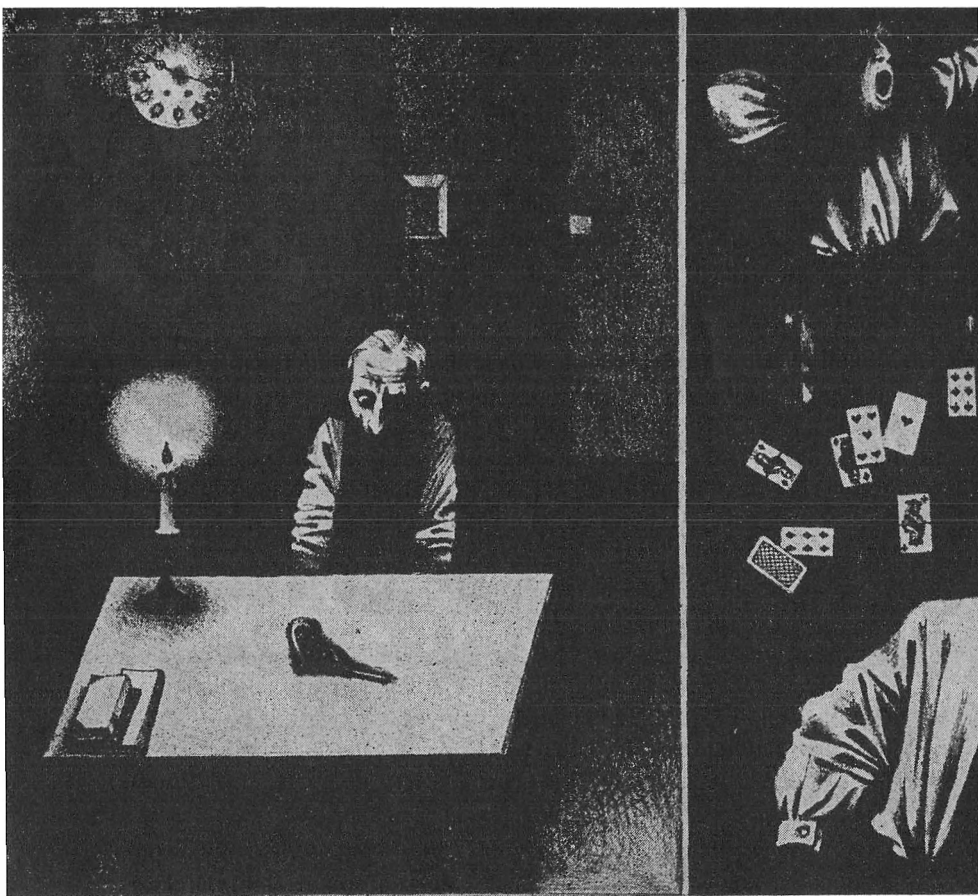
Художники-графики, выступавшие в начале 60-х годов, фактически не имели учителей. Их вкусы, как и вкусы товарищей по искусству — станковистов, декораторов, скульпторов, формировались под впечатлением встреч с культурными сокровищами Западной Европы (в первую очередь в репродукциях) — полотнами импрессионистов, кубистов, сюрреалистов, голландских мастеров. Отсюда шла любовь к новым ракурсам, краскам, формам...

Но, главное, что начали утверждать (сегодня можно смело сказать — утвердили) иллюстраторы 60-х годов: активную роль художника в книге. На графические листы к текстам стали смот-

реть не как на украшение, а как на самостоятельные произведения, одухотворенные творческой мыслью создателя. Из жанра периферийного иллюстрация перешла в положение равноправного и даже привилегированного вида современного искусства.

Как в свое время переводная поэзия давала возможность поэтам выражать свои мысли и чувства на родном языке, так и иллюстрация открыла широкие просторы перед художниками, лишенными контактов со зрителем в других видах изобразительного искусства.

Бесчисленные выставочные комиссии легко находят поводы отвергнуть то или иное произведение (например, отсутствие идеи



или недостаточная реалистичность). Но с какими критериями подходить, скажем, к иллюстрациям к прозе Гофмана и Андерсена? Какую реалистичность требовать от иллюстратора чисто психологических текстов?

2.

Интерес Виктора (Виталия) Пивоварова к произведениям именно психологическим (будь то сказки Андерсена или Погорельского, стихи Уитмена или Бодлера...) можно объяснить не только тем, что в каждой из этих книг он находит нечто «свое». Виктор Пивоваров — один из тех художников, кто пришел работать в книгу в начале 60-х годов, потому что именно иллюстраторская деятельность предоставила им наиболее широкие возможности выразить себя в искусстве.

Далеко не всем удается органически сочетать занятия живописью или скульптурой с работой для издательств. Подчас такая раздвоенность болезненно сказывается или на главном деле, или идет в ущерб книжной графике. В. Пивоваров — не только удачно уравновесил занятия живописью и станковой графикой с выполнением заказов для издательств, а как бы взаимно обогатил художественный поиск, принес в книгу нечто из своего независимого искусства, и, наоборот, взял для своих полотен многое из философии писателей (одним из наиболее близких ему на сегодняшний день является Габриэль Гарсиа Маркес).

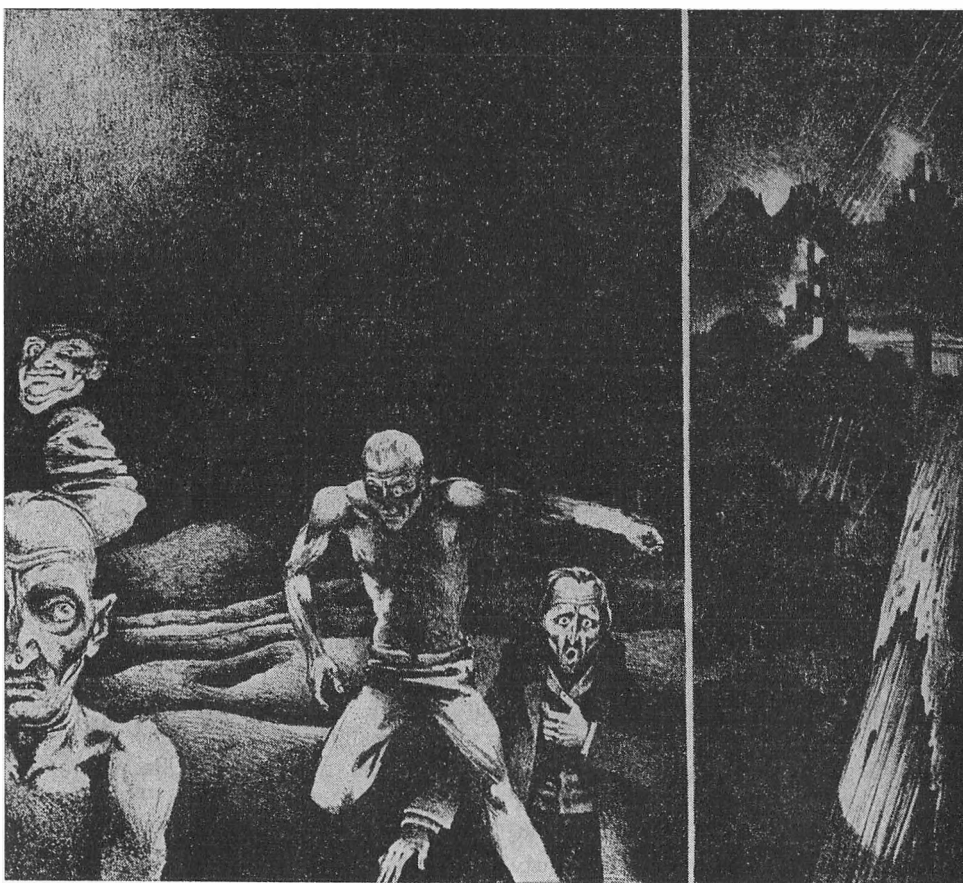
Цикл из шести литографий к рассказу Достоевского «Сон смешного человека» был создан художником к 150-летию рождения великого классика.

В 1971 году многие обратились к произведениям писателя, в ряде городов были устроены выставки иллюстраций к его книгам. Появились богато изданные тома «Идиота» с очень поверхностными по мысли иллюстрациями В. Гордяева, вышли в наборах открыток (позднее — в книжном варианте) наивные, если не совсем бездарные, рисунки И. Глазунова к «Белым ночам»... Все же вспомнили о старом издании «Белых ночей» с прекрасными работами М. Добужинского — книгу воспроизвели новым тиражом. Но большинство иллюстраций, в том числе и литографии В. Пивоварова, так и не увидели публикации. Разве что почетные призы нескольких зарубежных выставок (в Лейпциге В. Пивоваров за цикл «Сон смешного человека», вместе со своим товарищем Н. Поповым — цикл работ к «Неточке Не-

звановой» — получил Золотую медаль) говорили, что труд не пропал даром...

Впрочем, В. Пивоваров, как и многие его товарищи по цеху, взялся за иллюстрирование Достоевского вовсе не по предложению издательства — проза гениального писателя влекла его сама по себе.

Приглядываясь внимательно к листам-рисункам, которые приблизительно в тот же период делались для андерсеновской сказки «Оле-Лукойе», сопоставляя их с портретом главного героя «Сна смешного человека» — обнаруживаешь одинаковые черточки в лицах, грусть и какое-то волшебное изумление (не перед жизнью ли вообще?). Но еще больше ассоциаций вызывает вдруг



«смешной человек», в котором В. Пивоваров изобразил себя (если не в смысле буквального сходства, то психологически). Может быть потому, что мысли и чувства героя рассказа Достоевского во многом совпадали (по крайней мере, в ту осень и зиму) с пивоваровскими, «...в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше меня: именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир, или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я перестал сердиться на людей, и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей...»

Приблизительно такое же настроение было в то время у многих интеллигентов. Пустовали выставочные залы, ощущалось какое-то «бессезонье», ничего выдающегося или хотя бы примечательного не выходило на киноэкраны, в издательствах полный застой.

3.

Иллюстрировать Достоевского всегда заманчивое и сложное дело. Из европейцев наиболее близок оказался он экспрессионистам. В России, на родине писателя, не выделилось единой школы или течения, где отразились бы мысли и идеи, питавшие его романы, повести, рассказы.

М. Добужинский читал «Белые ночи» не как душевную трагедию человека, а как поэму о родном Петербурге; его графические листы к повести несут в себе свет северного неба, на бульварных мостовых, на стенах домов, на глади каналов лежит взгляд влюбленного художника. Д. Шмаринов увидел этот же город («Преступление и наказание») как скопище мрачных стен, за которыми прячется бог знает какая жизнь, люди на улицах подобны теням-призракам. У А. Гончарова («Идиот», «Бедные люди») все пренесполнено контрастами высокого классицизма архитектурных

ансамблей и нарочито выделенными деталями быта — плохо освещенными помещениями, бельем на веревках...

Круг имен художников-иллюстраторов Достоевского можно было бы расширить, но тенденция — трактовать прозу писателя, цепляясь за какие-то детали, упомянутые на его страницах — присуща почти всем им, даже очень непохожим друг на друга в манере письма, нет того, что М. Бахтин называл «полифонией».

Именно «полифоническую» иллюстрацию попытался создать В. Пивоваров, взявшись за рассказ «Сон смешного человека».

Решение внести в каждый лист с четко обозначенным сюжетом еще некоторое добавление (рисунок за линией-перегородкой) расширило смысловое пространство литографий. Так, уличная сцена, где мы видим нищую девочку (глазами героя рассказа) увеличилась изображением «смешного человека» (глазами художника), а линия-перегородка не только позволила нам (зрителям) увидеть каждого из них в отдельности, но подчеркнула какая глухая стена пролегла между этими несчастными!

Ситуация оказалась просматриваемой как бы с разных сторон, число точек зрения возросло в три раза: 1) мы (зрители) — сцена, 2) «смешной человек» — девочка, 3) девочка — «смешной человек».

Эту полифоничность углубила стилистически точная, по Достоевскому взятая интонация — неважно даже из какого произведения, из «Сна смешного человека» (хотя отступлений от текста нет), из «Неточки Незвановой»... или, почему нет, из Преступления и наказания».

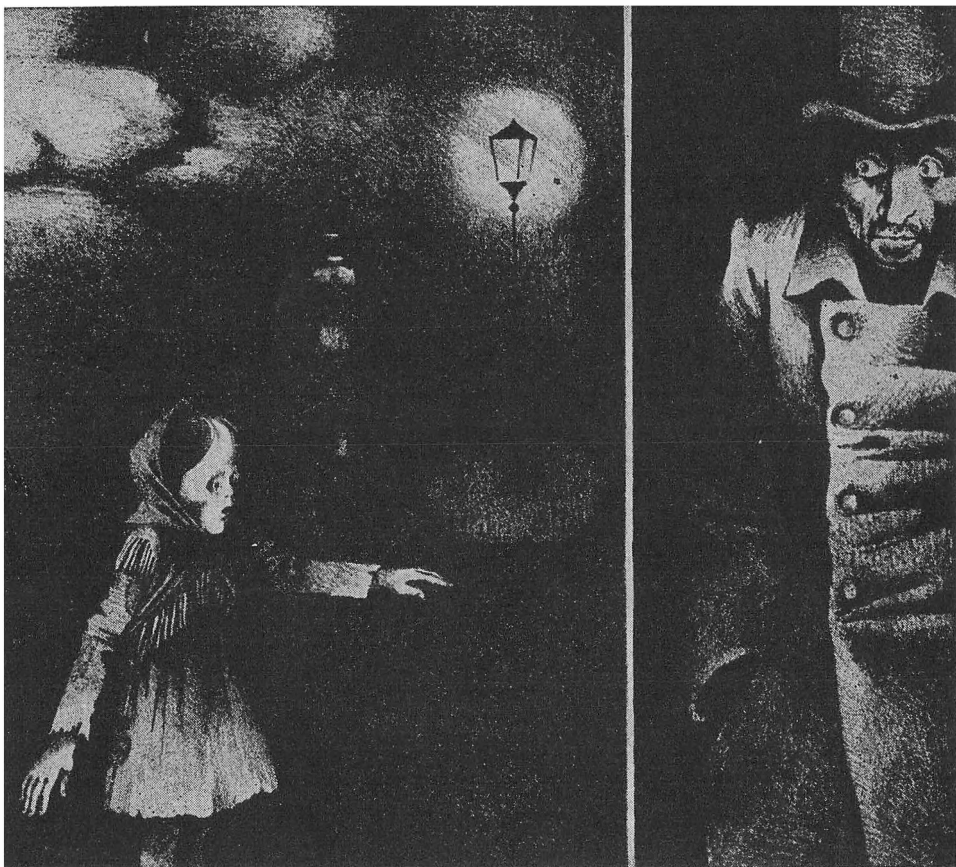
«— Любите ли вы уличное пение? — обратился вдруг Раскольников к одному, уже немолодому, прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид фланера. Тот дико посмотрел и удивился. — Я люблю, — продолжал Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил, — я люблю, как поют под шарманку в холодный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледнозеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? и сквозь него фонари с газом блистают...»

А вот комната, где «смешной человек» перед свечой размышляет о самоубийстве, за стеной — с бутылкой водки и картами отставной капитан... Линия-перегородка в рисунке овеществляет эту стену, размер жилья увеличивается. Но дело здесь не во внешнем интерьере: литография естественно вмещает в себя два полюса настроений, причем каждый из них по-своему помо-

гает обнаружить, как близко от трагичного до смешного и наоборот... И опять три возможности зрительных взаимоотношений: 1) мы (зрители — сцена, 2) «смешной человек» в ситуации трагедии — капитан-сосед под хмельком, 3) капитан-сосед под хмельком — «смешной человек»...

4.

Выпускник Московского полиграфического института, в котором он учился с 1957 года, В. Пивоваров, как и многие его ровесники, пришел в книжную графику, успев преодолеть увлечение живописью Босха, Клее, Шагала. Определенные следы в



его творчестве оставила любовь к старой гравюре (свою дипломную работу он посвятил иллюстрированию французских рыцарских романов), к биологии.

Почти все книги, в которых художник принял участие, были хвалебно отмечены критикой.

Тем не менее, далеко не все дошло до зрителя и читателя (Пивоваров пишет и стихи). Нигде не удалось выставить ему полные трагизма и человечности графические листы «Жизнь и смерть Николая Заболоцкого», не состоялась экспозиция «Искушение Святого Антония», не вышли за пределы мастерской живописные трактаты, которые условно можно было бы назвать «Современный человек», проекты росписи молодежного кафе...

Неизвестными остались и литографии к «Сну смешного человека» — едва ли не лучшие иллюстрации к Достоевскому, появившиеся в России за последние двадцать лет... Для нас они ценны не только как частная удача художника, они помогают понять более широкое явление: в них концентрируется и иллюстрируется настроение русской интеллигенции сегодняшнего дня.

В. А-в.

Судьбы России

ИСТОКИ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

ДВА ПОРТРЕТА*

(По воспоминаниям В. Я. Василевской «Катакомбы XX века»)

О «катакомбной церкви» известно крайне мало. Не сохранились документы, не дожили до наших дней участники и свидетели. Трудность в сборе материалов заключается еще и в том, что «катакомбная церковь» не была однородной, единой организацией — но островками, отгороженными от всего мира, не связанными между собой, в большинстве случаев даже не подозревающими о существовании друг друга. Известно, что большинство представителей «катакомбной церкви» своим архиереем считали еп. Афанасия (Сахарова), не признавшего Сергия главой Патриаршей Церкви. В 1945 году после смерти Сергия и избрания патриархом Алексия (Симанского) еп. Афанасий разрешил посещение храмов Московской Патриархии. «... когда в 1945 году, будучи в заключении — вспоминает еп. Афанасий, — я и бывшие со мной иерен, не поминавшие патриарха Сергия, узнали о избрании и наставлении патр. Алексия, мы, обсудивши создавшееся положение, согласны решили, что ... нам должно возносить на наших молитвах имя патр. Алексия как патриарха **нашего**, что я и делаю неопустительно с того дня.¹ Таким образом, история «катакомбной церкви» занимает период всего в 17-18 лет, с 1927 по 1945 гг.



Воспоминания В. Я. Василевской **КАТАКОМБЫ XX ВЕКА**, находящиеся в нашем распоряжении, представляют собой рукопись объемом в 180 машинописных страниц². Рукописи предпо-

* Из самиздатовского сборника «Память».

¹ Еп. Афанасий Ковровский (Сахаров). Из письма к духовной дочери. — «Вестник РСХД», № 106, стр. 96, **Об Афанасии Сахарове** см.: «Вестник РСХД», № 81 и № 107.

² Вера Яковлевна Василевская (18.. — 1975) — специалист по педагогике и детской дефектологии. Окончила философский факультет

слано краткое предисловие, подписанное «редактор». Воспоминания не носят ярко выраженного историко-документального характера. Скорее их можно определить как духовное свидетельство человека, не поверхностно, но глубоко знакомого с катакомбной церковью, с духом «хранителей чистоты православия». Встреча с представителями «катакомбья» для нее не случайный эпизод, а «подлинное и великое чудо и, в то же время, самая неопровержимая, центральная реальность ... существования» [14]³.

Центральное место в воспоминаниях занимает образ о. Серафима, бывшего в течение 20 лет духовным руководителем В. Я. Василевской.

Отец Серафим (Сергей Михайлович Батюков) родился в Москве в 1880 г. Получив техническое образование, он стал работать на одном из столичных предприятий. В то же время С. М. посещает Оптину пустынь, слушает лекции в Духовной академии, изучает богословие и святоотеческую литературу. Рукоположен он был в 1919 г. Несколько месяцев о. Сергей служит в храме Воскресения в Сокольниках вместе с о. Иоанном Кедровым — строителем храма и основателем сокольнической общины. В 1920 г. патриарх Тихон назначает его в церковь св. муч. Кира и Иоанна на Солянке. В 1922 он принимает монашество с именем Серафим, а в конце 1926 г. возводится в сан архимандрита. По слухам, его готовили к архиерейскому служению.

Декларацию митр. Сергия о. Серафим воспринял крайне отрицательно. В июле 1928 года он удалился из храма и перешел на нелегальное положение. Некоторое время он жил тайно в разных местах и наконец поселился в Сергиевом Посаде. Здесь в маленьком домике на окраине города о. Серафим и оставался до своей смерти (1942 г.). В одной из комнат перед иконой Иверской Божьей Матери был поставлен алтарь и служилась литургия. Сюда приходили многочисленные духовные дети архимандрита за советом и утешением. Приходили и совершали богослужения многие духовные лица. В перерывах между арестами бывал и еп. Афанасий, в юрисдикции которого находился о. Серафим.⁴

МГУ и Институт иностранных языков. Ей принадлежит ряд работ, часть из которых опубликована (напр.: **Понимание учебного материала учащимися вспомогательной школы**, М., 1960). Воспоминания закончены в 1959 г.

³ В квадратных скобках указываются страницы рукописи.

⁴ Сведения эти взяты нами из редакторского предисловия к **КАТАКОМБАМ XX ВЕКА**.

Впервые В. Я. Василевская встретилась с о. Серафимом в 1935 году. Тогда же началось и видимое руководство, но «в действительности, — пишет В. Я., — оно началось еще в 1920 г., т. е. продолжалось более 20 лет, а незримо несомненно продолжается и сейчас, так как та духовная связь, которая создавалась при крещении, когда он буквально «принял мою душу в свою», не может быть расторгнута концом земного существования» [14].



о. Серафим

В 1920 г. «после смерти мамы мир для меня опустел, утратил не только привлекательность, но и реальность. Занятия философией и психологией, хотя и глубоко захватывали, но не давали той пищи, которую просила душа» [16]. В том же году, продолжая занятия в университете, В. Я. поступила работать в детский сад. Здесь она познакомилась и подружилась с Тоней З., духовной дочерью отца Серафима. После того как их встречи стали редки, между ними завязалась переписка. «Не сразу я начала получать ответы на свои письма, — вспоминает В. Я., — но когда они, наконец, стали регулярными, я поражена была той силой чувств и глубиной мысли, с какой они были написаны..., я долго не знала,

кто был настоящим автором этих писем. Нескоро я узнала о том, что писал их отец Серафим, а Тоня только переписывала, как бы от себя» [22].

Так началось письменное руководство отца Серафима, длившееся почти пятнадцать лет. В. Я. приводит несколько примеров подобного руководства. Так, после того, как Л. (сестра Василевской), вышла замуж, В. Я. получила письмо, «в котором были следующие строки, явно не принадлежащие Тоне, так как звучали не как совет подруги. «То что Л. вышла замуж, ни в коем случае не должно служить тебе примером, это не твоя дорога». Это был ответ человека, который видит далеко вперед и которому дана сила и власть указывать путь» [24]. «Однажды я писала Тоне о том, как мучительно хотелось мне в юные годы иметь своего ребенка и закончила печальным, как мне казалось, выводом: наверное, я недостойна. «Так и думай, что недостойна», — был ответ. ...Однажды я писала в письме, что Христос для меня единственный Маяк во мраке жизни. На это о. Серафим ответил: «Наступит время, когда Христос будет не Маяком, но Кормчим, направляющим всю твою жизнь» [24].

Духовный рост и мужание В. Я. не остались неизвестны о. Серафиму. В одном из писем он сообщил ей, что настало время принять крещение.

«Для меня все это явилось неожиданным... Почему нужно непременно присоединиться к церкви, — недоумевала я. — Разве нельзя без этого исповедовать Христа своей жизнью и своей смертью.

В следующем письме он ответил мне на этот вопрос вопросом: «Как же ты думаешь, не имея Христа, Его исповедовать?»

Эти слова были тогда мне мало понятны и показались жестокими. Вопрос о крещении казался мне тогда почти ненужным, почти тщеславным. Отвечая на эти мысли, отец Серафим писал: «Ты говоришь о тщеславии, не замечая, в какую тонкую гордыню попадаешь, утверждая обратное» [27].

Наконец, 29 января 1935 г. В. Я. вместе с Тоней З. впервые приехала в Загорск. «Тропинка привела нас к домику, ставни которого были плотно закрыты. Казалось, там все спали или давно уехали. Тоня позвонила 4 раза, как было условлено. Нам быстро открыли. В домике было светло, тепло и уютно. Во всем чувствовался покой как-то особенно хорошо слаженной жизни. Все были ласковы и приветливы, так что чувство неловкости, обычное в непривычной обстановке, сменилось уверенностью, что все совсем

прочно и иначе быть не может. Батюшка позвал нас к себе в комнату и просто, как ребенку, объяснил мне, как нужно взять благословение, о чем я никакого представления не имела. (...) Время было позднее, и все пошли ложиться спать. Мы с батюшкой остались вдвоем. (...)

Сели за стол. Помолчав немного, о. Серафим спросил: «Как вы пришли ко мне?!» В том, как он задал этот вопрос, чувствовалось, что ему было известно все, что со мной происходило, и в то же время он хотел дать мне понять, что я пришла сюда не по своей воле. «Мне было очень трудно», — ответила я, чувствуя, что все обычные и человеческие условности здесь неуместны. Однако, когда он попросил меня рассказать о себе, я все же спросила: «Вы простите меня, если я буду говорить то, что Вам может быть неприятно?» — «Я священник», — кратко ответил о. Серафим...

Мне показалось, что с меня спали цепи, которые тяготели на мне в течение многих лет. Я говорила долго, говорила все, что в данный момент казалось мне существенным. Когда я кончила, о. Серафим как-то особенно внимательно посмотрел на меня и сказал: «Вы устали, вы очень устали». — «От чего?» — удивилась я. — «От добросовестного отношения к жизни» — был ответ.

Потом он начал говорить сам, и я была поражена, откуда он знает отдельные подробности моей жизни, о которых я не говорила: характеристика моих родителей, их взаимоотношения и многое другое. «Ваша мама, — говорил о. Серафим, — вела почти христианскую жизнь... Почти христианскую жизнь», — повторил он, словно желая усилить значение этих слов. — «Однако, я ей не решился бы предложить то, что предлагаю Вам... Вам осталось только вооружиться крестом... Это нужно не для чего-нибудь другого, но только для устроения Вашей души. Вы поняли меня?» — Этот вопрос батюшка постоянно задавал во время своих бесед, и сколько раз впоследствии я отвечала на него отрицательно, стремясь как можно лучше усвоить себе его мысль, и он вновь терпеливо разъяснял ее мне, как мама в детстве объясняла в десятый раз затруднившую меня задачу.

Много вопросов смущало меня в связи с тогдашним положением церкви, с необходимостью конспирации, с тем ложным положением, в которое приходилось ставить себя по отношению к окружающим. Ведь даже для того, чтобы приехать сюда, мне пришлось обмануть самых близких людей. О. Серафим сочувственно отнесся ко всему, что я ему говорила. «Вы не знаете, в ка-

кое время вы пришли ко мне!» — сказал он, как бы желая вновь подчеркнуть, что не все открыто мне и что действует здесь не моя воля. — «Здесь катакомбы», — сказал он, указывая на все, что нас окружало. — «Я здесь не потому, что желаю кому-нибудь зла или хочу с кем-то бороться. Я здесь только для того, чтобы сохранить чистоту православия» [30-32].

«Вот вы пришли ко мне ночью, как Никодим, — сказал батюшка задумчиво, — и я ставлю перед вами вопрос: согласны ли вы принять крещение?»

«Этот вопрос для меня сейчас совершенно непосильный, — ответила я, — совершенно непосильный...»

О. Серафим попросил меня стать на колени, и когда я это сделала, он молча прижал мою голову к своему сердцу, так что я могла слышать каждое его биение.

Мы вышли в другую комнату. Наступил день. Батюшка подвел меня к окну и сказал: «Запоминайте дорогу. Вы еще придете ко мне, спрашивать ни у кого не нужно».

Он подарил мне на память синее хрустальное яичко, потом благословил меня, и я уехала домой» [32-33].

Письма от отца Серафима продолжали приходить и после этой встречи. Теперь их передавала В. Я. лично Тоня. «О. Серафим» — пишет В. Я. — «уже считал нас своими и заботился о нас так, как внимательная мать, которая старается предупредить каждое движение своего ребенка: внешнее и внутреннее» [33].

Незадолго до Пасхи Тоня привезла В. Я. приглашение от о. Серафима приехать в Загорск к Пасхальной заутрене.

«В Загорск мы приехали поздно. Домик, в котором жил батюшка, снаружи, как и в прошлый раз, выглядел заброшенным и необитаемым. Внутри же он был полон людей, собравшихся встретить Светлый Праздник вместе с батюшкой в этом маленьком, запертом со всех сторон домике, как прежде встречали его в храме.

Батюшка был занят устройством алтаря и иконостаса. Маленькая комната должна была превратиться в храм, где совершится пасхальная заутреня.

Когда все было готово, все перешли в большую комнату, оставив батюшку одного.

Я не знала никого из присутствующих, кроме хозяев дома. Немного спустя батюшка позвал меня к себе в комнату. «Чувствуйте себя так, как среди самых близких людей», — сказал он, и, убедившись в том, что я поняла все так, как он хотел, уже совсем просто добавил: «А теперь пойдите, посидите в той комнате, а я

буду их исповедовать». Вероятно, и другие были предупреждены, так как никто не задавал мне никаких вопросов, и я почувствовала вскоре, что все эти люди, приехавшие сюда к батюшке в эту пасхальную ночь, действительно являются мне близкими людьми, с которыми связывают меня самые глубокие, еще не совсем понятные мне нити. Я бы не сумела этого почувствовать, если бы не было прямого указания батюшки: он освободил меня от всегдашней моей замкнутости, он разрешил мне чувствовать себя хорошо.



Епископ Афанасий (Сахаров)

Прислушиваясь к разговорам окружающих меня людей и отчасти участвуя в них, я начинала понимать, в чем основное отличие жизни «в церкви», жизни «под руководством» от того внутренне беспорядочного хаотического существования, которое вели все те люди, среди которых мне приходилось до сих пор проводить свою жизнь. Два основных понятия определяли собой характерные черты этого нового для меня образа жизни: «благословение» и «послушание». Не будучи в состоянии полностью охватить заключа-

шийся в них глубокий смысл, так как для этого нужен большой и долгий опыт духовной жизни, я все же почувствовала в них единственный надежный путь. Всею обстановкою своей жизни, своими словами, действиями, поведением батюшка учил всех, кто соприкасался с ним, все глубже вникать в этот путь сердцем и разумом и одновременно усваивать его практически. Этот путь во многом был диаметрально противоположен тому, чему учила семья, общество, литература (не только после революции, но и до нее)» [35-36].

Прежде чем начать богослужение, батюшка послал кого-то из присутствующих убедиться в том, что пение не слышно на улице.

Началась пасхальная заутреня, и маленький домик превратился в светлый храм, в котором всех соединяло одно, ни с чем не сравнимое чувство — радости Воскресения. Крестный ход совершался внутри дома, в сенях и в коридоре. Батюшка раздал всем иконы для участия в крестном ходе» [37].

Необходимость обдумать все и прийти к окончательному решению заставила В. Я. летом 1936 г. уехать в тихую деревню недалеко от Калязина. «Я решила на свободе написать письма, в которых я могла бы уяснить себе все то, что меня тревожило, что мешало перейти через пропасть, которая все еще отделяла меня от желанной цели» [38]. «В последнем из писем, написанных в Калязине, я пыталась подвести итоги. Но итог оказался для меня самым неожиданным. Я вынуждена была признать, что решать собственно нечего, что вопрос о моем крещении решен и предreshен уже давно, даже не знаю когда. Может быть, я должна подумать о сроке? Но и это, видимо, не в моей власти. Путник видит огни впереди. Он идет к ним. Но где же они, далеко или близко? Он не может сказать. Он может обмануться...» [39].

Возвратившись в Москву, В. Я. встретила с о. Серафимом. «Батюшка ласково заговорил со мной: «А вы скажете Спасителю: вот я пришла к Тебе, как блудница». Эти слова так поразили меня, что я невольно закрыла лицо руками и на мгновение так хорошо и светло стало на душе. Все же я еще пыталась продолжить свои «доказательства от противного», но вскоре замолкла, так неуместны они были теперь. В саду запел соловей. «Вот мы сидим здесь с вами двое, — сказал о. Серафим, — у нас как будто бы есть разногласия — как будто бы, — повторил он, желая показать, что это только кажется, а в действительности никаких разногласий не существует» [40].

«Мне казалось, что душа моя разрывается на части. «Простите, — сказала я наконец. — Я так много времени отнимаю у Вас». — «Я страдаю вместе с Вами», — ответил о. Серафим» [41].

Переписка между о. Серафимом и В. Я. продолжалась. «В одном из писем, полных конфликтными переживаниями, я приводила стихи Тютчева: «Душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть» — и закончила вопросом: готова ли? готовится ли?

О. Серафим на ряде примеров старался показать мне, в чем состоит эта готовность.

В этом и заключалась по существу наша переписка: у меня было «как будто», у него было «действительно». У меня было предчувствие, у него «вѣдение». Я не видела и не понимала, что происходит в моей душе, а он видел и понимал все» [41].

Пришел однако день, когда и для В. Я. необходимость крещения стала очевидна. Вечером 17 ноября 1936 г. В. Я. вместе с Тоней уехали в Загорск. «Батюшка хотел, чтобы в тот вечер не было ни одного лишнего человека, и просил никого не приезжать» [45]. «О. Серафим решил разделить богослужение на две части: подготовительная часть должна была быть проведена с вечера, а совершение самого таинства было назначено на 4 часа утра.

Потом батюшка сказал, что мне надо исповедоваться. Исповедь была краткой. Я не умела исповедоваться, и даже ответы на простые поставленные мне вопросы были почти подсказаны. Батюшка упомянул о грехах, неведомых мне самой или забытых, и дал разрешение» [45].

«Все легли спать. Я тотчас же уснула, так легко и спокойно было у меня на душе. Батюшка не спал, и когда я просыпалась ночью, я слышала за стеной часто повторяемые слова:

«Боже, очисти мя грешного!...»

И если я чувствовала себя в эту ночь безмятежно, как младенец, то тот труд, который он брал на себя, не был крещением младенца, он несомненно ощущал и всю тяжесть тяготевших на моей душе за прошедшую жизнь грехов «вольных и невольных», «ведомых и неведомых», и тот хаос, который все еще царил в ней, и тут борьбу враждебных сил, которая могла умолкнуть лишь под действием призываемой им благодати...

Меня разбудили в четвертом часу утра.

Перед началом богослужения батюшка просил меня назвать имена тех людей, которых мне хотелось бы помянуть за литургией. «Они будут заочными участниками», — сказал он.

Богослужение, которое решил батюшка совершить в этот день, было необычным. Он соединил службу, совершаемую при крещении, со службой, посвященной мученицам Вере, Надежде, Любви и матери их Софии.

Это придавало всей службе особенный смысл. Здесь я впервые услышала чудесный тропарь: «Агница Твоя, Иисусе, Вера, зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю и Тебе ищущи, страдальчеству...»

Глубочайшая связь между той и другой службой раскрывалась в словах: «сраспинаюся и спогребаяюся крещению Твоему».

Батюшка делал все спокойно и просто, но с такой внутренней силой, которая казалась почти невероятной в человеке. Надо было только во всем, до мельчайших подробностей, исполнять его волю, как он исполнял вслю Божию.

Ничто не было условностью. Внутреннее и внешнее сливались воедино. Так распускаются листья на деревьях, так приходит жизнь и смерть, так совершается всякое дело Божье на небе и на земле...» [45-46].

«Когда все было кончено, батюшка обратился к присутствующим с несколькими словами. Он хотел, чтобы они хорошо запомнили этот день и все то, свидетелями чего они были.

«Пришла ко Христу душа, которая так долго к нему стремилась», — сказал он. На глазах его были слезы...» [47].

После крещения переписка с о. Серафимом стала редкой, но поездки В. Я. в Загорск были регулярными, хоть и сопряженными с рядом трудностей: из соображений безопасности о них не знали ни родные В. Я., ни ее друзья. «Руководство о. Серафима, — пишет В. Я., — все более охватывало всю жизнь внешнюю и внутреннюю, невозможно было предпринять ни одного дела без его благословения» [48].

«Бывают люди святые, — сказал как-то батюшка, — а бывают люди хотя не святые, но «правильные». О святости судит один Бог. Правильность же служить путеводной звездой для многих людей, окружающих такого человека, она помогает им переплыть море житейское, не теряя нужного направления». Батюшке хотелось принести все, у него проверить свои поступки, мысли, чувства и движения душевные. И часто оказывалось, что то, что тебе казалось полезным, было бесполезно, а то что казалось ошибкой, было необходимостью» [48-49].

Так, например, в один из приездов в Загорск В. Я. рассказала о. Серафиму, что в течение 22 лет она вела дневник. «Я думала,

что батюшка заинтересуется этим дневником, одобрит ведение его и на будущее. Но батюшка отнесся к этому совершенно иначе. «Тогда был период исканий, а теперь период осуществления, — сказал он. — Теперь вы все должны приносить сюда». При этих словах он указал мне на образ Божьей Матери.

«А что делать с теми дневниками, которые имеются?» — спросила я. Батюшка предложил их уничтожить. Нечего и говорить, что я исполнила это в тот же вечер» [49].

«Мне так хотелось подчинить руководству батюшки не только свою волю, но и чувство и мысль. Поэтому я особенно тяжело переживала те случаи, когда я не могла согласиться с тем, что говорил батюшка, а таких случаев в то время было довольно много. Я пыталась понять и усвоить его мысль, но искренность была важнее всего.

Один раз батюшка прямо сказал мне: — Если вы не согласны со мной, то отчего же вы не возражаете? — Я здесь не для того, чтобы возражать, — ответила я. — Нет, нет, непременно надо возражать, — сказал батюшка, — иначе у вас ясности не будет. А кроме того есть много вопросов, в которых каждый может иметь свое мнение, и это ничему не мешает. Например, мне нравится зеленый цвет, а вам — синий, — пошутил он» [55].

«Удивительное понимание чужой души было у батюшки не только чуткостью душевной, но и духовным дарованием.

Однажды, собираясь вечером ехать в Загорск к батюшке, я была беспокойна. Меня тяготила постоянная необходимость скрывать и обманывать, а также опасение, что очередная поездка может окончиться неблагополучно не только для меня, но и для него. Перед самым отъездом, чтобы немного успокоиться, я наугад открыла Евангелие и прочла следующие слова: «Мир Мой даю вам, не так как мир дает, Я даю вам».

Когда я приехала к батюшке, он открыл Евангелие и прочел мне эти же самые строки. Тогда я рассказала ему обо всем. «Вот видите!» — сказал он, давая мне понять, что это «совпадение» не было случайным» [55-56].

Минул год, и снова пришло время Великого Поста. «Я была очень удивлена, узнав от Тони, что во время поста нельзя бывать даже в концертах. Я никогда не смотрела на музыку как на развлечение, и мне было непонятно, почему нельзя слушать музыку постом, в то время как мы продолжаем выполнять множество житейских дел, которые гораздо больше рассеивают и отвлекают, чем серьезный концерт. Я обратилась к батюшке за разъяснением.

«Я сам люблю музыку, — сказал он, — и всегда посещал театры и концерты, пока был светским человеком. Великий пост требует особой сосредоточенности. Если нас отвлекают житейские дела и заботы, то это причиняет нам страдание, а концерт дает утешение и уводит от того, что единственно должно занимать наше сердце в это время. Дело не в содержании музыки. Даже если бы вы хотели Великим постом слушать **Реквием**, я не дал бы вам на это своего благословения» [64-65].

В. Я. не излагает событий в хронологическом порядке. Часто она возвращается к уже описанному, порой забегает вперед. Главное для нее не историческая достоверность (которая и так достигается благодаря редким, но выразительным и конкретным штрихам), а достоверность духовная, которая стоит за всеми внешними событиями и которая для нее более реальна, чем эти события.

«Попытка изобразить в словах внутренний облик батюшки не является ли великой дерзостью, так как я, разумеется, не в состоянии не только передать, но и охватить, хотя бы в незначительной степени, всю многогранность его души, все многообразие его деятельности, а тем более отобразить ту благодатную атмосферу, которая создавалась вокруг него и исходила из глубины его сердца, до конца преданного Господу и Божией Матери, глубину его понимания души человеческой и тех путей и предначертаний, которые Господь открывает только своим избранным, наконец, его великую любовь к родине и Церкви, за которых он страдал ежечасно? Невозможно забыть те моменты литургии, когда о. Серафим молился о «страждущей державе Российской»... Приходилось удивляться широте его сердца. Он, кажется, готов был принять всех. Отношение батюшки к каждой человеческой душе можно было бы определить одним словом — «бережность». Когда придешь, бывало, к батюшке с неразрешенным вопросом или с большой тревогой в сердце, батюшка прежде всего перекрестит это самое волнующееся сердце, и тревога исчезнет, а потом начнет объяснять непонятное с ласковым обращением: «Чадое мое родное!». И так хорошо станет на душе от этих слов, что, кажется, готов встретить все испытания» [100-101].

«Прощаясь, батюшка всегда провожал уходящего долгим внимательным взглядом. Хорошо было чувствовать на себе этот взгляд, который, казалось, будет сопровождать тебя повсюду до конца дней. И как часто хочется теперь, хотя бы по ту сторону жизни, вновь увидеть тот же внимательный взгляд и услышать голос, произносящий ласковые слова: «Чадое мое родное» [102].

«Батюшка рассказал мне кое-что из своей жизни. Отец его был суровым человеком и был далек от своих детей. Мать, напротив, была добрая и чуткая женщина. Понимая настроение своего сына, она, еще когда он был ребенком, говорила дочерям (его сестрам): «Уйдет от нас Сергей в монахи!»

В молодости батюшка работал в библиотеке Румянцевского музея и сотрудничал в журналах. По-видимому, батюшка не оставлял литературной работы в позднейшие годы. Как-то он сказал мне, что пишет по вопросу брака. Другой раз он просил меня найти различные определения понятия «Наука». Я привозила ему сделанные мной выписки из энциклопедии Брокгауза и Ефрона и Большой Советской Энциклопедии, за что он был очень благодарен. По-видимому, это тоже было нужно ему для какой-то работы. К сожалению, мне так и не удалось познакомиться ни с одним из его литературных трудов» [77].

«Помимо своих духовных занятий, старческого руководства, пастырских и богословских литературных трудов, батюшка в своем уединении принимал активное участие в жизни Церкви, встречался со многими из своих единомышленников среди церковных деятелей и вел постоянную переписку. Вместе с тем не было, казалось, ни одного вопроса, которым бы он не интересовался. Он следил за текущими событиями и переживал все со всеми.

Благодатная сила его благословения была так велика, что покоряла себе душу каждого человека, с которым он встречался. Однажды он рассказал мне следующий случай из своей жизни. Это было в тот период, когда народ приучали относиться к духовным лицам без всякого уважения и даже насмехаться над ними. Батюшка рассказывал, что ему пришлось как-то идти лесом в праздничный день. Навстречу ему попались два молодых рабочих, несколько подгулявших. Поравнявшись с батюшкой, они, смеясь, обратились к нему: «Отец, благослови выпить!» Батюшка ничего не ответил. Но они не оставили его в покое и продолжали идти рядом, настойчиво повторяя те же слова. Тогда батюшка остановился, повернулся к ним лицом и, осенив их крестным знаменем, сказал: «Благословляю вас... не пить». Это так подействовало на молодых людей, что они попросили у него прощения, рассказали ему о своей жизни и потом не раз приходили к нему за советом и благословением.

Свободное время батюшка проводил в своем маленьком садике, позади дома, окруженном высоким забором. Он любил сам пересаживать молодые деревца, ухаживать за цветами.

Когда батюшка входил в сад, его окружало множество белых цыплят, которые ходили за ним, садились к нему на плечи.

В праздничные дни, когда за столом у батюшки собиралось довольно много гостей, он бывал таким веселым и приветливым, шутил и радовался маленькими радостями своих духовных детей, так что каждый чувствовал себя свободно и непринужденно. Казалось почти несущественным, что каждый незнакомый стук в дверь, каждый случайно зашедший человек, будь то почтальон или кто-нибудь другой, могли нарушить покой маленького домика, так что хозяин его должен был скрыться. Подобные инциденты бывали довольно часто. Это знали и чувствовали все, но страха не было. Находясь возле батюшки, каждый чувствовал над собою Покров Божьей Матери и ничего не боялся.

С батюшкой советовались обо всем, даже о какой-нибудь покупке или фасоне платья, ремонте или постройке дома. Батюшка был очень хорошо практически ориентирован и не только давал советы по многим вопросам хозяйства, строительства, но и сам мог выполнять многие работы и любил, чтобы все было сделано хорошо и во всем был порядок. Он находил время помогать в школьных занятиях детям родственников (тех, у кого он жил), которым трудно было учиться» [102-104].

«Любя жизнь во всех ее проявлениях и труд умственный и физический, батюшка никогда не оставлял и «память смертную». Однажды Л., по просьбе батюшки, привезла ему гвоздей для каких-то строительных работ. Рассмотрев гвозди, батюшка отложил самые лучшие из них и дал К. И., чтобы она спрятала. «Эти гвозди дорогие», — многозначительно сказала Леночке К. И., но Леночка не поняла к чему это относится⁵. Когда Леночка пришла в день кончины батюшки, она увидела эти гвозди. Они должны были послужить для сколачивания гроба. Батюшка за несколько лет до этого приберег их на день своего погребения.

Батюшка придавал большое значение благоговейному отношению к смерти. Он очень сокрушался, когда во время войны в народ был брошен лозунг «презрения к смерти». «Куда же еще дальше идти?» — говорил он.

Ничто не казалось батюшке мелким или неважным. Он внимал во все интересы, зная, что за каждой вещью, принадлежащей человеку, скрывается какое-то движение его души. Иногда при-

⁵ Леночка — судя по тексту рукописи, это сестра В. Я. Василевской, ранее обозначавшаяся Л.; К. И., очевидно, хозяйка дома, где жил о. Серафим.

везешь батюшке что-нибудь, например, яблоко или апельсин. Он с благодарностью принимал все и затем часто возвращал привезшему как свое благословение, и вещь эта доставляла получившему ее особенную радость и утешение. Ведь в нашем повседневном быту мы почти постоянно утрачиваем чувство, что все, что мы имеем, каждый кусок хлеба — дар Божий. Без благословения Божьего вещи становятся мучительно мертвыми, перестают радовать, становятся или безразличными, или враждебными. Батюшка одним своим словом, одним прикосновением, своим присутствием даже восстанавливал правильное отношение к вещам. Призывая благословение Божие, он возвращал вещам жизнь, а людям — радость жизни» [104-105].

«Батюшка высоко ценил труд и считал клеветой на христианство разговоры о том, что труд является проклятием для человека. Труд, как и наука, по словам батюшки, имели свое начало еще до грехопадения, когда Бог дал человеку Эдем для того, чтобы его «хранить и возделывать» [110].

«Батюшка очень отрицательно относился к тем, кто свое недобросовестное отношение к работе пытался прикрывать «принципиальными» соображениями. Ни при каких обстоятельствах он не допускал мысли о вредительстве или обмане при исполнении гражданских обязанностей. Но когда духовное лицо слишком горячо занималось общественной деятельностью, батюшка считал это явление довольно грустным.

«Несмотря на мое глубокое отношение к о. Павлу Флоренскому, — говорил он, — мне было грустно, когда я однажды встретил его на одной из центральных улиц Москвы, очень спешившего по делам ГОЭЛРО (Государственного плана электрофикации) с пачкой бумаг в портфеле» [110].

Батюшка не любил насиловать чью-либо волю, послушание должно было быть добровольным. Те, кто думал иначе, не понимали сущности его руководства.

— Она по неразвитости так говорит: «Батюшка велел, батюшка не велел», — говорил он об одной своей духовной дочери. — «Батюшка ничего не велит».

Однажды одна молодая девушка, расстроившись от того, что батюшка не дал ей благословения ехать к жениху в ссылку, сказала: «Больше, батюшка, я к вам не приеду!» — «Сама не приедешь, Матерь Божия силком приведет», — ответил батюшка» [113].

«Исповедь батюшка обычно начинал словами: «Ну, как мы с вами живем?». Так что она носила характер обсуждения всей жизни, всего того, что могло, в правильном или искаженном виде, дойти до сознания. Но батюшка видел глубоко и знал лучше меня, что происходило в моей душе, и освещал темные для меня стороны моих же собственных поступков или переживаний. «Вот видите, как трудно разобраться», — говорил он, указывая на то, какую опасность представляет для души жизнь без руководства, как легко увлечься стихиями мира или соблазнами, свойственного человеку самообмана и самообольщения. Иногда, если долго не удавалось бывать у батюшки, я излагала свою исповедь в письменном виде и передавала через близких.

Приехав к о. Серафиму, я находила это письмо у него в руках, подчеркнутым в разных местах красным карандашом. Он заранее знакомился с ним и отмечал те места, на которые считал необходимым обратить мое внимание» [114].

Война перевернула обычную жизнь загорской общины. 22 июня В. Я. была у о. Серафима. «Духовные дети батюшки приезжали из Москвы, из окрестных мест, чтобы получить указания, как быть, что предпринять, куда девать семью, детей, имущество; оставаться ли на месте или уезжать в эвакуацию и т. п. Батюшка должен был взять на себя всю тяжесть их решений, он должен был взвесить и определить место и судьбу каждого, успокоить всех, внушить веру и уверенность в правильном отношении к грядущим испытаниям по мере сил каждого. Наконец очередь дошла и до меня. Когда я вошла, батюшка сказал: «Ну вот, и дождик прошел, а мы с вами гулять уже не пойдем». Я была очень возбуждена и говорила о том, что охотно бросила бы все и пошла бы сестрой милосердия на фронт. Батюшка остановил меня. — «В вас говорит увлечение, — сказал он, — ваше место не там. Вы должны оберегать детей. Завтра же перевезите Леночку с детьми в Загорск, найдите где-нибудь комнату в окрестностях. В Москве дети могут погибнуть, а здесь их преподобный Сергей сохранит».

Прощаясь, батюшка особенно горячо благословлял каждого из своих духовных детей. Он знал, что каждого ждали тяжелые испытания: одних — смерть, других — потеря близких, третьих — болезни и скитания, многих — тюрьма, всех — лишения, голод и опасности. «Начинается мученичество в России», — сказал батюшка. И в этот страшный день особенной непреодолимой силой прозвучали слова: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани Твоею благодатью» [115-116].

Родственники и знакомые отнеслись к переезду Лены — сестры В. Я. — в Загорск крайне отрицательно. «Какое право имеете вы рисковать жизнью детей» — говорили они. Но мы **знали**: их сохранит преподобный Сергей. — «Сюда неприятель не придет, даже если он будет совсем близко, даже если ему удастся захватить Москву», — говорил батюшка» [118].

«Батюшка говорил, что война эта не случайно началась в день всех русских святых и значение ее в истории России будет очень велико. На вопрос «Кто победит?», который задавали ему все, он отвечал: «Победит Матерь Божия». Многие задавали вопрос, — как молиться об исходе войны. Батюшка отвечал: «Молитесь: да будет воля Твоя!»

Фашисты казались мне носителями темной силы. Однажды я сказала батюшке: «Мне кажется, ни один христианин не может быть фашистом». — «Ни один христианин такого креста не примет», — сказал батюшка и начертал в воздухе знак свастики» [118].

Ездить в Загорск с каждым днем становилось В. Я. все труднее. «Неприятельские войска были настолько близко к Москве, что железнодорожное сообщение было затруднено, а проезд, даже на такое расстояние, как Загорск, мог быть допущен лишь по особому разрешению. Мои поездки в Загорск продолжали быть регулярными, но каждая из них становилась чудом — чудом, которое совершал преподобный Сергей по молитвам батюшки» [125]. «Я сама была почти пассивна, стараясь лишь чаще повторять молитвы, вспоминая слова батюшки: «Держитесь за ризу Христову!» Жизненно важное значение этих слов ощущалось в те трудные дни с особенной, недоступной нам в обыденной жизни остротой» [126].

В первую же военную зиму о. Серафим заболел. О болезни своей он, вероятно, знал уже давно, но не желая огорчать своих духовных детей — скрывал от них. Однажды, когда В. Я. просила у о. Серафима совет, как ей быть — уезжать ли из Москвы или оставаться, о. Серафим не дал прямого ответа. «Поезжайте в Москву, — сказал батюшка, — почитайте там три акафиста: Спасителю, Божией Матери и Святителю Николаю — и тогда, что вам Господь положит на сердце, то и сделайте!» (...) Я поняла одно: батюшка уходит от нас и хочет приучить нас к самостоятельности» [135]. Скоро В. Я. узнала, что батюшка болен раком.

«В день преподобного Серафима (2/15 января) батюшка вдруг почувствовал прилив сил. Он встал и отслужил литургию.

Она была последней. Больше он не вставал. Батюшка почти ничего уже не мог есть, да и, несмотря на все старания его духовных детей, не всегда можно было найти то, что было нужно» [136].

«Однажды в день святителя Спиридона батюшка попросил П., сестру К. И., принести ему с базара свежей рыбы. П. предупредила батюшку, что достать свежую рыбу сейчас почти невозможно, на что батюшка уверенно ответил: «Не беспокойся, мать, тебе святитель Спиридон пошлет».

Когда П. пришла на базар, она увидела небольшую группу женщин, окруживших старика-торговца. Старик принес для продажи немного свежей рыбы. Заметив П., он отдал ей свою рыбу и скрылся в толпе, к удивлению и негодованию окружающих его женщин.

Вернувшись домой, П. рассказала об этом удивительном происшествии батюшке. Батюшка попросил ее описать наружность старика, отдавшего ей рыбу. Когда она это сделала, они убедились в том, что это был никто иной, как святитель Спиридон» [136-137].

Последняя встреча В. Я. с о. Серафимом произошла за несколько дней до его смерти. «Много мыслей мелькало у меня в голове, но все они в этот момент казались лишними. Я не могла говорить. Тогда батюшка заговорил сам тихим и ласковым голосом: «Говорите, что вам нужно, пока я совсем не ослабел». — «Батюшка, — сказала я, — простите меня за все, за все огорчения и неприятные минуты, какие я вам доставила».

— Нет, нет, — оживился батюшка, — ничего такого не было. А прощения мы должны просить друг у друга... И Леночке передайте». «Теперь для меня нет ничего, кроме вашего благословения», — добавила я. «Вот так-то и лучше, — ответил батюшка, — Господь вам многое пошлет, только живите так, как вы живете. Разбирайте жизнь понемногу...» Эти последние слова батюшка произнес особенно тихо и медленно, по-видимому, утомившись» [139].

Позднее все, кто находился в доме, «вошли в комнату батюшки, чтобы начать вечернее богослужение — встречу Великого поста.

Слабым, но чистым голосом батюшка сам начал пение ирмоса Великого канона «Помощник и покровитель бысть мне во спасение». Необычайной силой звучали эти слова в устах умирающего. Это был не только итог земного пути, эти слова, которыми Церковь начинает ежегодно Великий пост, открывая всем верным

дверь покаяния, открывали перед ним в этот час врата жизни вечной» [139].

Отец Серафим умер 19 февраля 1942 года. «Его похоронили тут же в его «катакомбах», под тем местом, где находился Престол, — как это делали в Церкви первых веков» [142].

Редактор рукописи сообщает, что в 1943 г., после разгрома загорской общины, гроб с телом о. Серафима был выкопан сотрудниками госбезопасности, увезен, вскрыт и сфотографирован. Затем тело было предано земле. Люди, близкие к отцу Серафиму, проследили место погребения и поставили над могилой крест. Много лет спустя, в связи с закрытием этого кладбища, тело было перенесено на другое загорское кладбище, где оно покоится и ныне [153].



С о. Петром В. Я. познакомилась в Загорске у о. Серафима.

«Однажды, когда я пришла к батюшке, у него сидел незнакомый мне человек и что-то писал. Это был отец Петр. «Возьмите благословение», — сказал батюшка. Я подошла к о. Петру. Он встал и благословил меня. После батюшка благословил меня: «Вы одни не останетесь: не будет меня, будет о. Иеракс⁶, не будет о. Иеракса, будет о. Петр» [114].

О. Петр (Петр Алексеевич Шипков — 1881-1959) был рукоположен в 1921 году патриархом Тихоном и одно время был его секретарем. Примерно в то же время, что и о. Серафим, о. Петр ушел в катакомбы. На его долю выпало немало страданий — в общей сложности около 30 лет провел о. Петр в лагерях и ссылках. Свой земной путь он окончил будучи настоятелем собора в г. Боровске.

О. Петр стал духовным отцом В. Я. после смерти о. Серафима, в феврале 1942 г.

«В этот период о. Петр жил в Загорске, работал на кустарной фабрике бухгалтером и одновременно продолжал свою деятельность священника в сравнительно узком кругу своих духовных детей» [144].

⁶ Иеромонах Иеракс (Бочаров), духовный сын о. Серафима. Жил на нелегальном положении под Москвой, в Болшево, у одной из своих духовных дочерей. Хозяйка вынуждена была скрывать от родных, что на чердаке у них находится церковь и живет священник. О. Иеракс был арестован в 1943 г. Впоследствии был освобожден и реабилитирован. Однако после лагеря и ссылки служить уже не мог. Умер в г. Владимире, будучи пенсионером Патриархии.

Духовное руководство о. Петра продолжалось меньше двух лет. Он, — пишет В. Я., — «прекрасно понимал многообразие деятельности священника и нисколько не осуждал тех, кто стремился быть аскетом, или богословом, или проповедником, или старцем, но сам он нашел свое место в Церкви и твердо верил в свое призвание.

Церковь с ее человеческой (а не мистической) стороны он понимал как единую семью, в которой никто не может быть одинок. Идеалом Церкви для него было общество людей, единых по духу, которые могут с чистой душой сказать: «Христос посреди нас!» [151]. «Я не аскет, не мистик и не философ, — говорил о. Петр в одном из писем к В. Я. — Я смиренный служитель Церкви Божией не по достоинствам и заслугам своим, но единственно по Его неизреченной милости, принявший от Него власть вязать и решать грехи человеческие Его Святым Именем; питая их Божественной пищей: Телом и Кровью Христовыми, возносить за них молитвы пред Престолом Господним. В простоте сердца и ума своего склоняюсь перед Божественной Любовью, Правдой и Красотой, с благодарением повергаюсь в прах перед бесконечным к нам милосердием Божиим и призываю других это делать. Помогите, Господи, нам нести свой жизненный крест и да будет во всем Воля Твоя! Молитва и, главное, Таинства Св. Церкви и, прежде всего, Причащение Св. Тела и Крови Христовых поддержат на этом пути, дадут возможность непрестанно бороться с исковыми врагами, исполняют кротости и смирения и укрепят Веру. Исполняют сердце ваше миром и радостью о Духе Святом, Господь, призвавший вас в Свою Святую Церковь, Ему Одному ведомыми путями доведет Вас до спасения. «В доме Отца Моего обители многи сущи» (Иоанн 14)» [150].

«Однажды мне удалось приехать в Загорск для того, чтобы попросить о. Петра помочь мне разрешить один практический вопрос: можно ли мне заняться теперь же подготовкой к защите диссертации. Этот вопрос был труден потому, что до войны о. Серафим не благословил меня на это дело. Но прошло несколько лет, и многое изменилось. Тогда о. Серафим говорил о другом периоде моей жизни. А теперь нельзя ли поставить этот вопрос вновь? О. Петр не хотел один решать этот вопрос. Он снова предложил пойти с ним вместе к матушке Марии для того, чтобы решить его совместно с ней или, быть может, предоставить ей это решение⁷. Матушка сказала, что работать над диссертацией мне теперь не только полезно, но и необходимо. О. Петр принял ее со-

вет и решение. Таким образом работа над диссертацией стала для меня не чем-то посторонним или нейтральным для внутренней жизни, но делом послушания» [151-152].

О. Петр относился к матушке Марии с глубочайшим доверием и уважением. «Незадолго до своего ареста он приехал к ней и со слезами просил ее принять его духовных детей, когда он будет далеко. «Уж моих-то вы примите», — говорил о. Петр» [152].

В конце 1943 г. о. Петр был арестован. Вместе с ним арестовали и монахиню, хозяйку дома, в котором служил о. Серафим. После этого для В. Я. наступила трудная пора: в церковь она не ходила, связь же с «катакомбами» с арестом о. Петра прервалась. Так продолжалось до 1945 года, когда получено было письмо, подписанное еп. Афанасием, о. Петром и о. Иераксом с разрешением ходить в церковь и причащаться. Некоторое время В. Я. сомневалась — ведь подписи могли оказаться поддельными. В конце концов она решила посоветоваться с матушкой Марией. «Матушка встретила меня словами: «Вы в какую церковь ходите?» Вместо ответа я расплакалась. Матушка успокоила меня и сказала, что в подлинности письма сомневаться нет оснований. И о. Петр через кого-то передал: «В храм ходить можете и причащаться, но с духовенством сближаться подождите».

В московских храмах началось оживление: появились хорошие проповедники, в некоторых церквях проводились целые циклы бесед на определенные темы. В одном доме велись специальные беседы с детьми. Беседы сопровождались диапозитивами, иллюстрирующими тексты Ветхого и Нового завета» [115].

Об о. Петре ничего не было известно в течение пяти лет. Наконец В. Я. удалось узнать его адрес. Она написала ему и получила ответ, который мы приводим полностью в приложении.

Лагерь и ссылка не сломили о. Петра. Разлуку с близкими и невозможность причащаться и служить он рассматривает не как зло и несчастье, но как путь, ведущий к Царству Истины и Благодати. «Про себя скажу, — заканчивает он свое письмо из ссылки, — что чувствую я себя неизмеримо лучше, чем 5 лет назад, все более и более убеждаюсь, как действительно Господь посылает нам именно нужное и потребное ко спасению» [159]. Ни перенесенные страдания, ни отрыв от храма не затемнили той высокой духовной радости, в которой он жил. «Ни в письмах,

⁷ Схиигуменья Мария (умерла в г. Загорске на 81 году жизни) в течение долгого времени была духовной наставницей многих людей. (Прим. редактора рукописи).

ни в личных беседах после возвращения из ссылки, — вспоминает Б. Я., — о. Петр не упоминал о тех ужасах, грубостях, жестокости, насилии, какие ему пришлось пережить и какие происходили у него на глазах» [160].

В 1950 г. о. Петр писал В. Я. из ссылки: «Слава Богу, в этом году я мог сравнительно спокойно предаваться дорогим воспоминаниям и переживаниям, что давало утешение и умиление. Пасхальную ночь я провел один. Все почивали мирным сном, и ничто не мешало мне углубиться и сосредоточиться. Как полагалось, свои «воспоминания» я кончил в 3 часа ночи и пошел на место дежурства, а на дворе была метель. С трудом, проваливаясь ежеминутно, я перебрался через низину и благополучно попал в свою сторожку (...).

Всем шлю горячие пасхальные приветствия с молитвенными пожеланиями всяких радостей и утешений. Огорчения, досадные мелочи, естественные в нашем мире печали и слез, без них никак не обойдешься, лукавый подсовывает их нам в минуты самых возвышенных и светлых переживаний, но пусть они не проникают в самую глубину души, и пусть сердце не охладевает любовью совсем, и мир Божий да не оставляет нас немощных совершенно» [159].

«Он осуществил, — напишет позже В. Я., — высший подвиг в этом страшном мире, потому что он исполнил слова апостола: «Всегда радуйтесь!» [160].



Из ссылки о. Петр вернулся тяжело больным человеком. Еще в лагере ему был поставлен диагноз — рак кожи. Однако, несмотря ни на что он захотел получить приход и вскоре был назначен настоятелем собора в г. Боровске Калужской епархии. «В Боровске начался новый период его жизни. Жил о. Петр. в доме церковного старосты, пожилой женщины. Она занимала две большие комнаты во втором этаже. На первом этаже жили ее дети и внуки. Комнатка, в которую поселился о. Петр, была настолько мала, что в ней не помещалось ничего кроме узенькой кровати, на которой он спал, маленького столика и полки с книгами. Обедал и принимал посетителей о. Петр в комнате старосты. Это было для него очень тяжело. Он не имел возможности ни с кем поговорить наедине. Хозяйка прислушивалась ко всем разговорам и часто вставляла свои реплики. Это очень огорчало о. Петра. Он жил одиноко и с большим радушием принимал всех

приезжавших к нему. Ему так хотелось побыть наедине с гостем, поговорить обо всем. Если приезжий выражал желание исповедаться, о. Петр уходил с ним в свою крошечную келью.

Целью, средоточием всей его жизни была литургия. Он вставал до рассвета, чтобы подготовиться к служению, и молился в своей келье до того момента, когда надо было идти в собор. Он жил в храме, в богослужении.

Во время литургии он преображался. Старость, усталость, болезнь словно отступали от него. Голос его становился бодрым и чистым. Он был полон силы и энергии и как бы летал по храму, восхищенный и счастливый. Прихожане говорили о нем: «Летающий батюшка!». В этом не было экзальтации. Это было торжество духа, «пар веры», по слову Иоанна Златоуста.

Служил о. Петр всегда один. Его отношение к богослужению исключало возможность совместного служения с теми, кто не был единомышлен с ним. Помню случай, когда о. Петр решительно отказался служить вместе с одним из священников близлежащей церкви» [161-162].

«В общении с народом о. Петр был прост и сердечен. Его любили и ценили все. Помню его на улице Боровска, окруженного детьми, которые всегда приветствовали его, которых он благословлял в поход за грибами. Но он был тверд в тех случаях, когда дело касалось Таинств Церкви. Так, в большой праздник, когда из деревень привезли много детей для крещения, о. Петр сразу заметил среди приехавших молодых крестных легкомысленное настроение молодых людей. Отец Петр громко сказал: «Неверующие крестные отойдите, пусть одна верующая крестная останется».

Отец Петр имел обыкновение поминать каждый день не только всех своих духовных детей, но и всех, кто хоть раз пришел к нему в храм с просьбой о поминовении. Каждый поминаемый становился для него своим, и он хранил молитвенную память о нем на всю жизнь.

Если была малейшая возможность, он считал своим долгом сам отпеть и проводить в последний путь того, о ком он постоянно молился. Уже совсем больной, лежа в постели, он огорчался, когда узнавал, что его заменил в этом деле другой. По своему смирению о. Петр отказывался от старческого руководства, хотя у него были для этого все данные. По этой же причине он уклонялся и от богословствования (в узком смысле этого слова)» [163].

Два года подряд (в 1957 и 1958 гг.) В. Я. проводила отпуск в Боровске. Свободного времени у о. Петра было очень мало,

беседы их были нечасты, «но мне хотелось бы, — пишет В. Я., — собрать и то небольшое, что удалось уловить в его отношении к ряду вопросов».

«Радовало прежде всего его искреннее, личное, широкое отношение к вопросам духовной жизни. Так, например, понимая литургию как нечто единое, он сознавал, что в душах людей она преломляется многообразно. «Все доброе производит благодать, — говорил он, — благодать одна, как и литургия одна, но как многообразно она действует в душах человеческих, для каждого в своей мере, сколько кто вместить может».

«И в природе благодать, и пение птиц в лесу — литургия. Православие не старообрядчество, в нем есть широта всеобъемлющая».

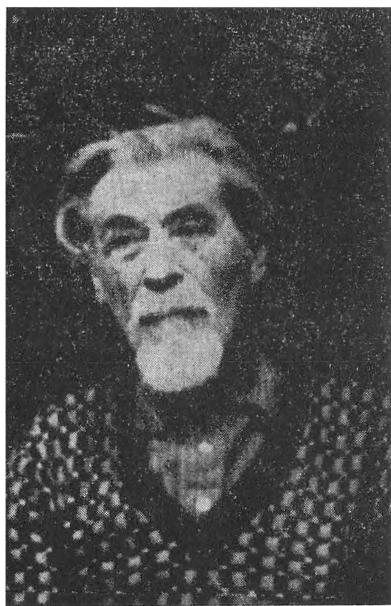
У о. Петра не было и тени того, почти сектантского понимания православия, с которым мы и сейчас нередко встречаемся. Есть еще до сих пор люди, которые отшатываются от западного христианства, как от чего-то чуждого и даже враждебного. Есть и такие, которые считают, что православный священник не должен заниматься «светскими» науками или интересоваться искусством. О. Петр был чужд этих предрассудков. «Церковь едина, — говорил он. — О соединении всех мы молимся за каждой литургией. И у католиков благодать есть. У них было много тяжелых ошибок, но и у нас они были. Спаситель не узнал бы в нас Своих учеников (стихи Майкова). А читать и изучать все нужно, кто что может, и всякий труд может быть во славу Божию, и на всяком месте можно христианское дело делать» [164-165]. «Каждая душа, — говорил о. Петр, — может возрастать соответственно своим особенностям. Будущая жизнь — продолжение земной жизни и возрастание каждой души будет там продолжаться».

О. Петр всегда предостерегал от мрачности, уныния, отчаяния, чувства безысходности. «Чувство безысходности бывает, — говорил он. — Но ведь даже в классической древности существовало не только понятие **фатума**, но и понятие **катарсиса** — очищения через страдание».

О. Петр умел разгонять мрак в душе человека. «Иногда, — говорил он, — болезнь кажется все хуже, а смотришь — и больной выздоровел. Блажен, кто не сомневается в том, что избирает, тогда не будет двойственности. И о грехах отчаиваться нельзя, но плакать и просить помощи».

Однажды я рассказала о. Петру об одном факте, который мы наблюдали с Павликом, когда были в Глинской пустыни.

Вместе с одним молодым монахом Павлик шел рано утром на сенокос (монастырь тогда еще имел свои луга и коров, и всех молодых людей привлекали к помощи в сельскохозяйственных работах). Павлик обратил внимание своего спутника на облака, окрашенные восходящим солнцем. Но молодой инок даже не поднял глаз: «Я не для того в монастырь пришел, чтобы красотой любоваться, а для того, чтобы о грехах плакать», — сказал он. Выслушав этот рассказ, о. Петр сказал: «Это неверно, что если кто хочет о грехах своих плакать, то и небом любоваться нельзя. Напротив, когда придешь в умиление и восторг от созданной Богом красоты, тогда и грехи свои живее чувствовать будешь». Во внутренней жизни о. Петр всегда советовал идти **р о в н ы м п у т е м**, надо стремиться к большим дарованиям, но не спешить. «Надо всем же иметь щит веры, которым возможете все стрелы лукавого угасить».



о. Петр

«Без любви ничего нельзя сделать, а любовь будет тогда, когда один будет стараться для другого, а другой для первого, тогда и в семьях мир будет».

О. Петр был всегда деятелен, бодр, быстр в движениях. В собор он всегда шел таким быстрым шагом, что трудно было идти с ним рядом» [165-166].

В последний год своей жизни о. Петр взвалил на свои плечи огромный труд — внешний и внутренний ремонт собора. «Делу этому он посвящал дни и ночи. Всю счетную, бухгалтерскую часть работы он взял на себя (теперь ему пригодилось его знакомство с бухгалтерией). Ему приходилось иметь дело со множеством людей различных профессий для осуществления всех работ по ремонту. Со всеми надо было договариваться, многих приходилось контролировать, следить за различными видами работ, планировать их. Возникало много трудностей. Приходилось иметь дело и с представителями местной власти. Средств на ремонт собора не хватало. О. Петр вложил в это дело все свои личные средства» [167]. «Какой радостью было для него окончание ремонта! Собор стал неузнаваем. Он стал украшением города» [168].

«Между тем, болезни, с которыми он приехал из лагеря, давали себя знать. Скрытое заболевание перешло в болезнь крови. О. Петр работал за счет своего сна и отдыха» [168].

В начале лета 1959 года о. Петр слег и больше не вставал. Вскоре он был отправлен в больницу, где и скончался 3 июля 1959 года.

«Хоронить о. Петра вышел буквально весь город. Гроб несли на руках по главным улицам города, за гробом шел крестный ход с хором, а затем народ. Священники время от времени останавливали процессию и служили панихиду. Пение «Святый Боже» и «Помощник и Покровитель» не прекращалось на протяжении всего пути» [176].



В свои воспоминания В. Я. Василевская включила несколько писем к ней о. Серафима и о. Петра. Два письма мы приведем полностью.

Письмо о. Серафима В. Я. Василевской. 25 марта 1937 г.

Апостол Иоанн Богослов в Первом соборном послании, в 4-й главе ясно и определенно предостерегает, чтобы человек не каждому духу верил, но испытывал духи, чтобы он познавал Духа Божия и духа лести. Св. апостол так определяет: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, во плоти пришедша, от Бога

есть. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, во плоти пришедша, от Бога несть, и сей есть антихристов. Действительно, человек олицетворяет жизнь своим духом, и потому польза или вред человеку и от человека определяется тем духом, какой он носит в себе и которым дышит; отсюда не только важно, но и необходимо для человека, чтобы он знал, какой дух в нем действует, каковым направляется его воля. Когда апостолы, оскорбленные за неприятие Самарией их Учителя и Господа, обратились к Иисусу Христу с просьбой разрешить им молитвою низвести с неба огонь, чтобы поглотить недостойных самарян, Господь, останавливая их, сказал: «Не знаете, какого вы духа». Действительно, только день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа разрешил им, что не охватывало их сердце, ни ум их в то время.

Подобным образом не в состоянии охватить ни отдельный человек, ни все человечество вместе, со всей его так называемой культурой, того смысла жизни, к которой призывает и ведет Господь, если человек не постигнет полноты Святого Духа, того, что исповедует Святая Православная Церковь всеми ее таинствами. Стяжание Духа Святого! Оно не только открывает не действовавшее ранее тайное души человеческой, но и подает силы выявлять его.

Обратимся к прошедшему. Что случилось с вами? Откуда взялись благодатные движения, отображенные в последнем письме вашем? Умудренные благодатным опытом говорят: единственное состояние духа, через которое входит в человека все духовные дарования, есть смирение. Что же представляет из себя смирение? Мы скажем: это непрестанная молитва, вера, надежда и любовь трепетной души, предавшей свою жизнь Господу. «Агница твоя, Иисусе... зовет великим гласом: Тебе, Женише мой, люблю и Тебе ищущу, страдальчеству, сраспинаюся и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу Тобою, но яко жертву непорочную прими мя, с любовью пожертвуюся Тебе. Твоя молитвами, яко жалостлив, спаси души наша». Смирение есть дверь, отверзающая сердце и делающая его способным к духовным ощущениям. Смирение доставляет сердцу невозмутимый покой, уму — мир, помыслам — немечтательность. Смирение есть сила, объемлющая сердце, отчуждающая его от всего земного, дающая ему понятие о том ощущении вечной жизни, которое не может взойти на сердце плотского человека. Смирение дает уму его первоначальную чистоту. Он ясно начинает видеть различие доб-

ра и зла во всем, а в себе всякому своему состоянию и движению душевному знает имя, как первозданный Адам нарекал имена животным по тем свойствам, которые усматривал у них. Смирением полагается печать безмолвия на все, что есть в человеке человеческого, и дух человека в этом безмолвии, предстоя Господу в молитве, внемлет его вещаниям. До ощущения сердцем смирения не может быть чисто духовной молитвы. Непрестанной памяти Божьего присутствия препятствует рассеянность наших помыслов, увлекающих наш ум в суетные попечения. Только тогда вся жизнь наша всецело направлена к Богу, человек делается спокойным и начинает верою во всем видеть Бога как во всех важных случающихся обстоятельствах жизни, так и в самонаималейших, — и во всем покоряться Его воле, без чего не может быть памяти Божией, не может быть чистой молитвы и непрестанной. Еще более вредят памяти Божией, а потому и молитве, чувства и страсти. Поэтому надо строго и постоянно внимать сердцу и его движениям, твердо сопротивляясь им, ибо увлечения уведут душу в непроницаемую тьму. Всякая страсть есть страдание души, ее болезнь, и требует немедленного врачевания. Самое уныние и другого рода охлаждение сердца и деятельности духовной суть болезни. Подобно, как человек, который был болен горячкой, по миновании болезни еще долго остается слабым, вялым, неспособным к делу, — так и душа, больная страстию, делается равнодушна, слаба, немощна, бесчувственна, неспособна к деятельности духовной. Это страсти душевные. На них вооружаться, бороться с ними, их побеждать — есть главный труд. Необходимо усердно трудиться в этой борьбе с духовными страстями. Молитва обнаруживает нам страсти, которые живут в нашем сердце. Какая страсть препятствует нашей молитве, с той и должны мы бороться неотложно, и сама молитва поможет в этой борьбе, и молитвой же искореняются страсти. Светильник, с которым девы могут встретить Жениха, есть Дух Святой, который освещает душу, обитая в ней, очищает ее, уподобляет Христу, все свойства душевные образует по великому Прообразу. Такую душу Христос признает Своей невестой, узнает в ней Свое подобие. Если же она не освещена этим светильником Духа Святого, то она вся во тьме, и в этой тьме вселяется враг Божий, который наполняет душу разными страстями и уподобляет ее себе. Такую душу Христос не признает Своей и отделяет ее от Своего общения. Чтобы не угас светильник, необходимо постоянно подливать елей, а елей есть постоянная молитва, без которой не может светить светильник.

Письмо о. Петра В. Я. Василевской. 1949 г.

Милость Божия и благословение Его да будут с Вами. От души благодарю Вас за сердечный привет и радуюсь несказанно тому, что Вы меня еще помните и питаете добрые чувства. Для меня самого жизнь в мире с его суетой, волнениями и тревогами окончилась 5 лет тому назад, а с тех пор я как бы жил в многолюдной обители, где нес свое послушание, а теперь нахожусь в тихой пустыньке, нахожусь в самом величественном храме природы, бессловесно возносящей непрестанную хвалу Создателю, где я прохожу определенное мне скромное послушание.

Прошедшее замерло для меня на той точке, в какой застало меня 25 декабря. В мыслях и перед глазами все время стоят светлые облики близких по плоти и духу людей, тогда меня окружавших. Я продолжаю их видеть, с ними беседовать, с ними молиться. Радуюсь их радостями и благодарю за это Бога, печалюсь их печалью и горем, соскорблю им и соболезную. В этом и состоит моя настоящая жизнь, за которую я могу только от всего сердца благодарить Бога. Грущу только, что пока лишен утешения в таинствах, но вспоминаю древних отшельников, чем и утешаюсь.

Кругом здесь царствует мир и покой, невозмутимая красота и прелесть природы. Величественно и грандиозно возвышаются к небу громадные сосны и лиственницы, как некие свечи перед Господом, радуют взор белоснежные стволы березок с их пахучими ветками, напоминая о наших недостатках, влекущих нас долу.

Внизу привлекает взор чудесный ковер из самых разнообразных цветов и растений: лилий, тюльпанов, ирисов, гвоздичек, фиалок и прочих — всех не перечесть. Среди травы краснеется земляника и вот-вот поспеет клубника, которую, говорят, собирают здесь в июле ведрами. Воздух оживляется пением пернатого царства, но сейчас, после Петрова дня, они и здесь умолкают. Среди всего этого совсем не чувствуешь себя одиноким, а сливаешься как-то со всем воедино невольно и как бы сам принимаешь участие в их общем чудном хвалебном гимне Творцу.

В ответ на Ваше письмо о детях скажу: трудно сейчас молодежи сохранить себя от всяких соблазнов и искушений и сберечь свою душу, но надеюсь и верю, что Господь, по предстательству нашего общего покровителя преподобного Сергия и по ходатайству их крестного, даст им возможность преодолеть все препятствия.

Что же касается Вас лично, то Вы правы: к сожалению, сейчас мы все лишены тех духовных наставников, которые живым словом помогали бы нам направлять свой внутренний корабль к спасительной пристани. У нас осталось прежде всего вечная Книга книг, а затем творения как древних отцов, так и позднейших: епископа Феофана Затворника, епископа Игнатия Брянчанинова. Творения первого — это такие перлы, в которых Вы найдете все необходимые указания, как строить внутреннюю клеть души ко спасению, найдете исчерпывающее разрешение всех недоумений, вопросов и колебаний, неминуемо возникающих на практике. К ним я Вас и направляю: епископ Феофан, с которым Вы, со своим духовным багажом, вполне справитесь и найдете удовлетворение; епископ Игнатий нам, простым смертным, ближе, понятнее, но тоже в своих советах и указаниях велик и очень полезен.

Собственные наши рассуждения и умствования так слабы и бесцветны перед этими могиканами духовной мысли и делания, как ничтожны и мелки все наши слова, речи и проповеди в сравнении, например, с огласительным словом св. Иоанна Златоуста в неделю Пасхи.

От себя добавлю еще — живите попроще, не особенно мудрствуйте, несите благодушно тот жизненный крест, который возложил Господь, как самый легкий для Вас и спасительный. Старайтесь только сделать в своем положении в настоящее время максимум добра людям, тогда покой, мир и радость воцарится в Вашей душе, и Вы начнете уже ощутительно предвкушать начаток блаженства. Про себя скажу, что чувствую я себя неизмеримо лучше, чем 5 лет назад, все более и более убеждаюсь, как действительно Господь посылает нам именно нужное и potřebное ко спасению.

Нет больше ни тревог, ни волнений, не страшит будущее, а за настоящее благодарю Бога.

Борьба за Церковь

МОЛДАВСКАЯ ССР

Католиков (поляков и немцев)
около 15 000.

После разрушения католического костела — дома молитвы в Рашково (25. XI. 77 г.), католики обратились в Москву с жалобой, но Москва подтвердила, что это сделано по приказу Москвы, так что справедливости в Москве нет смысла искать.

На Рождество 25. XII. в том месте, где был алтарь костела, люди поставили елку, украшали и собравшись молились и пели религиозные рождественские песни. По веками существующему обычаю католики на Рождественские праздники навещают друг друга, поют рождественские песни и из дома в дом идут все вместе. Так они выражают радость, как пастухи возвещают друг другу о рождении Иисуса Христа.

В этом году в Рашково член КПСС Погребной Иван Филиппович, нештатный сотрудник КГБ, заявил, что посещать соседей по поводу Рождества запрещено, приказал убрать елку и угрожал, что будут наказывать молящихся. «Это приказ Москвы» — заявил он Валентине Олейник и другим женщинам, которые были у В. Олейник — Олейник Броида, Просяна Мария и Погребная Евдокия.

Возмущенные люди, что им запрещают даже по-человечески встречаться на праздники, не обращая внимания на угрозы, пошли группами по домам, елка разукрашенная, вся гирляндами освещенная, напоминала всему селению, что на этом месте так недавно был костел, алтарь, Пресвятые Тайны...

Когда ночью люди вернулись домой из рождественской прогулки, елка была перевернута, украшения разбиты.

Председатель Каменского райисполкома Кожухарь, в канун Рождества пришел к Валентине Олейник и потребовал, чтобы иконы, которые были в их костеле, она раздала людям, в противном случае «я сам их сожгу» — пообещал председатель. Это его обещание слышали кроме В. Олейник Олейник Броида и Просяна Петронеле.

Местные власти сейчас преследуют почти каждого католика в отдельности, угрожают, что готовят выселение семей верующих. Запрещают молиться вместе, ссылаясь на то, что не имеют официально зарегистрированного церковного комитета (двадцатки), а когда люди многократно обращались к местным, республиканским и союзным властям, прося и требуя зарегистрировать Комитет, власти к этим просьбам и требованиям остаются глухими.

Когда Валентина Олейник и другие католики из Рашково жаловались заместителю уполномоченного по делам религии и культа в Москве на то, что в день разваления костела 25. XI. 77 г., ее, В. Олейник, и других женщин полураздетыми вывезли на поле за 70 км. от Рашково (уже на Украину) и там продержали целый день, заместитель уполномоченного Куроедова принял жалобу В. Олейник за клевету на советскую власть. Тогда Валентина Олейник назвала имена и фамилии шести женщин-пенсионерок и одного мужчины, они и свидетели и пострадавшие:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Валентина Олейник, | 2. Погребная Анна, |
| 3. Саевский Михаил, | 4. Саевская Юлия, |
| 5. Саевская Анна, | 6. Ряба Евдокия, |
| 7. Макар Аполония, | 8. Погребная Юлия. |

(Однофамильцы — не родственники, это только совпадение фамилий).

В г. Бельцы, где католики тоже бесчисленное число раз обращались к властям с просьбой зарегистрировать двадцатку, в последнее время власти потребовали представить список всех католиков (их в Бельцах насчитывается свыше 1 500). Но верующие не согласны с таким беззаконием и отказались властям представить список католиков.

В 1977 г. большинство католиков Молдавской ССР остались без Рождественской исповеди и Богослужения в связи с усиленным преследованием и препятствиями ксендзу разъезжать и обслуживать единоверцев.

4. I. 78 г. ксендз снова обратился в республиканское ГАИ в Кишиневе по поводу отобранных номеров и документов его машины Волга. Все сотрудники ГАИ от секретарши до начальника пожимают плечами, удивляясь, почему эти документы оказались у них, не по назначению, но никто не имеет права их вернуть. Ответ остался тот же самый, который дал ксендзу майор милиции Довенко, когда отобрал номера и документы: «Советской власти

60 лет, думаете, что мы не сильны и разрешим Вам поднимать на ноги всю Молдавию?» Причина одна, не только строго запрещать выезд даже к больным и умирающим, но до минимума свести все возможности выезда, имея в виду расстояния между населенными пунктами католиков и занятость ксендза в Кишиневе, разъезды на общественном транспорте практически невозможны.

Власти не считаются с человеческим достоинством. Когда люди с Рашково обращались за помощью в Международную Организацию Красного Креста, получили письменный ответ в бесцеремонно разорванных конвертах. На их негодование работник почты ответил: не вам нас учить! Как тогда понять статью Советской конституции о гарантии гражданам сохранения тайны переписки, телефонных переговоров и т. п.

Разорванные письма, особенно из Польши и Германии (ФРГ), получает и сам ксендз.

Ксендзу по-прежнему не разрешают за пределами г. Кишинева обслуживать даже умирающих. Католичка из Крикова (12 км. от Кишинева) — Ольга Франк по этому поводу обращалась в Кишинев к уполномоченному, один из его заместителей проговорился и прочитал ей документ, которого не показывают верующим, что обслужить больных, умирающих и вообще единоверцев ксендз имеет право в любое время и в любом месте республики без всяких справок и спроса властей, а эти справки от врача, от местных властей, от районных властей и от уполномоченного — произвол уполномоченного над католиками, разумеется, не без «благословения» Москвы. Поэтому подобных справок никто и не выдаст. Когда Ольга Франк напомнила уполномоченному Виконскому об этом разговоре с одним из его подчиненных (фамилии не удалось узнать), тот ответил, что этот сотрудник работает только два месяца и не осведомлен о всех документах. Что он работает не два месяца, а два года и больше, верующие знают, потому, что они часто по разным вопросам обращаются в комитет по делам религии и его встречают, надо полагать, что за свою необдуманную откровенность ему придется больно расплачиваться.

Люди начали во весь голос выступать против унижительного требования бесчисленных справок. Тогда уполномоченный Виконский поменял тактику нападения. Сейчас такое распоряжение: при вызове к больному ксендз должен пожаловать к уполномоченному Виконскому и, если получит его разрешение, взять с собой Пресвятые Тайны и ехать исповедывать больного, прежде чем его обслужить должен лично представиться и местным властям и

получить их разрешение. Исповедывать и обслужить имеет право только того больного, к которому вызван, других здоровых, больных или старых, которые, пользуясь случаем приезда ксендза, собираются, исповедывать нельзя. Нельзя совершить богослужение, говорить проповедь. Такое разрешение практически сводится к нулю, тем более, что ксендзу, когда он при себе имеет Пресвятые Тайны (Евхаристию), разговаривать нельзя. Не только он, но и сопровождающие его, в частности водитель, должны соблюдать молитвенное молчание, а представиться местным властям, разговаривать, умолять их о разрешении ксендзу не разрешается. Надо полагать, что это прекрасно знает уполномоченный Виконский, тем более, что он сам крещен, а мать, по словам самого уполномоченного, по сей день глубоко верующая.

Поэтому такое «облегчение» обслуживать единоверцев — только нового рода издевательство. Представиться местным властям необходимо и для того, чтобы они могли послать своего наблюдателя, чтобы предостеречь ксендза «от соблазна» исповедывать и причащать других собравшихся католиков.

В Кишеневской часовне на воскресных богослужениях (нередко и в будний день) всегда участвуют агенты КГБ, Уполномоченный Виконский по их доносам не раз ругал ксендза за то, что он отчитывается перед приходом и рассказывает о притеснениях, о задержках по дороге, о требовании справок и бесчисленных издеательствах над верующими и над ним лично. Не разрешает говорить проповедь на русском языке, чтобы не поняли немцы, участвующие в Богослужении на польском языке, или поляки, участвующие в Богослужении на немецком языке.

Его Преосвященству Папе Павлу VI.

Мы, католики, немцы и поляки, проживающие в Молдавской ССР, выражаем глубокую преданность Римской католической Церкви и Вам, как Наместнику Иисуса Христа и наследнику апостола Петра.

Но мы, как дети большой католической семьи, с болью души обращаемся к Вам за помощью. В Молдавии до утверждения Советской власти во многих городах и селениях были католические костелы и священники. Советская власть все католические костелы закрыла, многие развалила, оставили только одну часовню на клад-

бище в Кишиневе — в столице Молдавской ССР. Кишинев имел просторный красивый костел, но его закрыли, а в часовне люди не помещаются и по воскресным дням стоят на улице, часто под дождем или в холоде, не имея возможности даже увидеть алтарь.

Нас обслуживает только единственный ксендз Владислав Завальнюк, окончивший Рижскую духовную семинарию в 1974 г. Хотя он молодой (29 лет), но в студенческие годы перенес тяжелую форму минингита и вследствие этой болезни часто страдает от сильных головных болей. Проживает он в другом конце города, примерно 7-8 км от кладбища, где находится костел-часовня. Власти не только не дают разрешения обменять квартиру ближе к костелу, но в последнее время отобрали номера и документы машины. Сейчас ксендз должен на общественном транспорте терять время (больше часа), чтобы добраться до костела, а тут съезжаются католики со всей Молдавии, ждут исповеди и часто не могут исповедаться.

Ксендз, видя все трудности своих единоверцев, пытался обслуживать их, особенно старых и больных, по месту их жительства и разъезжать по телеграммам католиков. Во многих городах и селах, в большинстве, где раньше были костелы, как в Бельцах, Бендерах, Тирасполе, Григоровке, Шашково, Андрияшевке и в др., католики собираются даже ежедневно на общую молитву. Когда ксендз стал время от времени к ним приезжать исповедывать и служить мессу, в Молдавии ожила вера, не только старики, но дети и молодежь начали приходить на общую молитву и тогда, когда приезжал ксендз, и тогда, когда его не было, в воскресные и праздничные дни. Такое оживление веры не могли не заметить власти. Они начали преследовать нас, католиков, и особенно ксендза — задерживают его по дороге, часто штрафуют, а для вызова ксендза к больному требуют пять справок: от врача, от местных властей, от райисполкома, от горисполкома, и со всеми этими справками ксендз должен обращаться к уполномоченному по делам религии Виконскому, который может разрешить выехать ксендзу к больному или нет. Никому из католиков не удалось получить этих справок, потому что каждый начальник отправляет к другому и так без конца, и люди умирают без исповеди, и духовного обслуживания. Таких случаев невозможно перечислить. Нас возмущает такое издевательство над нами, верующими, но на наши просьбы и требования власти не только не обращают никакого внимания, но угрожают ксендзу, что отнимут у него удостоверение, разрешающее служить священником.

В слободе Рашково — 170 км от Кишинева, где католики-поляки имели молитвенный дом и Евхаристию, собирались каждый вечер на молитвы. К ним раз в месяц приезжал ксендз и много верующих, детей, молодежи и пожилых людей. Исповедывались. Съезжались католики с окрестных городов и сел, так что дом Олейник Валентины, которая отдала его как молитвенный, не мог поместить всех верующих. Люди своими силами и средствами начали достраивать дом-костел. Работали все, даже дети помогали носить песок и камни-кирпичи. Работали по ночам, а днем — на колхозных полях. Власти, видя, что католики дружно и жертвенно трудятся, чтобы построить скромный дом Божий, начали преследования. Три раза судили Валентину Олейник, всю вину свалили на нее. Ее продержали 15 суток в тюрьме вместе с Погребной Владиславой. В последнее время обзывают В. Олейник сумасшедшей, и ей грозит психиатрическая больница и насильственное лечение.

Ксендза по дороге в Рашково задержали, вернули обратно машину, а его самого пешком послали в Кишинев — 170 км. Конечно, он не мог на это согласиться и власти сделали снисхождение — разрешили переночевать в Рашково, не обслуживая верующих. Такие случаи происходили много раз.

25 ноября 1977 г. власти развалили костел в Рашково. В тот день по 3-5 милиционеров стояли у каждого дома, не разрешая людям выходить, чтобы они не мешали ломать дом. Детям в тот день приказали явиться в школу в 8 час. вместо обычных 9 час. Около 15 милиционеров дежурили в школе, не разрешая детям выходить на улицу. Валентину Олейник и других 7 женщин, которые постоянно сберегли костел, в то утро насильно втолкнули в машину и отвезли за 10 км. от Рашково — на Украину.

Множество машин, транспорта и бульдозеров работали, чтобы развалить костел. Милиция была вызвана из четырех районов Молдавии. Были вызваны даже войска. Работа кипела примерно с 9 час. до 16 час. Вместо костела осталось вспаханное поле. Все костельные принадлежности сбросили в одну кучу в конюшню, арнаты и иконы развесили в конюшне по столбам. Евхаристию разбросали на земле, а чаши отнесли в колхозную контору. Самое больное для нас, что Цресвятые Тайны были разбросаны, и мы с плачем на коленях собирали Тело Иисуса, а Остия из монстранции была поломана и одной части не нашли. Невозможно словами передать эту боль и это зрелище, когда люди вечером собравшись на пустое поле пали крестом на том месте, где был алтарь и с рыданием молили Бога о милосердии.

Ксендз добивался разрешения приехать, чтобы привести в порядок Евхаристию, но это ему строго-настрого запрещено. Власти боятся, чтобы приезд ксендза не способствовал укреплению духовной жизни верующих. Разрушив костел, они всеми силами стремятся разрушить и духовный костел и исполняются слова Иисуса: «Поражу пастыря и рассеются овцы стада» (Мф. 226,32).

Мы представляем Вашему Преосвященству только один-два случая из бесчисленных издевательств над нашим ксендзом и над нами. Не один раз мы ездили в Москву с жалобой, но в Москве одобряют поведение местных властей, а ксендзу угрожают, что с ним будет отдельный разговор и отдельная расправа, что мол, пусть он не думает, что в Молдавии будет разрешено оживление веры, а за то, что он уже сделал придется ему строго расплатиться.

Мы умоляем Ваше Преосвященство своим высоким авторитетом воздействовать на советскую власть, чтобы свобода совести, свобода вероисповеданий и выполнения религиозных обрядов соблюдалась для нас, католиков, проживающих в Молдавской ССР. Чтобы нашему ксендзу было разрешено беспрепятственно разъезжать и обслуживать единоверцев всей Молдавии. Мы просим молитв католиков свободного мира и Вашего благословения нашему ксендзу Владиславу Завальнюку и нам, его пастве. (В Молдавии около 15 000 католиков).

Мы просим, чтобы по Вашему поручению мы могли бы получить письменное Ваше благословение на имя и адрес нашего духовного пастыря Владислава Завальнюка: Молдавская ССР 277020 Кишинев 20, ул. Павлодарская 20а, — чтобы Ваш авторитет защитил нашего ксендза от угроз властей не дать ему работать как ксендзу, и чтобы мы не остались сиротами без духовного отца и без духовной помощи.

С глубокой преданностью

Католики Молдавской ССР.

ВСЕПРАВОСЛАВНОМУ ПРЕДСОБОРНОМУ СОВЕЩАНИЮ

Священник Русской Православной Церкви
Глеб Якунин

Ваши Преосвященства!
Во Христе отцы и братья!

13 декабря 1965 г. я совместно со священником Н. Эшлиманом обратился к Патриарху Алексию и правящим епископам Русской Православной Церкви с «Открытым письмом», содержащим серьезные обвинения в адрес руководства Русской Церкви, суть которых сводилась к следующему:

1. Тяжкое нарушение норм церковной жизни в Русской Православной Церкви происходит вследствие подчинения церковного руководства противозаконному, негласному диктату государственных органов в сфере внутренних церковных дел.

2. Церковное руководство виновно в попустительстве и прямом содействии массовой антирелигиозной компании 1959-65 гг., во время которой на территории СССР было закрыто свыше 10 тысяч православных храмов.

3. Принятое на Архиерейском соборе в 1961 году «Положение об управлении церковными приходами» — антиканонично и направлено на разрушение Церкви.

В ответ на наши обвинения Патриарх Алексий подверг нас запрещению в священнослужении, поставив условием снятия прещения наше раскаяние.

Не признавая наложенного прещения справедливым по существу и законным по форме (прещение было наложено на нас в порядке административном, а не в судебно-процессуальном), не считая возможным раскаиваться в деле, которое мы по совести считаем справедливым и служащим благу Церкви, мы неоднократно обращались к руководству Р.П.Ц. с просьбой либо снять с нас прещение в административном порядке (как оно и было наложено), либо предать нас правильному церковно-каноническому суду, — но наши обращения оказались безрезультатными.

Так, церковно-каноническая апелляция, направленная нами на предсоборную комиссию по проведению Поместного Собора 1971 года, не только не была вынесена на рассмотрение собора, но на нее не было получено никакого ответа.

Также не было дано никакого ответа на мое прошение Патриарху Пимену аналогичного содержания от 17 апреля 1976 года.

Исчерпав все возможности в попытке разрешить наше дело в рамках Русской Православной Церкви, я обращаюсь к Вам, участникам Предсоборного Совещания, с просьбой включить вопрос о наложенном на меня и на священника Н. Эшлимана прещении в повестку дня грядущего Великого Всеправославного Собора.

К настоящему прошению прилагаю копии документов, имеющих отношение к делу.

Вашей святыни недостойный священник

Глеб Якунин

11 ноября 1976 г., г. Москва

Адрес: Москва, ул. Дыбенко, дом 30,
кор. 1, кв. 45; тел. 458-04-67

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
ТА СОЮЗА ССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛИСПОЛКОМУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
НА КОНФЕРЕНЦИИ В БЕЛГРАДЕ

От верующих ЕХБ г. Харькова

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

...Господи, воззри на угрозы их и дай рабам
Твоим со всею смелостью говорить слово Твое.

Деян. 4:29.

28 августа в г. Горловке по ул. Карамзина, № 48 было назначено собрание верующих ЕХБ по случаю праздника Жатвы — благодарение Богу за урожай и все Его милости, о чем были поставлены в известность местные органы власти в лице секретаря райисполкома.

Собрание было назначено на 9 часов утра. А в 8 часов вдруг появились усиленные наряды милиции и одетые в штатском, которые оцепили и блокировали все улицы, подъезды и подходы к дому, а также развесили дорожные знаки, запрещающие въезд.

Видя такие приготовления, верующие, пришедшие на место собрания до 8 часов и занятые приготовлением пищи и оформлением витрины плодов нового урожая, стали тут же во дворе на колени, моля Бога о помощи и защите. А в это время, не спрашивая разрешения хозяина дома, вошла во двор большая группа в форме работников милиции и в штатском во главе с капитаном Добровольским с требованием немедленно прекратить моления и разойтись. Затем вошедшие стали применять не требуемые обстоятельствами, а значит противозаконные, насильственные меры. И это несмотря на то, что собрание верующих носило явно мирный характер, организовывалось с ведома местных органов власти, не сопровождалось нарушением общественного порядка.

Необузданному буйству «органов власти», от многих несло спиртным, казалось, не было предела: они ломали и били не только людей, а и бездушные вещи — стулья, скамейки, музыкальные инструменты, радиоаппаратуру и пр., причинив таким образом материальный ущерб на сумму, превышающую 1 000 рублей. (Соответствующий акт будет выслан дополнительно). Многие верующие были ограблены в прямом смысле этого слова — у них силой отымались не только фотоаппараты, когда они пытались заснять происходящее, а и сумки, кошельки с деньгами, магнитофоны, микрофоны, книги, музыкальные инструменты и пр. О каких-либо квитанциях «об изъятии», конечно, не могло быть и речи. А тех, которые приходили в милицию, чтобы получить назад свои вещи, тут же сажали в камеры.

Подобное продолжалось и тогда, когда верующие, будучи насильственно привезены в милицию, спокойно стояли, ожидая вызова в кабинеты для обыска, установления личности, допроса и пр.

Так, например, срочно приезжавший в милицию прокурор вместо пресечения беззакония работников милиции лично принял самое активное участие в расправе над беззащитными верующими: хватал за ворот одежды, избивал и толкал, понося их нецензурной бранью. И все это совершалось не на большой дороге, не ночью, не бандой вооруженных разбойников, а в центре шахтерского поселка средь белого дня, на виду у всех жителей, в стране, провозгласившей на весь мир принципы свободы, равен-

ства, братства. Так что действия их вполне соответствовали словам Христа, произнесенным ночью в Гефсиманском саду: «...ныне ваше время и власть тьмы».

Верующие же, со своей стороны, не предпринимали активных мер для защиты себя и своего имущества. Они молились, затем, не сходя с места, тесно сгрудившись, стали петь и играть религиозные гимны, а в это время «блюстители порядка» провоцировали беспорядок — заламывали верующим назад руки, били, рвали одежду, швыряли их в подогнанные ко двору машины, на которых, по иронии судьбы, то ли в напоминание, красовались портреты Сталина.

При этом, видимо, осознав свое равноправие, особенно проявили себя и две женщины, отказавшиеся назвать себя: одна из них буквально охотилась за детьми, грубо хватала их за руки и одежду и била их кулаком. А другая, взобравшись на витрину с плодами (что и сохранило ее от разрушения), отдавала распоряжения и поджигала бесчинствующих, проявляя явно садистские признаки: истерически смеялась и подпрыгивала, когда ими совершались явно выраженные зверства.

Большую часть верующих увезли в милицию, других отвозили за город и высаживали в поле по одному. Еще иных работники милиции во главе с капитаном Добровольским водили по городу и объявляли по мегафону: «...вот эти баптисты не подчиняются советским законам, нигде не работают, занимаются антисоветской агитацией, мешают вам праздновать» и т. п., нарушая авансом 52-ю статью проекта новой Конституции, запрещающей разжигание ненависти в связи с религиозными верованиями.

А озверевший прокурор подъехал умышленно вплотную к группе идущих по улице верующих и, стоя на подножке машины, стал их бить. От сильных ударов некоторые падали, рискуя попасть под колеса...

В конечном счете, как и прежде, виновными оказались снова верующие. И на следующий день все арестованные были осуждены.

Да, у нас за веру не судят. И это еще раз доказали госатеисты г. Горловки. Во время погрома религиозного собрания представители власти требовали: «...прекратите моление!», прокурор угрожал: «...я вас научу Богу молиться!» и т. п. Но при оформлении протоколов задержания и вынесении приговоров нигде эти причины не фигурировали, а всем арестованным было

предъявлено обвинение в неповиновении органам власти, в бродяжничестве и попрошайничестве (!?).

В настоящем заявлении мы описали только некоторые эпизоды позорной расправы над верующими, учиненной госатеистами г. Горловки. А только что нам сообщили, что подобным издевательствам подверглись собравшиеся на богослужение верующие г. Ростова. Невольно напрашивается вопрос: что это — произвол местных органов власти или... начало действия новой Конституции?!

Исходя из вышеизложенного, мы обращаемся к вам, правителям страны, и призываем положить предел произволу, которому подвергаются верующие в СССР вот уже в течение многих лет, в частности:

1. Дать указание немедленно освободить всех арестованных и осужденных в г. Горловке верующих.
2. Возвратить отнятые личные вещи.
3. Возместить нанесенный материальный ущерб.
4. Принести публичное извинение за то, что нас, верующих граждан СССР, всенародно оскорбляли, били, возбуждали в народе ненависть и применяли другие превышающие необходимость насильственные меры.

Ответ просим направлять по следующему адресу: Харьков-137, ул. Репина, № 47, МОИСЕЕНКО А. И.

ПРИЛАГАЕТСЯ: Список подписей

30. 8. 1977 г. г. Харьков

В ЗАЩИТУ АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА

ОБРАЩЕНИЕ Н. СОЛЖЕНИЦЫНОЙ

Сегодня исполнилось 8 лет, отнятых из жизни Александра Гинзбурга советскими тюрьмами и лагерями.

Я знаю Александра Гинзбурга 14 лет. Мы познакомились в 1964, когда ему было 28, и он уже отсидел 2 года в лагере. Он привлекал своей открытостью, острым вниманием к несправедливости и чужому горю, светлой душой, чётким умом. Вскоре его снова арестовали и дали 5 лет лагерей строгого режима. Александр Гинзбург — из тех редких людей, для кого собственные страдания кажутся ничтожными в сравнении с морем горя вокруг. В лагере его сердце вместило трагические судьбы сотен друзей-заклужённых, бедствия их жён и детей. Я была очень дружна с его женой Ириной и хорошо помню, как он писал ей из тюрьмы незадолго до освобождения: пойми и прими, — я никогда не смогу забыть тех, кто останется здесь, я должен отдать им все силы. Это значило: и после освобождения не будет покоя и благополучия. Верная Ирина приняла это.

Когда в 1972 он, после второго срока, тяжело больным вышел из тюрьмы, он познакомился с Александром Солженицыным и вызвал его глубокое уважение неизменной верностью узникам Архипелага и спокойным мужеством, с которым готов был на новые лишения и новый арест. Они стали друзьями. Тогда же у них возникла идея наладить систематическую помощь семьям эков. Для этой цели А. Солженицын предложил свои литературные гонорары на Западе. Тогда же, в 1973, эта помощь начала осуществляться.

Тотчас после насильственной высылки из СССР в 1974 году, А. С-н основал в Швейцарии Русский Общественный Фонд, куда отдал все гонорары от книги «Архипелаг ГУЛаг», во всех странах и на всех языках. Главным распределителем средств Фонда на территории СССР стал Ал-др Гинзбург и оставался им бессменно 3 года, вплоть до ареста. За это время фонд помог сотням семей заклужённых, не делая никаких национальных, политических и религиозных различий. Среди тех, кто получил нашу помощь — русские, украинцы, литовцы, евреи, немцы, армяне, грузины, эстонцы, татары; православные, мусульмане, иудаисты, баптисты. Единственным критерием при распределении средств Фонда является сте-

пень нужды данной семьи. Ал-др Гинзбург обладал исключительными качествами для этой трудной и опасной работы: доброта, бесстрашие, спокойствие, редкая память: он помнил, сколько у кого детей, какой мальчик болен и какое лекарство ему нужно, у какой девочки нет тёплой одежды, чья жена не имеет денег на посылку мужу, кому не под силу купить билет, чтоб поехать в лагерь на свидание. Тяжело больной, он находил время для всех. Он работал в условиях постоянной слежки, подслушивания, перехвата писем, многократных грабительских обысков.

В феврале 1977 Ал-др Гинзбург был арестован органами Государственной Безопасности. Мне хотелось бы привлечь внимание присутствующих к тому яркому факту, что именно Госбезопасность занимается этим делом: в нашей стране милосердие всегда считалось опасным для государства. Коммунисты ведут войну с милосердием уже 60 лет. Ещё в 20-х годах естественное право благотворительности было запрещено и отобрано не только у Церкви, но у любой общественной организации или группы лиц. Был разгромлен Политический Красный Крест, оставшийся по традиции от дореволюционной России, его работники арестованы и уничтожены. При коллективизации (1930) вместе с главой семьи уничтожались все члены её вплоть до младенцев! — вот тактика коммунистов. Так было уничтожено 15 миллионов душ! Во время 2-й Мировой войны Советский Союз был единственным из союзников, кто запретил Международному Красному Кресту помогать своим пленным воинам: в лагерях советских военнопленных умирало 90%, а живые варили подметки обуви, ели летучих мышей. В наши дни конвой спускает собак на того, кто осмелится подойти к колонне заключённых, чтоб кинуть голодным кусок хлеба, а может и открыть огонь — «гуманный» советский закон позволяет это. Раньше в России ни одна бедная вдова не садилась за пасхальный стол, не отнеся в городскую тюрьму угощения для неизвестных ей узников, такова была традиция, — сейчас заключённый имеет право на одну 5-килограммовую посылку в год, и то отсидев половину срока.

Наш Фонд — это попытка помочь возрождению глубоко укоренённого в нашем народе чувства сострадания. Попытка помочь выжить узникам сегодняшнего Архипелага и их измученным семьям. Показать им, что они не одни перед лицом страшной коммунистической машины уничтожения. Именно поэтому деятельность Фонда вызывает ярость советских властей. Арестован А. Гинзбург. Расправились с его преемниками: Мальва Ланда

сослана в Сибирь, Татьяна Ходорович и Кронид Любарский принуждены к эмиграции. Разыскивают и преследуют семьи заключённых, кто получает помощь Фонда. КГБ перенесло борьбу с Русским Общественным Фондом и на Запад. Сейчас советская разведка пытается добыть в Швейцарии фамилии советских граждан, получавших помощь, и старается опорочить Фонд, рассылая в западную печать анонимные письма. Ни один фонд в мире не работает в столь тяжелых и опасных условиях. И тем не менее — он действует! Его помощь нужна тысячам советских зэков. К их скорбному списку теперь добавились мужественные члены Хельсинкских групп, уже сообщалось о попытке КГБ арестовать рабочих, заявивших о своём намерении создать независимый профсоюз, ещё многих упрячет в тюрьмы режим людоедов, смеясь над любыми договорами. Сейчас Фондом руководит жена Гинзбурга Ирина вместе с Сергеем Ходоровичем. Подумайте: жена человека, арестованного за милосердие, встаёт на его место — что может ярче доказать чистоту и праведность его дела?

Людам свободного мира нелегко понять, как можно преследовать за милосердие? Почему так? Потому, что коммунизм по самой сути своей — враг гуманизма, враг любой религии, враг милосердия. Потому что протянутая рука ближнего лишает государство тотальной власти на телами и душами его граждан-рабов. Вот этой протянутой руки власть не простила Александру Гинзбургу. За это — он арестован. За это — его держат год без суда, в полной изоляции. Об этом — допрашивают сотни людей, угрозами принуждая их лжесвидетельствовать. За это — его будут судить. Какие бы вздорные обвинения ни выдвинули власти на суде, какой бы спектакль ни поставили, — это будет суд коммунизма над милосердием.

Я призываю всех, кто услышит меня, — помочь отстоять растоптанное коммунизмом человеческое право помогать и принимать помощь, помешать расправе над Александром Гинзбургом.

Я прошу всех верующих молиться за этого человека, истинно положившего «жизнь свою за други своя».

3. 2. 1978
Нью-Йорк

Наталья Солженицына
Президент
Русского Общественного Фонда
помощи преследуемым и их семьям

О Б Р А Щ Е Н И Е

Ровно год назад арестован Александр Гинзбург, распределитель общественного Фонда помощи политзаключённым и их семьям, член Группы Содействия выполнению Хельсинки в СССР. Гинзбург — отец двух маленьких детей, единственный сын своей матери. Он добрый, неизменно отзывчивый к чужой беде, деятельный человек, наш друг, наш Алик.

Он всё ещё находится в камере следственной тюрьмы, ожидая суда. Никто из близких, из друзей до сих пор не знает, в чём же конкретно он обвиняется. С тех пор произошло очень многое, но арест Гинзбурга продолжает оставаться важным и тревожным событием, о котором мы не можем думать без глубокой горечи.

Гинзбург стал известен всему миру десять лет назад, когда среди интеллигенции нашей страны развернулась широкая кампания в защиту его и его товарищей от несправедливого, жестокого приговора. Его друг и поделщик поэт Юрий Галансков, осуждённый вместе с ним, погиб в лагере. Свыше тысячи людей подписями в их защиту тогда недвусмысленно выразили своё отношение к репрессивной политике властей.

Сегодня Гинзбургу угрожает ещё более жестокая несправедливость. Его защита должна быть самой энергичной и иметь всемирный характер. Арест Гинзбурга был началом волны политических репрессий, в которых особое место занимают аресты членов Групп Содействия Хельсинки.

Защита Гинзбурга это также защита всех его товарищей и борьба с политическими репрессиями вообще.

2 февраля 1978 года

Андрей Сахаров

Материалы пресс-конференции 2 февраля 1979 г. Москва

«Невозможно, разумеется, построить юридическую защиту человека, не зная, в чем собственно его обвиняют. Но я считаю, что очень важно, чтобы МИР знал характер и человеческий облик этого человека.»

(Из заявления адвоката Грегори Крэга на международных Сахаровских слушаниях 28.XI.1977 в Риме).

О Б Р А Щ Е Н И Е

к Белградской конференции стран-участниц
Хельсинкского соглашения

Глубокоуважаемые гг. Делегаты!

Сегодня мы отмечаем горький юбилей.

Сегодня исполняется год со дня ареста Александра Гинзбурга.

Сегодня истекает год его мучительно-глухой тюремной изоляции, год непрерывных терзаний его матери и жены, год сиротства его детей, год борьбы, надежд и разочарований (связанных, в частности, с трудами Вашей Конференции) всех тех, кому дорога его судьба.

Истекает тюремный год, но это значит, что б е з о в с я к о г о с у д а , б е з о в с я к о г о п р и г о в о р а Александр Гинзбург уже на сегодняшний день отбыл срок, официально приравниваемый к т р ё х г о д и ч н о м у пребыванию в ссылке. А между тем, до сих пор никому не известно, в чём же обвиняют А. Гинзбурга, за что и когда намереваются судить его. А между тем, срок следствия (фактически — бессудного заключения) снова п р о д л ё н!

Но что бы ни сочинили в тех кабинетах, какие бы небывицы о «преступлениях Гинзбурга» не разносила угодливая пресса, в этот постыдный для нашего государства юбилей мы напоминаем:

Александр Гинзбург, распорядитель Общественного фонда помощи политическим заключённым и их семьям, бескорыстно и самоотверженно служил делу добра и человеколюбия в нашей стране, служил с неслыханной энергией. Его материальная помощь спасла сотни попавших в беду людей — мужчин, женщин, детей — от полуголодного прозябания. Его нравственная помощь — спасла их от чувства заброшенности, одиночества, отчаяния.

Александр Гинзбург, один из основателей Хельсинкской группы в СССР, боролся за условия достойного человеческого су-

ществования людей в нашей стране, боролся за те принципы, которые лежат в основе и Вашей деятельности, господа Делегаты!

Но пока Александр Гинзбург в тюрьме — эти благородные принципы, увы, остаются бессильными пожеланиями. Пока Александр Гинзбург в тюрьме — силы человеческого добра терпят очередное поражение.

Воплотятся ли в жизнь Ваши принципы или поражение окажется неизбежным — исход этой альтернативы, если не всецело, то в очень многом зависит от Вас, господа Делегаты!

Сегодня, в годовщину ареста Александра Гинзбурга, нам кажется особенно необходимым напомнить Вам об этом.

3 февраля 1978 г.

Валерий Абрамкин

Юрий Авруцкий

Борис Альтшуллер

Мария Антонюк (Львов)

Елена Арманд

Юрий Аронов

Вадим Баранов

Галина Баранова

Вячеслав Бахмин

Юрий Белов (Рославль)

Марк Белорусец (Киев)

А. Болонкин (Бурят. АССР)

(ниже следуют еще 161 подпись)

Сегодня день годовщины со дня ареста первого распорядителя Фонда помощи п/з Александра ГИНЗБУРГА. От имени ныне действующих распорядителей Фонда мы сообщим некоторую информацию о нашей деятельности.

Как известно, Фонд помощи политзаключённым был учрежден Александром Солженицыным на гонорары от романа «Архипелаг ГУЛag» в 1974 г. Первым распорядителем Фонда стал Александр Гинзбург. В 1974 же году Андреем Сахаровым учрежден Детский фонд, предназначенный для помощи детям политзаключённых, распорядителем которого стала Елена Боннэр. Основу Детского фонда составила премия Чино Дель Дукка, полученная Андреем Сахаровым за гуманистическую деятельность. Этот фонд был тесно связан в своей работе с Фондом помощи политзаключённым, а осенью 1977 года вообще влился в него. После ареста Александра Гинзбурга распорядителей Фонда стало трое: Мальва Ланда, Кронид Любарский и Татьяна Ходорович. 31 мая 1977 года Мальва Ланда была обвинена судом в уголовном преступлении и отправлена в ссылку в Сибирь, а Кронид Любарский

и Татьяна Ходорович осенью 1977 же года принуждены эмигрировать на Запад. После их отъезда распорядителями Фонда, кроме Мальвы Ланды, которая все ещё находится в ссылке, стали Ирина Гинзбург и Сергей Ходорович. Кроме того, нашим неизменным консультантом является Елена Боннэр.

Итак, в настоящее время Фонд помощи политзаключённым существует и, несмотря на известные трудности, люди нуждающиеся в помощи, — получают её. Говоря о деятельности Фонда, мы вынуждены помнить, что всякое высказывание о Фонде может быть использовано против Фонда. Против людей, которые получают помощь, которые технически помогают им получить её, и против тех, кто жертвует свои деньги в Фонд. Поэтому мы просим извинить нас за вынужденную скупость сведений о работе Фонда.

Помощь Фонда распространяется на людей, которые, не совершив преступлений, по политическим мотивам отбывают наказание в тюрьмах, лагерях, психиатрических лечебницах, ссылках или официально взяты под надзор властей. Помощь Фонда распространяется также и на остро нуждающиеся семьи этих людей, на несовершеннолетних детей.

Уставом Фонда размеры помощи очерчены приблизительно, поэтому во многих случаях мы руководствуемся конкретными обстоятельствами. Мы стараемся полностью компенсировать затраты семьи политзаключённого, связанные с его пребыванием в местах заключения. То есть — посылки и бандероли, передачи и поездки на свидания родственников. На каждого ребёнка Фонд может выделять 30 рублей в месяц в продолжение всего срока отбывания наказания политзаключённым. По освобождении Фонд оказывает единовременную помощь в размерах 200-300 рублей.

Отбывающим наказание в ссылке или взятым под надзор размеры помощи всегда зависят от обстоятельств, которые сложились у репрессированного и его семьи. Чтобы иметь приблизительное представление о масштабах работы Фонда, мы можем сообщить, что помощью Фонда пользуются сотни людей.

В заключение, с гордостью за своих соотечественников, мы хотим сказать, что Фонд пополняется не только из названных уже источников, но и за счёт пожертвований многих людей внутри страны. Размеры этих пожертвований колеблются от нескольких рублей до нескольких сотен. Эти пожертвования составляют ежемесячно довольно заметную сумму. Многие люди, не взирая на опасность подвергнуться репрессиям, принимают разнообразное

участие в работе Фонда. Это вселяет в нас некоторый оптимизм, и мы надеемся, что властям не скоро удастся сделать работу Фонда невозможной.

2 февраля 1978 г.

Мальва Ланда
Сергей Ходорович
Ирина Гинзбург

Уже год находится в тюрьме мой друг Александр Гинзбург. Никто из нас не знает, каково ему там, ибо следствие ведётся в полной изоляции. Хорошо быть не может. Нам приходится судить о возможных вариантах обвинения по газетным статьям, которые, как обычно, появляются в советской печати до вынесения обвинения и опять же, как говорит наш опыт, являются чуть ли не основанием для обвинения. Второй источник наших предположений — свидетельства тех, кого допрашивали за этот год по делу Гинзбурга. Всё, что таким образом мы знаем, поражает полной беспочвенностью, необоснованностью и больше похоже на мелочную сплетню, чем на обвинение в государственном преступлении.

О том, что это понимает и следствие, свидетельствует то, что в суд дело до сих пор не передано, и то, что до дела не допущен адвокат. Объективность адвоката господина Вильямса нашему правительству известна, ибо оно пользовалось в прошлом его услугами для защиты советских граждан перед американским судом. Отечественные советские адвокаты боятся браться за это дело: не угодив тем, кто хочет доказать виновность А. Гинзбурга любыми средствами, они испортят свою карьеру; а угодив — лишат себя возможности считаться порядочными людьми.

Вот именно поэтому мне, другу Алика, приходится свидетельствовать и рассказывать о нём всем, кому не безразлично знать, что собою представляет этот человек. Я хочу говорить за двоих — за себя и за моего мужа, ныне покойного Гришу Подъяпольского.

В 60-е годы, ещё не зная А. Гинзбурга, мы почувствовали на себе обаяние и нравственную силу его личности. Его «Белая книга» показала нам, насколько мы не одиноки в стремлении дышать свободно, в стремлении иметь свою точку зрения, в стремлении защищать её. Когда Гинзбурга за эту книгу судили и приговорили к пяти годам строгих лагерей, мой муж написал гневный протест Генеральному прокурору СССР с требованием привлечь судей к уголовной ответственности. Значение работы

А. Гинзбурга и его друзей трудно переоценить. Расправа над ними разбудила от нравственной спячки многих: около 500 человек подписали тогда письма протеста. Для ряда людей это было боевым крещением, началом правозащитной деятельности.

Мы полюбили и приняли в свою семью маму Алика — Людмилу Ильиничну Гинзбург. Ей принадлежит крылатая фраза: «КГБ нас всех не только перезнакомило, но и переродило». А с Аликом мы увидались только через пять лет, когда он завершил свой срок и оказался почти на свободе — под надзором того же КГБ в Тарусе. К этому времени Гриша уже был в составе «Инициативной группы» — первой правозащитной группировки, возникшей в послесталинский период, и подвергался всяческим внесудебным преследованиям. Алик оказался очень добрым, очень весёлым и очень больным человеком. Все последующие 5 лет он провел в борьбе за право жить свободным, содержать свою семью, помогать ближним, когда они попадали в беду. Его беспримерная доброта и способность выслушать, понять, ободрить и помочь словом и делом каждому, кто к нему обращался, поражала нас. Его неспособность считаться с собой даже иногда сердила. Плохое питание в лагерях и вынужденные голодовки протеста — единственное оружие заключённых — награждают почти всех, прошедших ГУЛАг, язвой желудка и панкреатитом. Алик не избежал этой участи. Мы были свидетелями нескольких приступов ужасных неукротимых болей.

В 1974 году он взялся за миссию не только беспримерно трудную, но и в наших условиях казавшуюся просто невыполнимой — стал распорядителем Солженицынского благотворительного Фонда в России. Только живущие здесь, выросшие на бесконечных «табу» по отношению ко всему, что не идёт от государственно-административного корня, могут понять, какой фантастикой представлялась и представляется любая такого рода благотворительность в СССР и с какими опасностями для жизни и свободы благотворящего она сопряжена и по сей день.

Гинзбурги тому пример. Алик и Ирина превратили свой дом в прибежище для страждущих. Кто туда не шёл и не идёт! Среди толп действительно нуждающихся попадались и попадают люди алчные и даже подлые, типа Петрова-Агатова. Но это не мешает дому быть.

Под замком Алик, Фондом распоряжается и творит добро целая группа подвижников, и среди них первая — его жена, Ирина.

Изоляция Гинзбурга как преступника — сама по себе преступление. В каждом селе, в каждом городе, в каждом государ-

стве есть свои праведники. Я с полной ответственностью могу сказать, что Алик — из них. Знаю, что он человек светлый, самоотверженный, неспособный на нечестные поступки.

Я бы хотела надеяться, что свободные государства и общественное мнение не дадут погибнуть невинному.

2 февраля 1978 г.

Мария Петренко-Подъяпольская

Москва, Ярцевская ул., 18 кв. 27. телефон 141-66-09 (выключен).

ОБ ЭТОМ МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!

(Посвящается годовщине ареста Александра ГИНЗБУРГА, — активного участника движения борьбы за права человека в СССР).

«И подумал я: не буду я напоминать о Нём и не буду более говорить во имя Его; но было в сердце моём как бы горящий огонь, заключённый в костях моих, и я истомился удерживая его, и — не мог». (Иер. 20,9).

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обречённых на убийство? Скажешь ли: «Вот, мы не знали этого?» А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твою знает это, и воздаст человеку по делам его» (Притч. 24, 11-12).

ЧТО ЗНАЮТ О НЕМ!

Александр ГИНЗБУРГ, — это человек, о котором знают сегодня не только в нашей стране, но и далеко за её пределами, знают и судят по-разному, не видев его никогда.

Одни знают о нём из источников официальной и лживой госинформации, коварной целью которой является воодушевлять и настраивать ничего не знающие, обманутые и запуганные массы народа, чтобы в их слепоте и искусственной злонастроенности заручиться их поддержкой, и чтобы от имени этой настроенной общественности успешно совершать гнусную расправу над подобными людьми — героями нашего времени.

Другие, вроде Александра Петрова-Агатова — ИУДЫ-предателя, за тридцать серебряников или другую какую-либо чечевичную госатеистическую похлёбку, временно-корыстную выгоду

и поблажку, оценивают себя и свою продажную совесть ценой вознаграждения, полученного за подлую ложь и клевету. Имена таковых история запомнит и запечатлит на своих обгагрённых кровью страницах для воспоминания о них, как об Иуде Искарите и ему подобных.

Третьи знают всю правду, знают так как, может быть, сами неоднократно вкушали от этих «сластей» деспотичной диктатуры. Знают, но пока молчат. Придёт время, и этот час недалёк, когда это, ничем не оправданное молчание и бездеятельность, всё-таки переполнят чашу человеческой души и выплеснутся через края терпения, молчания и безучастности, как в своей судьбе, так и в судьбе тех, кто уже сегодня открыто, во весь рост поднялись на священную, справедливую, бескровную борьбу против деспотической диктатуры госатеизма за права человека, как цельной человеческой личности.

Александра ГИНЗБУРГА знаем также и мы, многотысячный, сводолюбивый и свободомыслящий народ, принадлежащий к ВСЕСОЮЗНОЙ ЦЕРКВИ ВЕРНЫХ И СВОБОДНЫХ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ (ВЦ ВСАСД). Мы знаем его, знаем и всю зоологическую дикость деспотичного госатеизма, так как постоянно испытываем на себе, на своей собственной спине всю его власть и государственную силу, направленную на подавление и окончательное уничтожение цельной человеческой личности. Нас нисколько не смущают, не удивляют и не сбивают с ног все разглагольствования официальной и казённой лжеинформации, распространяемой через печать, так как мы отлично изучили и понимаем дикий характер этой чудовищной госатеистической госсистемы.

Мы не только знаем всё это, но и хотим об этом сказать, и сказать не где-то в углу, а крикнуть во всю мочь об этой правде на весь мир, так как в участи и судьбе Александра ГИНЗБУРГА мы видим и свою завтрашнюю долю и судьбу, мы видим и судьбу миллионов других с переполненной доверху сердечной чашей, а потому и не смогуших больше завтра молчать.

Александр Ильич ГИНЗБУРГ — это поистине человеческий человек, в котором сочетаются доброта, сердечность, чуткость, уважение и понимание людей с качествами неподкупной справедливости и честности, твёрдости и стойкости, негибаемой воли и мужества. Это человек, жизнь которого, как христианина, была брошена в борозду нужд человечества. Это человек, который никогда не искал своего, человек, жизнь которого была пропитана духом самоотречения и самопожертвования. Он видел всегда дру-

гих, для которых и понимал, что призван жить. По сердцу пришлось ему та ответственность, которую он с любовью принял на себя, будучи членом Хельсинкской группы. Его активная деятельность, как распорядителя Фонда помощи узникам совести и их семьям, известна многим, которым в трудный час была протянута христианская рука милосердия. Принимаясь за это благородное дело, Александр Ильич понимал, что ожидает его со стороны органов КГБ, знал, однако не отвернулся и не отступил назад.

3 февраля 1977 года Александр ГИНЗБУРГ был в третий раз арестован за свою активную благотворительную деятельность и поныне находится в застенках советской тюрьмы, где над ним готовится очередная расправа.

КТО ЭТИ ЛЮДИ И ЧТО ОНИ СОВЕРШАЮТ?

Борьба за «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» на данном этапе развития и прогресса человечества является наивысшим, наигуманнейшим и наисвященнейшим делом. Это вопрос и эта серьёзная проблема не могут не затрагивать и не интересовать тех, кому дороги мир, справедливость и человечность. Сегодня всё прогрессивное человечество должно быть поставлено под моральную ответственность за это священное и справедливое дело. Как это ни странно, но факт остаётся фактом, что некоторые прогрессивные умы человечества, а особенно наше государство пытаются поставить на одну ступеньку гуманитарные и экономические права, а в некоторых случаях пытаются доказать, что экономические даже имеют приоритет и превосходство. «Душа не больше ли пищи и тело одежды», — говорит Слово Божие (Матф. 6,25).

Такое искажённое, извращённое понимание этого вопроса является плодом незнания, а большей частью результатом определённого злого умысла, чтобы шумом об экономических, материальных благах (которых также не существует в нашей стране) отвлечь людей от главного и насущного — которыми и являются гуманитарные права, права прав, которыми человек наделён не по «милости» госвластей, а Господом Богом от самого рождения, как цельная человеческая личность.

Что касается людей, к числу которых принадлежит и Александр ГИНЗБУРГ, то они, при своих способностях и светской грамотности, а также своей деловитости, могли бы в большей мере, чем другие, воспользоваться преимуществом экономических благ. Но они понимали, что сводить жизнь только к тому, чтобы есть и пить, поставило бы их на одну ступень и положение

с животными. В таком случае человек теряет то назначение в жизни, к которому он призван как человек, ибо человек человеком может быть только тогда, когда он обладает самым наивысшим правом, которым является право свободной мысли, совести и воли.

Органы КГБ стараются сфабриковать лживое дело, чтобы расправиться с Александром ГИНЗБУРГОМ и подобными ему. Осудить ГИНЗБУРГА, означало бы осудить доброту, справедливость, человечность, сострадательность. Это означало бы осудить всё то, что человека делает человеком.

НАШЕ ЖЕЛАНИЕ И ИСКРЕННЯЯ ПРОСЬБА

Мы, ВСЕСОЮЗНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕРНЫХ и СВОБОДНЫХ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ, обращаемся ко всем главам миролюбивых государств, к главам государств-членов Хельсинкского Заключительного Акта, членам Белградского Совещания, всем правовым организациям мира, всей мировой прогрессивной общественности и ко всем людям доброй воли выступить в защиту Александра ГИНЗБУРГА, а также и всех тех, которые с ним разделяют подобную участь в застенках советских тюрем и лагерей. Мы просим настойчиво добиваться на основании всех правовых документов, подписанных нашим государством, разрешения въезда в нашу страну специальной комиссии для расследования тяжчайших преступлений против человечества, которыми является полное подавление личности в СССР, а также добиваться разрешения для свободного въезда в нашу страну иностранных адвокатов, чтобы они могли принять участие в деле «обвиняемых» Александра ГИНЗБУРГА, Юрия ОРЛОВА, Анатолия ЩАРАНСКОГО и им подобных.

ЕСЛИ ПОПРОСИТ ХЛЕБА, ПОДАСТ ЛИ КАМЕНЬ?

(Матф. 7,9)

На страницах истории увековечены имена людей, которые в большей или меньшей мере служили своим самоотречением и самопожертвованием людям, жизнь которых была принесена на алтарь служения человечеству. Но как часто в своё время этих людей не понимали, не ценили и даже совершенно не считались с ними, чтобы поддержать их в справедливых делах милосердия для человечества. Только лишь в процессе времени истории удавалось докапываться (а может и не всегда) до того понимания, какое значение имели те или иные люди в событиях самой исто-

рии. По прошествии многих веков и столетий этим людям давали оценку, ими заслуженную, их объявляли гениями, вождями народа или нации. Их имена произносили с уважением и достоинством, их именами называли улицы и даже целые города. Подвиги жизни их отмечены надгробными памятниками и монументами с подробной высечкой их жизни, деятельности и подвига. Но что существенного дало им всё это? Что дал им этот надгробный камень? «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» (Матф. 7,9).

В своё время, когда эти люди, звёзды своего времени, нуждались в хлебе, который мог бы поддержать и продлить их плодотворную жизнь, которая была благословением для окружающих, никто не оказал им поддержки, сочувствия, никто не откликнулся на их просьбу и нужду. Зато с прошествием многих веков и столетий им дали **камень**, даже не простой, а гранитный или даже более драгоценный, где добрым словом помянули их. Так делали фарисеи, строя памятники тем пророкам, которых убивали отцы их (Матф. 23,29-30). Но что существенного им от этого?

Александр ГИНЗБУРГ и его семья сейчас особенно нуждаются в ХЛЕБЕ ЖИЗНИ, которым является мировая поддержка и защита их против произвола жестоких палачей госатеизма, пытающихся отнять не только хлеб жизни, но и саму жизнь.

Человеческая справедливость требует вступить за эту семью и за все семьи, находящиеся в подобном положении. Человеческая справедливость требует протянуть к подобным руку с хлебом, руку помощи и активной защиты и поддержки, ибо что в будущем даст ему, его семье и им подобным, тот камень, который воздвигнет им история? — БЕСПОЛЕЗНО.

2.02.1978

Ростислав Галецкий

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

25 декабря 1977 г.

Участникам Белградского Совещания по проверке выполнения Хельсинкских соглашений.

(документ № 27)

Следователи КГБ в Москве и в Калуге объявили (устно) родственникам арестованных поборников прав человека, членов Группы Содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР

Орлова Юрия, Гинзбурга Александра и Щаранского Анатолия о том, что Указами Президиума Верховного Совета РСФСР срок содержания под стражей продлён сверх установленных 9-ти месяцев ещё на полгода.

В тюрьме содержатся без суда Александр Гинзбург — 10 месяцев 20 дней, Юрий Орлов — 10 месяцев 13 дней, Анатолий Щаранский — 9 месяцев 10 дней.

Указы эти, конечно, не опубликованы и даже не предъявлены родственникам. Как нам известно, издание такого рода «персональных указов» о продлении срока содержания подследственных под стражей до суда вошли в практику советского судопроизводства.

Мы считаем необходимым обратить внимание на явную незаконность, антиконституционность и антигуманность указов о продлении срока заключения, подобных принятым в отношении Орлова, Щаранского и Гинзбурга. Ст. 34 «Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» (утв. Сессией Верховного Совета СССР 25/XII-58 г.) установлено, что «Содержание под стражей при расследовании дела не может продолжаться более 2-х месяцев. Этот срок может быть продлен лишь ввиду особой сложности дела прокурором автономной республики, края, области, автономной области, национального округа, военным прокурором военного округа, военного флота — до 3-х месяцев, а прокурором союзной республики, главным военным прокурором — до 6-ти месяцев со дня заключения под стражу.

Дальнейшее продление срока содержания под стражей может быть произведено только в исключительных случаях Генеральным Прокурором СССР дополнительно на срок не более 3-х месяцев».

Таким образом, после истечения 9-ти месяцев со дня заключения подследственного под стражу, если дело не передано в суд, заключенный подлежит немедленному освобождению.

Истечение предусмотренного законом срока содержания под стражей в качестве меры пресечения прямо предусмотрено ст. 18 «Положения о предварительном заключении под стражу» (Закон от 11/VII-63 г.) как основание для немедленного освобождения арестованного.

Никаких других оснований для продления срока содержания под стражей подследственного заключенного ни Конституцией СССР, ни каким-либо действующим союзным законом не установлено. Поэтому Указы республиканского Президиума Верховного

Совета, противоречащие союзному законодательству, являются недействительными. Более того, эти Указы антиконституционны, т. к. они прямо противоречат ст. 34 Конституции СССР, декларирующей равенство граждан СССР перед законом.

Если все граждане СССР равны перед законом, запрещающим содержание подследственного арестованного под стражей до передачи дела в суд свыше 9-ти месяцев, то продление этого законом установленного срока ещё на полгода в отношении Орлова, Щаранского и Гинзбурга является произволом и грубым нарушением прав человека.

Нельзя не обратить внимания и на нравственную сторону вопроса, т. к. столь длительное содержание под стражей в условиях «следственного изолятора» (закрытой тюрьмы!) КГБ является актом антигуманным. Орлов, Гинзбург и Щаранский содержатся в полной изоляции от внешнего мира.

Ст. ст. 12 и 13 указанного выше «Положения о предварительном заключении под стражу» допускают «свидания с родственниками и иными лицами» и «переписку с родственниками и иными гражданами». Но ни Щаранскому, ни Гинзбургу, ни Орлову за все долгие месяцы заключения ни разу не была предоставлена возможность увидеть матерей и жён хотя бы на 5 минут, ни разу не было дано разрешение написать или получить хотя бы одно письмо.

Эти люди, как замурованные в каменных непреступных стенах, уже более 9-ти месяцев могут общаться только со следователями, прокурорами и тюремной охраной. Они полностью лишены права на защиту, права, декларируемого ст. 158 Конституции СССР и ст.ст. 13 и 22 «Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик».

Страшно подумать — ни одного свидания с защитником-адвокатом за 9-10 месяцев заключения, нет адвокатов, допущенных к участию в деле. Даже для Щаранского, обвинение которому предъявлено по ст. 64 УК РСФСР, предусматривающей смертную казнь.

В данном обращении мы намеренно не касаемся вопроса о том, что самый факт ареста и содержания под стражей Орлова, Щаранского и Гинзбурга является лишь попыткой подавить инакомыслие, является репрессивной мерой по отношению к тем, кто борется за права человека мыслью и словом, а не преступными насильственными действиями. Незаконное продление срока содержания в тюрьме сверх установленных 9-ти месяцев фактически превращают «меру пресечения» в меру наказания, назна-

ченную без суда, а Президиум Верховного Совета РСФСР выступает в роли карательного органа.

В правовом государстве, тем более называющем себя социалистическим, даже по отношению к убийцам и террористам нельзя так грубо нарушать свои же собственные законы, попирая права гражданина, ещё не признанного судом преступником.

Мы призываем участников Белградского Совещания настойчиво добиваться немедленного освобождения Ю. Орлова, А. Гинзбурга, А. Щаранского.

Софья Калистратова
Наум Мейман
Виктор Некипелов
Татьяна Осипова
Владимир Слепак

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

25 декабря 1977 г.

В Президиум Верховного
Совета СССР

Направляя обращение Группы Содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР к участникам Белградского Совещания в Президиум Верховного Совета СССР, мы настаиваем на отмене антиконституционных и противозаконных Указов Президиума Верховного Совета РСФСР о продлении срока содержания под стражей Юрия Орлова, Анатолия Щаранского и Александра Гинзбурга и на немедленном их освобождении из тюрем.

Софья Калистратова
Наум Мейман
Виктор Некипелов
Татьяна Осипова
Владимир Слепак

— * —

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЖАЛОБА *

Мы, советские люди из различных городов, не знавшие никогда раньше друг друга, познакомившиеся на перепутьях хождения по мукам, в полном смысле этого слова, вынуждены обратиться в советскую печать, общественные организации и партийные органы и к западной прессе.

Каждый из нас независимо друг от друга, на протяжении многих лет, обращался в органы Прокуратуры и Нарсуда, в Центральную печать и отдел Административных органов ЦК КПСС.

Мы — люди среднего возраста, имеем каждый за своими плечами более десятка лет трудового стажа, однако с нами нигде не желают разговаривать так, как следует разговаривать в соответствии с Постановлением XXV съезда КПСС о рассмотрении заявлений и жалоб трудящихся.

Для нас, честных граждан СССР, необоснованно лишенных права на труд за вскрытие злоупотреблений руководителей предприятий, где мы работали, словно не существует никаких ЗАКОНОВ.

Нас не только не желают выслушать и правильно рассмотреть наши заявления, но применяют недозволенные приемы: выдворяют из гор. Москвы, помещают в психиатрические больницы. Все это за ПРАВО на жалобу. Произвол чинят лица, облеченные доверием ПАРТИИ и НАРОДА.

Все мы были на приеме у зам. Генерального Прокурора СССР А. С. Панкратова, многие из нас слушали его публичное выступление 9 июня 1976 года в лекторском зале — совершенно д в а различных человека: на публике А. С. Панкратов истинный коммунист, у себя в кабинете, наедине с жалобщиком, А. С. м н о г о л и к: КОЗЛОВУ К. А. из города Липецка и МАНАХОВУ Т. М. из гор. Судака обозвал — спекулянтами. КАБАНОВУ В. Г. из гор. Уфа — проституткой. КАСЬЯНОВУ Ж. Ф. из гор. Мытищи — выставил с помощью милиции. ФУФАЕВУ А. С. из деревни Огуднево Московской области — выгнал из кабинета. ПОПЛАВСКОГО В. Т. — из гор. Климовска, в присутствии Прокурора Московской области Суворова, назвал клеветником. С КЛЕБАНОВА В. А. из гор. Макеевка Донецкой области потребовал

* Редакция заранее приносит извинения за возможные ошибки в тексте, вызванные состоянием полученной нами рукописи.

взятку. ОГАНЕСЯНУ Ш. А. из гор. Еревана — заявил: «Письменного ответа на жалобу не будет от 3-го июня 1977 года».

Подписавшим эту коллективную жалобу прислал отписки, грубо нарушив сроки рассмотрения жалоб — вызвав этим лишь новый поток жалоб и заявлений.

В Административном отделе ЦК КПСС тов. Смирнов Л. Д., Петухов В. А., Титов А. В., Шишков С. А., Букин И., Потапенко, Гладышев В. И. и другие, в большинстве случаев отказывают в личных приемах, грубят и обманывают жалобщиков. Все заявления и жалобы направляют к тем лицам, на которых жалобы обиженных принесены. Дают указания о принятии репрессий к жалобщикам, особенно к тем, которые упорно продолжают добиваться конституционных п р а в.

Не принимают мер, когда товарищи попавших в психбольницы и отделения милиции гор. Москвы жалобщиков сообщают им и просят принять экстренные меры — предлагают звонящим, взамен беспокойства о «других» «помощь» в рассмотрении их собственных жалоб или отказывают в принятии каких-либо мер.

Мы можем привести десятки фактов репрессивных «своевременных» рассмотрений жалоб трудящихся: ПОПЛАВСКОГО В. Т. схватили в Приемной ЦК КПСС 30 июня 1976 года, насильно доставили в 46 отделение милиции гор. Москвы и в течение одного часа осудили на 15 суток тюрьмы.

12 июля 1977 года граждан: ГУРЬЕВА М. Е. из гор. Красный Сулин, МЕЛЕНТЬЕВА М. Л. из гор. Алма-Ата, ИВАНОВА Н. П. из гор. Рудного, КУЧЕРЕНКО В. И. из гор. Махачкала — схватили в Приемной ЦК КПСС, насильно доставили в 46 отделение милиции и там принудительно потребовали у каждого расписки, что они больше не появятся в приемной ЦК КПСС.

Участника Отечественной войны, члена КПСС ЛЕВИТ Я. М. из гор. Одессы с дочерью схватили в Приемной ЦК КПСС 16 апреля 1975 г., когда на глазах сотни граждан из различных городов страны, один из доведенных до отчаяния жалобщиков, покончил жизнь самоубийством. В этот день десятки возмущенных граждан были схвачены или выдворены из гор. Москвы.

КУЧЕРЕНКО В. И. из гор. Махачкала 22 июня 1977 г. схватили у здания института Марксизма-Ленинизма на улице имени Горького, пытались поместить в психбольницу. Психиатр отказался ее госпитализировать. Ее доставили в спецприемник № 2, УВД Мосгорисполкома. Начальник спецприемника № 2, ст. лейтенант милиции Ефимов П. В. необоснованно держал КУЧЕРЕНКО В. И.

в тюремной камере и дал указания выдворить под стражей в гор. Рязань, хотя КУЧЕРЕНКО В. И. проживает в гор. Махачкале.

РЯХИНА З. Г. из села Орто-Сай Кир. ССР и ОВЧИННИКОВА А. Д. из гор. Минска были схвачены, идя по улице города Москвы, содержались в спецприемнике № 1 УВД, где по указанию начальника Подлесного И. А. их раздели догола, унижительно обыскали, порвано даже пальто у РЯХИНОЙ З. Г. Затем выдворили из гор. Москвы.

10 февраля 1977 года на улице Москвы, сотрудники КГБ, схватили КЛЕБАНОВА В. А. и ЧЕВЕРЕВА В. С. и насильно доставили в 46 отделение милиции, откуда КЛЕБАНОВА В. А., жителя гор. Макеевки, поместили в 7-ю психбольницу.

Таким же образом поступили с БОБРЫШЕВЫМ И. П. из гор. Суман, которого помещали даже в психбольницу в день 1-го мая 1977 г.

ДАДО Л. И. из гор. Степного Каз. ССР схватили на глав-телеграфе в июне 1977, провела «беседу» с психиатром.

СИДОРОВУ А. С., мать четверых детей, из гор. Пестово, ГАЙДАР Н. И., мать двоих детей, из гор. Киева — помещали в психбольницу № 13 из Прокуратуры СССР.

Супругов ИСАЕВЫХ, которым за 60 лет, из гор. Куйбышева схватили в 7-ю психбольницу, где ИСАЕВА тяжело заболела от сердечного приступа.

СОРОКУ Е. М. из села Лидехова Тернопольской обл. трижды помещали в психбольницы гор. Москвы, ФАЗАЛХАНОВА из гор. Казани, участника Великой Отечественной войны ТУЛИКОВА К. Г. из Павлодарской обл., — схватили в Приемной Президиума Верховного Совета Союза ССР в январе 1977 года, поместили в 7-ю психбольницу.

21 октября 1977 года с Прокуратуры СССР насильно доставили в 108 отделение милиции гор. Москвы КРАСОВСКОГО М. Н. из гор. Бобруйска, где он провел «беседу с психиатром». КРАСОВСКОГО М. Н. за просьбу записать к руководству Прокуратуры СССР ранее дважды отправляли в 166 и 64 отделения милиции гор. Москвы (октябрь 1977 года).

22 октября 1977 года из прокуратуры СССР под конвоем был доставлен в отделение милиции ЛУЧКОВ В. Ф. из гор. Донецка, проведена унижительная беседа с дежурным психиатром гор. Москвы.

2 ноября 1977 года вновь гражданин ЛУЧКОВ В. Ф. был

конвоирован в 108 отделение милиции за просьбу записать на прием к руководству Прокуратуры Союза ССР.

Репрессии по указанию из Прокуратуры СССР и ЦК КПСС применяют и местные органы по месту жительства жалобщиков:

ФУФАЕВА А. С. из деревни Огуднево Московской области была осуждена на 10 суток тюрьмы.

К ЯНЬКОВУ Г. Т. из города Москвы 21 февраля 1977 года ворвались в квартиру ночью трое во главе с участковым милиции Шатровым. 23 мая 1977 года выбросили вещи из квартиры, а 27 мая 1977 года принудительно выписали из гор. Москвы.

ОТРОХОВУ А. З. из гор. Ворошиловграда пытались ночью из квартиры поместить в психбольницу, по приезде с личного приема у Генерального Прокурора СССР тов. Р. А. Руденко.

КРАВЧЕНКО Т. И. из гор. Николаева была помещена в психбольницу и содержалась около трех месяцев, вырвана из психиатрички по требованию 76 граждан, хорошо знавших КРАВЧЕНКО Т. И. — неоднократно писавших в ЦК КПСС и центральную печать.

22 июня 1977 года по указанию Прокурора Прокуратуры СССР Крачкович В. И. милиция пыталась отправить в психбольницу ТАРАН Елену Алексеевну.

В сентябре 1975 года 54 гражданина гор. Николаева: комсомольцы, коммунисты — обратились на имя Генерального прокурора СССР с просьбой оградить ЯЩЕНКО М. И. от преследований, т. к. её пытались поместить в психбольницу. Жалоба осталась без ответа. 13 января 1976 года жалоба была повторно направлена в адрес XXV съезда КПСС с просьбой — ответ прислать на МАТУШЕВИЧ Марию Михайловну — ответа нет по сей день.

28 июня 1977 года работник Прокуратуры Союза ССР Клочкова И. И. уговаривала ИЗВЕКОВУ В. Н. из гор. Чернигова очертить своих товарищей по коллективной жалобе на имя Л. И. БРЕЖНЕВА от 20 мая 1977 года с тем, чтобы аннулировать коллективную жалобу, обещая взамен «разрешить» ее вопрос.

12 августа 1977 года работники Прокуратуры гор. Макеевки в 7 часов вечера приходили с угрозами на квартиры к ЧЕТВЕРИКОВОЙ В. В. и КЛЕБАНОВОЙ В. Т.

16 октября 1977 года работники милиции гор. Подольска, в 6 часов утра, в воскресенье, привели ПОПЛАВСКУЮ Л. и ПОПЛАВСКОГО В. Т. в отделение милиции, якобы по вопросу тру-

доустройства: 3 ноября 1977 года зам. начальника милиции гор. Климовска и участковый Субботин вновь вызвали в отделение милиции супругов ПОПЛАВСКИХ и угрожали ПОПЛАВСКОМУ В. Т., что он будет привлечен к суду якобы за тунеядство.

Участковый милиционер 137 отделения милиции гор. Москвы Пуляев постоянно терроризирует НИКОЛАЕВА Е. Б. и его семью. Попытки арестовать НИКОЛАЕВА Е. Б., без санкции прокурора, Пуляев и другие работники 137 отделения милиции предпринимали, в частности, 31 января и 1 февраля 1976 года, 13 января и 29 января 1977 года и в мае 1977 года.

4 октября 1977 года НИКОЛАЕВ Е. Б., находясь в городе Петропавловске-Камчатском, был необоснованно задержан вместе с жителем гор. Петропавловска ГАВРИЛОВЫМ И. Е. и осужден на 15 суток.

Мы утратили доверие к Прокуратуре Союза ССР, как органу, стоящему на страже завоеваний Октября, способному защищать интересы ГОСУДАРСТВА и ТРУДЯЩИХСЯ!

Мы не можем довериться и сотрудникам Отдела Административных органов ЦК КПСС, которые не применяют надлежащих мер по жалобам трудящихся, написанным в адрес руководителей ПАРТИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВА, а пересылают жалобы к тем лицам, на которых жалобы принесены, порождая этим волокиту и акты произвола.

7-го октября 1977 года принята новая Конституция Союза ССР, которая торжественно возвестила на весь мир, что согласно статьи 54 — «Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту, иначе как на основании судебного решения или с санкции Прокурора.»

Статья 57: «Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех Государственных органов, общественных организаций и должностных лиц.»

Мы будем добиваться полного и правильного разбора наших заявлений и жалоб по необоснованным увольнениям нас с работы. Привлечения к ответственности за репрессии должностных лиц, которые попустительствуют расхитителям народного достояния, мерами террора пытаются запугать честных граждан.

СВЯТОЙ ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА СССР БЕРЕЧЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

МЫ ТРЕБУЕМ:

1. Создать авторитетную комиссию по проверке деятельности работников Отдела Административных органов ЦК КПСС, которые, по нашему глубокому убеждению, руководствуются личными побуждениями, а не указаниями ПАРТИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВА.

2. На основании КОНСТИТУЦИИ Союза ССР принять нас на личный прием, оказать содействие попасть к руководителям партии и правительства, которые ограждены от нас барьером бюрократии.

Оганесян Ш. А.
Клебанов Вл. А.
Поплавский Вал. Т.
Фуфаева Анна С.

Гурьев М. Ег.
Манахова Там. М.
Овчиникова Алина Дм.
Овчиникова Д. Д.

(ниже следуют еще 52 подписи)

У С Т А В

ассоциации свободного профсоюза трудящихся в Советском Союзе.

Действительный с 1-го января 1978 года по 1 января 1979 года.

Раздел первый.

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА ТРУДЯЩИХСЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.

1. Членом ассоциации свободного профсоюза трудящихся может быть каждый рабочий и служащий, чьи права и интересы противозаконно ущемляются административными, советскими, партийными и судебными органами.

2. Член ассоциации свободного профсоюза имеет право:

- а) свободно обсуждать всю деятельность ассоциации, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать своё мнение до принятия ассоциацией свободного профсоюза решения.
- б) лично участвовать в заседаниях, когда рассматривается вопрос о его деятельности.
- в) вести неустанную борьбу за мир и дружбу между народами.
- г) повышать политическую сознательность.
- д) соблюдать Устав ассоциации свободного профсоюза.
- е) выполнять общественные поручения ассоциации.

3. Член ассоциации имеет следующие преимущества:

- а) получает правильную юридическую помощь.
- б) получает моральную и материальную помощь в пределах возможности.
- в) получает помощь в поисках жилья, если имеется такая возможность, оказывает помощь своим товарищам.

4. Приём в члены ассоциации свободного профсоюза производится по личному желанию с предварительным недельным обдумыванием, исходя из условий и последствий вступления в ассоциацию.

5. Решение о приёме в члены выносится собранием.

Раздел второй.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ АССОЦИАЦИИ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА ТРУДЯЩИХСЯ.

6. Строятся на основах демократического централизма, что означает:

- а) все снизу доверху избираются членами и перед ними отчитываются.
- б) решают все вопросы ассоциации в соответствии с Уставом.
- в) решения принимаются большинством голосов.

7. Свободное и деловое обсуждение вопросов работы ассоциации профсоюза является важным принципом внутрипрофсоюзной демократии. На основе внутрипрофсоюзной демократии развивается критика и самокритика, активность и инициатива членов, укрепляется деловая и сознательная дисциплина.

8. Основой ассоциации свободного профсоюза является ассоциация членов, возникшая на базе «сорока трех».

9. Задачами ассоциации свободного профсоюза является:

- а) выполнение обязательств по коллективному договору.
- б) вовлечение рабочих и служащих в члены ассоциации свободных профсоюзов.
- в) проведение в жизнь решений ассоциации по защите прав и поисков справедливости.
- г) воспитание членов ассоциации в духе непримиримого отношения к недостаткам, к проявлениям бюрократизма и очковтирательству, бесхозяйственности и расточительству, нерадивому отношению к народному добру.

Раздел третий.

СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА.

10. Средства ассоциации свободного профсоюза будут состоять:

- а) из ежемесячных членских взносов, по силе возможности, от не работающих.
- б) не более одного процента из заработной платы работающих, но не ограничивать добровольных пожертвований.
- в) от поступлений не членов ассоциации свободного профсоюза за оказание услуг юридического характера, по пере-

печатыванию жалоб и составлению таковых, но не более государственного тарифа.

г) поступления материальной помощи от зарубежных профсоюзных организаций.

Раздел четвёртый.

О ПРАВАХ АССОЦИАЦИИ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

11. Ассоциация свободного профсоюза трудящихся в Советском Союзе является юридическим лицом.

Как только ассоциация свободных профсоюзов трудящихся в Советском Союзе будет признана организацией МОТ или профессиональными профсоюзами зарубежных стран, будет получать моральную и материальную поддержку, приступить к новому пересмотру УСТАВА с учётом условий особого положения трудящихся нашей страны, но не ранее годовичного существования.

Совет членов «сорока трёх» свободного профсоюза трудящихся в Советском Союзе.

г. Москва.

1 февраля 1978 года.

АНАТОЛИЙ ЛЕВИТИН-КРАСНОВ

ВАДИМ ШАВРОВ

”Очерки по истории церковной смуты 1922 - 1946 г.г.”

1100 стр. — В трех томах с приложением.

Популярное произведение русского церковного самиздата, содержащее обильный исторический документальный материал. Выходит из печати в ближайшее время.

Издание:

Институт «Glaube in der Welt», CH-8700 Küsnacht, Schweiz

Заказы принимаются обоими Издательствами:

YMCA-PRESS или LES EDITEURS REUNIS

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, 75005 Paris

ПРИЗЫВ

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Вот уже более 50 лет существует Русское Студенческое Христианское Движение — старейшая организация русского зарубежья. Родившись в 1924 году на знаменитом Пшеровском съезде, Движение объединило кружки христианской молодежи всех стран рассеяния от Прибалтики до Белграда и от Праги до Парижа и Лондона. Создание единого христианского братства как бы продолжало традиции русского духовного ренессанса начала XX в., насильственно прерванного революцией, и не случайно у истоков Движения стали такие люди, как о. С. Булгаков, Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, В. В. Зеньковский, Л. А. Зандер. На Пшеровском же съезде оформилась и организационная структура Движения, и его идеология. Основной целью РСХД ставило воцерковление жизни, понимаемое в самом широком смысле, активное служение Христу в окружающей нас повседневности, реализацию в ней Евангельских заветов. Такая установка обеспечила организации одновременно и укорененность в православной традиции, и открытость к миру, ко всем ищущим богопознания и веры. Эти принципы оставались неизменными на всем полувековом пути РСХД, привлекая к Движению новые поколения молодежи и пробуждая в них стремление к действенному служению.

Из рядов РСХД вышло множество пастырей и крупнейших православных богословов; самое активное участие принимало оно в создании и работе Свято-Сергиевского Богословского института в Париже и Свято-Владимирской духовной семинарии в Америке; Движение выступало непременным участником в международных христианских съездах; вело и ведет постоянную церковно-просветительскую работу в отдаленных православных приходах. Ежегодные съезды Движения собирают множество людей из разных стран Европы.

Кроме церковной работы, РСХД занимается и широкой культурно-просветительской деятельностью, устраивая лекции, выступления поэтов, писателей, ученых. Ежегодно проводятся показы лучших фильмов, театральная группа РСХД готовит постановки

русских классических и современных пьес. Женское содружество устраивает благотворительные концерты и организует помощь нуждающимся. С первых же дней существования РСХД приступило и к издательской деятельности, расширявшейся по мере роста организации. С 1925 г. выходит «Вестник РСХД» (на русском, а с 1959 г. и на французском языке) — основной орган Движения, превратившийся за последние десятилетия в один из крупнейших русских журналов. Расширяется и деятельность руководимого Движением издательства «ИМКА-Пресс», ежегодно выпускающего 15-20 книг. Среди названий — произведения свято-отеческой литературы, книги русских религиозных философов, богословов, исторические труды, воспоминания, проза, поэзия.

Одной из главных задач организации является работа с молодежью, воспитание ее в русле православной традиции и русской духовной культуры. Постоянно действует русская школа РСХД. Юношеская дружина Движения устраивает воскресные сборы, поездки за город, экскурсии, лекции, походы в театры и музеи. Ежегодно устраиваются летний и зимний детский и молодежный лагеря, собирающие по 150-180 молодых людей из различных стран Европы и из Америки. Кроме обычных движенических съездов, где также присутствует молодежь, для нее устраиваются ежегодно и особые «малые» съезды с докладами и широкими дискуссиями. Постоянно работают кружки для молодежи.

Однако, заботясь о православном рассеянии и об укоренении Церкви на Западе, Движение не порывает с Россией, сознавая себя ее частью, хотя и временно оторгнутой от страны. И потому с первых же лет существования одну из главных своих задач организация видела в том, чтобы помогать верующим в Советском Союзе, утолять духовный голод миллионов людей, неся им весь накопленный эмиграцией духовный и культурный опыт. Этой цели служит в большой степени и деятельность издательства, и материалы «Вестника РСХД», и большая работа Движения по отправке книг, вещевых и денежных посылок в Советский Союз.

Сегодня такая постоянная работа уже дает всходы: в России ширится процесс духовного раскрепощения, избавления от страха перед режимом, тысячи вчерашних атеистов возвращаются к вере и Церкви. Свидетельство тому — переполненные храмы в Советском Союзе, постоянный рост числа крещений, развитие религиозного самиздата, возникновение религиозно-философских

семинаров и журналов. Интерес к религиозным вопросам растет с каждым днем — это видно из десятков писем, разными путями доходящих к нам из России. «Вестник» стал одним из самых популярных журналов в Советском Союзе, его ищут и не только читают по всей стране, но и постоянно шлют в редакцию свои материалы, несмотря на опасность для авторов подобного рода публикаций. За последние 5-10 лет почти половина (а иногда и более) материалов каждого номера (а средний объем журнала составляет 300-350 стр.) написана в Советском Союзе. А большую часть приходящего просто невозможно публиковать из-за недостатка места. Это говорит о популярности идеологии Движения в сегодняшней России, об уважении к нему. Столь же популярно и издательство «ИМКА-ПРЕСС». О его моральном авторитете свидетельствует уже тот факт, что именно ему была доверена публикация самой крупной книги нашего времени — «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына в то время, когда автор еще находился в России. Количество поступающих рукописей растет с каждым годом. Только в 1977 — начале 1978 года среди опубликованных нами книг — 6 пришли из Советского Союза. Это работа Л. Регельсона «Трагедия Русской Церкви», фундаментальное исследование И. Шафаревича о социализме, 1-й том воспоминаний Л. Чуковской об А. Ахматовой, книга стихов Л. Чуковской и два романа — Ю. Домбровского и Александрова.

Вся эта деятельность требует упорной ежедневной работы, которая выполняется безвозмездно членами Движения. Единственная оплачиваемая должность в организации — секретарь бюро. Но несмотря на эту жертвенность членов организации, несмотря на членские взносы и самообложение, финансовое положение РСХД становится очень тяжелым. Обусловлено это, прежде всего, тем, что основные виды деятельности Движения убыточны по самой своей природе. Таковы отправка посылок и денег верующим в Советский Союз, работа кружка помощи нуждающимся, таковы же издание «Вестника» и деятельность ИМКА-Пресс. В связи с недостатком средств, издательству приходится отказываться от печатания многих ценных рукописей, пришедших из СССР или принадлежащих видным деятелям эмиграции.

Организация вечеров, концертов, приобретение инвентаря для летнего и зимнего лагерей, работа русской школы и содержание библиотеки РСХД — все эти виды деятельности требуют значительных средств. Кроме того, дом Движения, пришедший в крайне ветхое состояние, требует неотложного ремонта, для

чего также необходимы крупные средства, которыми РСХД не располагает, и которые не может получить за счет членских взносов и самообложения.

Такое тяжелое финансовое положение вынуждает нас обратиться ко всей православной общественности.

Мы обращаемся к членам Движения в прошлом и настоящем, где бы они ни проживали!

Мы обращаемся ко всем сочувствующим нашей деятельности и нашим целям!

Мы обращаемся ко всем, кому дорога русская духовная культура!

Мы просим откликнуться на наш призыв о помощи и заранее благодарим за нее. Ваши пожертвования помогут сохранить центр православной жизни и русской культуры за границей, а главное — дадут возможность Движению продолжать работу, столь необходимую для духовного возрождения России.

Пожертвования можно присылать чеками по адресу:

ACER, 91, rue Olivier de Serres, Paris XV, France,

или переводами на почтовый текущий счет:

ACER, CCP Paris 2441-04.

Председатель РСХД: **Архиепископ Сильвестр**

Вицепредседатели: **прот. Александр Шмеман**
прот. Алексей Князев

Секретарь РСХД во Франции: **Н. А. Струве**

Уважаемый господин Редактор,

В 114 номере «Вестника РХД» опубликованы сведения о кончине П. А. Флоренского. И все же вопрос о месте и времени кончины знаменитого русского мыслителя и ученого не может считаться окончательно решенным. Не сочтете ли Вы возможным напечатать и эти дополнительные известия о смерти о. Павла Флоренского. Прилагаем также заметку о статье И. А. Крывелева о П. А. Флоренском. На Ваше усмотрение.

В каком же году умер о. П. А. Флоренский?..

Одному из многочисленных родственников о. Павла Александровича Флоренского удалось негласно побывать на Соловках вскоре после того, как упразднили лагерь. У бывших сторожей, еще не успевших разъехаться, удалось узнать, что отца Павла перевели (кажется, во время войны с немцами) вместе с группой других ученых-специалистов в г. Медвежьегорск, на берегу Онежского озера, в Карелии. В Медвежьегорске отец Павел занимался исследовательской работой, имевшей оборонное значение, и сделал важное открытие и изобретение, патент на которое не успел или не смог получить.

Секретные архивы о Соловецких лагерях находились в Петрозаводске. Семья Флоренских к ним доступа не имела и не имеет. В официальной бумаге о реабилитации, полученной вдовой отца Павла, Анной Михайловной Флоренской, было сказано, что П. А. Флоренский умер в Ленинградской области 15 декабря 1943 года.

Особых оснований подвергать сомнению это сообщение как будто нет. Версий о смерти о. П. А. много — некоторые из них носят легендарный характер. Заслуживает упоминания рассказ одного из бывших соловецких узников по свидетельству которого отец Павел умер от брюшного тифа, находясь на соседней с ним койке в тюремной больнице...

Следует отметить, что студент Московской Духовной Академии, ненец по происхождению, вернувшись на север в родные края, взял себе фамилию в честь любимого учителя и именовался Флоренским. Он стал священником, но о его судьбе нам ничего неизвестно.

В № 1 Журнала Московской патриархии за 1944 г. (стр. 26-28) в заметке «Корреспонденция с мест» приводится несколько фраз из доклада протоиерея Александра Флоренского по обследованию церковных дел в Сумской области, в частности о разрушениях, причиненных войной Троицкому собору г. Сумы. Не является ли он тем самым учеником о. Павла, который изменил свою фамилию?.. Об этом мы можем только догадываться... Но это, во всяком случае, не родственник отца Павла.

Н. Н. (Москва)

Русское Студенческое Христианское Движение за Рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

РСХД утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к Русской Православной Церкви налагает на нас духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа.

ERRATA

В статье Б. Парамонова "Куль личности" как тайна марксистской антропологии" (Вестник РХД № 123) допущен ряд опечаток:

Стр. 57 — строка 17, следует читать: "Можно прийти к выводу, что Сталин, вникавший во все подробности написания злосчастной книги, выразил в этом словосочетании собственные бессознательные влечения, спроецировал их во вне".

Стр. 60 — строка 17, следует читать: "дистинкция" вместо "дистанция".

Стр. 66 — строка 19 снизу: "объектного" вместо "объективного".

Стр. 67 — сноска: "задавшегося" вместо "задержавшегося".

Стр. 68 — строка 2: "жизнестроения" вместо "жизнеописания".

Стр. 69 — строка 2: "гуманистическая" вместо "коммунистическая".

В статье "Вечер поэзии Иосифа Бродского":

Стр. 209: слова "Дурно пахнут мертвые слова" принадлежат Н. С. Гумилеву.

Редакция приносит свои извинения за допущенные опечатки.

СОДЕРЖАНИЕ

| | стр. |
|---|------|
| От редакции: Блюдите как опасно ходите — Н. Струве | 3 |
| От читателей: В редакцию “Вестника РХД” — С. Горичева | 5 |
| БОГОСЛОВИЕ | |
| О любви — о. Димитрий Клепишин | 8 |
| Таинство возношения — прот. Александр Шмеман | 11 |
| Церковь, общество, культура в православном церковном преда- нии — прот. И. Мейендорф | 21 |
| Идеал соборности и человеческая личность — Л. Регельсон | 36 |
| ■ Христианство и иудаизм | |
| Изнутри — П. Б. Струве | 75 |
| ФИЛОСОФИЯ | |
| К 30-летию со дня смерти Н. А. Бердяева | |
| Философия Н. А. Бердяева — Н. Лосский | 89 |
| Выдержки из записной книжки Н. Бердяева | 109 |
| Из писем Н. Бердяева к З. Гиппиус, Г. П. Федотову, Л. И. Шестову | 116 |
| Биографические сведения — Н. Бердяев | 121 |
| ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ | |
| Ковчег для незваных — В. Максимов | 125 |
| Стихи — Т. Буковская | 148 |
| Из полного текста “Августа четырнадцатого” (Этюд о монархе)— А. И. Солженицын | 153 |
| Памяти Е. Миллиор | 251 |
| | 343 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|------|
| ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ | стр. |
| Разбитая радуга — Г. Честертон | 254 |
| Достоевский глазами современного художника — В. А. | 261 |
| СУДЬБЫ РОССИИ | |
| ■ Истоки духовного возрождения | |
| Два портрета — По воспоминаниям В. Я. Василевской “Катакомбы XX века” | 269 |
| ■ 60 лет противостояния насилию | |
| Борьба за церковь | |
| Заявление католиков Молдавской ССР | 299 |
| Обращение ко Всеправославному Предсоборному совещанию — св. Г. Якунин | 306 |
| Открытое заявление баптистов г. Харькова | 307 |
| Борьба за права и достоинство человека | |
| В защиту Александра Гинзбурга | 311 |
| Документы Группы содействия выполнению Хельсинских соглаше- ний в СССР | 324 |
| Коллективная жалоба рабочих СССР | 328 |
| Устав Ассоциации Свободного профсоюза трудящихся в Совет- ском Союзе | 334 |
| Призыв Русского Студенческого Христианского Движения | 337 |
| Письмо в редакцию: “В каком же году умер о. Павел Флоренский?” | 341 |

SOMMAIRE

| | Pages |
|--|------------|
| A nos lecteurs — N. Struve | 3 |
| Lettre des lecteurs — (T. Goritcheva, Léninegrad) | 5 |
| THEOLOGIE | |
| De la charité — P. D. Klépinine | 8 |
| L'anaphore — P. A. Schmemmann (USA) | 11 |
| Eglise, société et culture — P. J. Meyendorff (USA) | 21 |
| Conciliarité et personne humaine — L. Regelson (URSS) | 36 |
| ■ Christianisme et judaïsme | |
| Vu de l'intérieur — Pierre B. Struve (1870-1944) | 75 |
| PHILOSOPHIE | |
| Pour le 30e anniversaire de la mort de N. Berdiaev | |
| La philosophie de N. Berdiaev — Nicolas Lossky | 89 |
| Extraits des « carnets » de N. Berdiaev | 109 |
| Lettres à Z. Hippus, G. Fédotov, L. Chestov | 116 |
| Note autobiographique — N. Berdiaev | 121 |
| LITTERATURE ET VIE | |
| L'arche des intrus — V. Maximov | 125 |
| Vers — T. Boukovskaïa (URSS) | 148 |
| Nicolas II (extrait de la version complète d'« Août 14 ») — A. Soljénitsyne | 251 |
| In memoriam E. Millior | 251 |
| | 345 |

SOMMAIRE

| | Pages |
|---|-------|
| ARTS ET VIE | |
| L'arc-en-ciel brisé — G. Chesterton | 254 |
| Dostoiévsky vu par un peintre contemporain — V. A-v | 261 |
| LES DESTINEES DE LA RUSSIE | |
| ■ Aux sources de la renaissance religieuse | |
| Deux portraits — V. Vasilevskaïa | 269 |
| ■ 60 ans de résistance à la violence | |
| Le combat pour l'Eglise | |
| Déclaration des catholiques de Moldavie | 299 |
| Lettre à la commission préconciliaire — P. G. Yakounine | 306 |
| Déclaration des baptistes de Kharkov | 307 |
| La lutte pour les droits de l'homme | |
| A la défense d'A. Guinzbourg | 311 |
| Documents du groupe chargé de surveiller l'application des accords d'Helsinki | 324 |
| Plainte collective des ouvriers soviétiques | 328 |
| Statuts de l'Association du syndicat libre des travailleurs en URSS | 334 |
| Appel en faveur de l'A.C.E.R. | 337 |
| Courrier des lecteurs : En quelle année est mort le Père Paul Florenski ? | 341 |

"РУССКАЯ МЫСЛЬ" « LA PENSÉE RUSSE »

Главный Редактор: Зинаида ШАХОВСКАЯ

РУССКАЯ МЫСЛЬ - самая большая русская еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг на 16-ти страницах.

Адрес РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ:

«La Pensée Russe». 217, rue du Fg Saint-Honoré - 75008 Paris

Tél. 824-96-47, 766-21-83, 227-05-79

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: (во франц. франках)

| | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
|-----------------|--------|--------|---------|
| ФРАНЦИЯ..... | 40 | 75 | 135 |
| ЗАГРАНИЦА | 47 | 84 | 150 |

Почтовый счет: С.С.Р. 5883-44 К Paris

Цена отдельного номера 4 фр.

Новое Русское Слово

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

66-й год издания. Выходит 6 раз в неделю в Нью-Йорке

Главный редактор: **АНДРЕЙ СЕДЫХ**

Свыше 200 сотрудников во всех странах мира. В Новом Русском Слове печатают свои произведения виднейшие эмигрантские писатели, поэты и публицисты.

Полная информация о жизни эмиграции.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: Воскресное и ежедневное издание:

один год — 40 амер. долларов

6 месяцев — 22 амер. доллара

Воскресное издание только:

один год — 18 амер. долларов

Подписку и объявления направлять по адресу:

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO

243 West 56 Street — New York 10019, N.Y., USA.

или по адресу парижского представителя газеты, с уплатой во франках:

Mr. Perepelovsky, 108, rue Michel Ange, 75016 Paris.

Les Editeurs Réunis

11, rue de la Montagne Sainte Geneviève
75005 PARIS — Téléphone : 033 74 46 et 033 43

Новинки издательства **YMCA-PRESS**

| | Ф фр. |
|--|-------|
| Юрий ДОМБРОВСКИЙ — Факультет ненужных вещей | 75,— |
| Г. М. АЛЕКСАНДРОВ — “Я увожу к отверженным селениям” | |
| Т. 1 | 48,— |
| Т. 2 | 48,— |
| Оба тома на тонкой бумаге в одной книге | 100,— |
| Лидия ЧУКОВСКАЯ — По ту сторону смерти (стихи) | 30,— |
| Николай БЕРДЯЕВ — Библиография | 80,— |
| (более подробн. описание этих изданий см. стр. 250) | |

Богословие

| | Ф фр. |
|--|-------|
| Архиепископ АНДРЕЙ — Единое на потребу. Изд. 1977, 135 стр. | 30,— |
| Святого ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА — О небесной иерархии. Перевод с греческого языка, переизд. 1898, 63 стр. | 18,— |
| С. НИЛУС — Святыня под спудом. Тайны Православного Мо- нашеского Духа. Изд. 1977, 317 стр. | 48,— |
| Последование Святых и Спасительных страстей Господа На- шего Иисуса Христа. Изд. 1956, 40 стр. | 9,— |
| Творения Ефрема СИРИНА — Переизд. 1907 | 60,— |
| Христианская жизнь по Добротолюбию. Избранные места из творений святых Отцов и Учителей Церкви. Изд. 1930, 216 стр. | 33,— |

Беллетристика

| | Ф фр. |
|---|-------|
| Ю. АННЕНКОВ — Портреты. Тексты Е. Замятина, М. Кузьмина, М. Бабенчикова. Переизд. 1922, 169 стр. | 54,— |
| Н. БЕТЕЛЛ — Последняя Тайна — Изд. 1978, 267 стр. | 50,— |
| А. ГАЛИЧ — “Когда я вернусь”. Стихи и тексты 1972-1977 гг. Изд. 1977, 124 стр. | 33,— |
| П. ГРИГОРЕНКО — Сборник статей. Изд. 1977, 121 стр. | 36,— |
| Н. ОЛЕЙНИКОВ — Сборник статей. Маргиналии к истории русского Авангарда. Вступительная статья Л. Флейшмана. 107 стр. | 16,— |
| Л. ФЛЕЙШМАН — Статьи о Пастернаке. | 25,— |
| Д. ХАРМС — Собрание Сочинений. Т. 1 - Стихотворения 1926-1929 гг., Комедия города Петербурга. 200 стр. | 25,— |
| В. ДАЛЬ — Толковый словарь. Т. 1-4 издан под редакцией И. А. Бодуэна-Де-Куртенэ в 1912 г. | 880,— |
| В. ЧЕРНОВ — “Записки Социалиста-Революционера”. Изд. 1932 | 108,— |

Альбомы

| | Ф фр. |
|--|-------|
| Marvin LYONS — «Nicholas II the Last Tsar». Подарочное издание на англ. языке | 90,— |
| Marvin LYONS — «Russia in original photographs 1860-1920». Фотографии черно-белые. Подарочное изд. | 100,— |
| Монастыри и Храмы Святой Руси. Т. 1, роскошное издание с большим количеством цветных и черно-белых фотографий. Издание 1973 | 185,— |
| Святая Русь - Храмы и Дворцы. Т. 2, древности Российского Государства. Подарочное издание 1974 г. | 150,— |
| Фрески Церкви Успения на Волотовом Поле. Текст М. Алпатова. Издательство “Искусство” 1977 г. | 69,50 |

YMCA - PRESS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Paris (5).

В связи с поступлением большого количества заказов
издательство ИМКА - ПРЕСС объявляет

НОВУЮ ПОДПИСКУ на СОБРАНИЕ ПЕСЕН РУССКИХ БАРДОВ

издание второе, переработанное и дополненное

Собрание включает почти **ТЫСЯЧУ ПЕСЕН** русских бардов и состоит из **четырёх серий по 10 магнитофонных кассет** в каждой серии с приложением полных текстов всех песен.

(Серии № 1, 2 и 3 представляют собой переработанные и дополненные соответствующие серии первого издания. Серия № 4 включает лишь песни, не вошедшие в первое издание "Собрания русских бардов").

В СОБРАНИИ ПЕСЕН наиболее полно представлено творчество ведущих бардов современной России:

В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича, Б. Алмазова, Е. Бачурина, Ю. Кима, Е. Клячкина, Н. Матвеевой, Ю. Кукина, Ю. Визбора, А. Городницкого и других.

Подписка осуществляется либо на полный комплект,
либо по сериям.

ЦЕНА ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА (40 кассет с текстами)

1 600 Ф фр. (включая пересылку авиапочтой)

1 550 Ф фр. (включая пересылку простой почтой)

ЦЕНА ОДНОЙ СЕРИИ (10 кассет с текстами)

480 Ф фр. (авиапочтой)

460 Ф фр. (простой почтой)

**ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ЗА СОБРАНИЕ
ВНОСИТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ЗАКАЗОМ**

Без приложенной оплаты заказы не принимаются.

(Университеты и библиотеки могут производить расчеты по получении "Собрания") — Прием заказов ограничен.

Подписка прекращается 30 октября 1978 г.

После закрытия подписки заказы приниматься не будут.

Все заказы будут выполнены в течение двух месяцев с момента закрытия подписки: до **1 января 1979 г.**

бланк заказа см. на следующей странице

ЗАКАЗ

Имя:

Фамилия:

Адрес:

.....

♦ прошу прислать мне «Собрание песен русских бардов»:

обыкновенной почтой ☐

воздушной почтой ☐

весь комплект ☐

серию № 1 ☐

серию № 2 ☐

серию № 3 ☐

серию № 4 ☐

♦ прилагаю чек в

чеки выписывать на имя:

«LES EDITEURS REUNIS»

11, rue de la Montagne S-te Geneviève. 75005 Paris.
(Для Европы почтовый счет: СССР № 13313-73,
Paris).

дата:

ПОДПИСЬ

ВЕСТНИК

Издание Русского Студенческого Христианского Движения

53-ий год издания

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕСТНИКА

В Австралии:

M. Solovey, « Our word ». P.O. Box 178, Potts point, N.S.W. 2011
Sydney, Australie.

В Америке:

Mrs Ludmila Toman, 85, Tobey Road, Belmont, Mass. 02178, USA.

San Francisco:

Mrs Olga Raevsky-Hughes, P.O. Box 1207, Berkeley, Ca 94701, USA.

В Канаде:

« Parish News », 1175 Champlain St. Montreal P.Q. H2L 2R7,
Canada.

В Англии:

Aid to the Russian church (Miss Ellis) Schoolhouse, Heathfield Rd,
Keston, Kent.

В Израиле:

Michel Agoursky, ROB 7344, Jérusalem.

В Швеции:

Bishop S. Timtchenko. Box 19027, Stockholm, 19, Suède.

Directeur responsable : Nikita STRUVE.

Tous droits de traduction réservés.

